UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00324829 1

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

WILLIAM H. DONNER
COLLECTION

*purchased from*
*a gift by*

THE DONNER CANADIAN
FOUNDATION

coll. Ch. D. Ker

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.

rbitskaia, Anastasiia Alekseevna (Ziablova)

Kliuchi schast'ia

# КЛЮЧИ СЧАСТЬЯ.

[kn. 1]

89

ПЯТЬДЕСЯТЬ ПЯТАЯ ТЫСЯЧА.

„Въ тѣлѣ твоемъ больше разумнаго, чѣмъ въ твоей лучшей премудрости. И кто знаетъ, для чего именно нужна твоему тѣлу твоя лучшая премудрость?“

*Ницше.*

„Въ любви — доля безумія. Но въ безуміи — доля разума...“

*Ницше.*

СОВРЕМЕННЫЙ РОМАНЪ

А. ВЕРБИЦКОЙ.

UNIVERSITY OF TORONTO
MAY 7 1970
LIBRARY

PG
3470
V4 K4
1910
kn. 1

Типо-литографія Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Пименовская ул., собств. домъ.
Москва — 1910.

## I.

На углу одного изъ тихихъ переулковъ Москвы подъ № 8 стоитъ старый деревянный двухъэтажный домъ.

Тамъ всего четыре квартиры. Наверху живетъ хозяинъ, пожилой купецъ, съ женою и сыномъ. Рядомъ офицерская семья. Внизу генералъ-подагрикъ въ отставкѣ. А въ квартирѣ № 2 живетъ семья Ельцовыхъ.

Странной тайной окружена жизнь этой семьи. Никто за цѣлый годъ почти не видалъ старую барыню. Отъ кухарки Ельцовыхъ, живущей одной прислугой, знаютъ только, что хозяйка «быдто не въ себѣ»... Кухня отдѣлена отъ жилыхъ комнатъ сѣнями. Дверь къ господамъ всегда заперта на ключъ. И если зовутъ прислугу, то дальше передней ее все-таки не пускаютъ... Утромъ кухарка передаетъ студенту охапку дровъ, и онъ самъ топитъ печи. Барышня Ельцова сама по дому прибирается. И въ лавки прислугу не посылаютъ. Окна закрыты тяжелыми сторами. И не отпираются даже лѣтомъ.

Мрачная тайна какъ бы наложила клеймо отчужденія на лица молодежи. Никто не видалъ, чтобы они улыбались. Никто не слыхалъ между ними споровъ или удивленныхъ возгласовъ. Все для нихъ кажется уже рѣшеннымъ...

— Словно и народу тамъ нѣтъ,—замѣчаетъ хозяйка дома, прислушиваясь къ подавленной тишинѣ внизу.

Это рыхлая, сонная женщина. Она пьетъ чай разъ пять въ сутки и рѣдко чему удивляется.

У Ельцовыхъ никто не бываетъ, кромѣ доктора. Студентъ самъ отпираетъ дверь, отстраняя прислугу. Если дочь выходитъ по дѣламъ, съ матерью остается сынъ. Когда же студентъ идетъ по двору, опустивъ голову, блѣдный, какъ будто тайна дома выпила всю кровь съ его лица,—его провожаютъ взоры, полные безсознательнаго недовѣрія и страха...

На дворѣ бушуетъ ноябрьская метель.

Хозяева замѣчаютъ странное оживленіе въ квартирѣ Ельцовыхъ. До глубокой ночи тамъ звучатъ голоса. Двигаютъ стульями, хлопаютъ дверями... Кто-то плачетъ. Кто-то жалуется... Мужской голосъ, глубокій и нѣжный, старается успокоить. Что-то доказываетъ... Вдругъ кто-то вскрикиваетъ... Визжитъ яростно... И сразу гулъ нѣсколькихъ вскипающихъ внезапно голосовъ доносится наверхъ, сквозь тонкій потолокъ.

— Никакъ подрались?—дивится хозяйка.—Чего они тамъ, Митричъ, не подѣлили?

— Чудеса! Вдругъ за цѣльный годъ голосъ подали...

Среди ночи хозяинъ просыпается отъ глухого, протяжнаго, какъ бы сдавленнаго воя... Еще... Еще...

Смолкаетъ... Но сонъ уже далекъ.

— Ишь, проклятая!—ворчитъ хозяинъ, ворочаясь на постели.—Не къ пожару ли?

— Кудряшъ-то?—подхватываетъ хозяйка соннымъ голосомъ.—Голоденъ, надо-быть... Опять покормить забылъ его Ѳедоръ... Шалый парень... пра-аво...

Они дремлютъ.

Но вой повторяется... Такой долгій, жалобный... Зловѣщій...

— Тьфу! Тьфу!.. Окаянная... Этакъ она, пожалуй, всю ночь спать не дастъ...

Онъ крестится на образъ, озаренный лампадкой. И кряхтя, и вздыхая, спускаетъ ноги.

— Куда ты?—пугается жена.

— На дворъ выйду, потреплю его малость... Чтобъ ему!..

— Одѣнься, Митричъ, теплѣе!.. Дюже вѣтрено стало...

Хозяинъ въ овчинномъ полушубкѣ выходитъ на крыльцо и свиститъ. Молодой песъ, желтый и косматый, ринулся откуда-то, изъ глубины двора. Онъ радостно бьетъ хвостомъ по ступенямъ крылечка.

— Ты что же это, шкура этакая?.. Хозяину спать мѣшаешь?—Онъ хватаетъ Кудряша за ухо. Тотъ визжитъ отъ испуга, весь пригнувшись. И хвостъ его еще демонстративнѣе колотитъ о ступеньки.

Но въ ту же секунду раздается вой. Но уже гдѣ-то близко, почти рядомъ... Звѣриный вой... Глухой, зловѣщій...

И вдругъ въ эту волчью пѣснь врываются уже человѣческіе вопли страданія, полные невыносимаго ужаса и боли... Врываются. И стихаютъ внезапно...

Кудряшъ шарахается отъ крыльца. Коротко и нервно онъ лаетъ въ воздухъ.

— Съ нами крестная сила!..—шепчетъ хозяинъ. Онъ крестится. Ноги его дрожатъ.

Онъ оглядывается и узнаетъ квартиру Ельцовыхъ...

Онъ ничего не говоритъ женѣ. Но самъ долго не можетъ сомкнуть глазъ.

Теперь тайна нижнихъ жильцовъ ему понятна.

Утромъ онъ на дворѣ подстерегаетъ студента.

— Что это съ вашей мамашенькой? Будто припадочекъ нонче былъ?—вкрадчиво спрашиваетъ онъ, робѣя предъ этимъ угрюмымъ лицомъ, какъ бы лишеннымъ возраста.

Студентъ, очевидно, не спалъ ночь. И теперь блѣднѣе обыкновеннаго. Но тутъ даже губы у него бѣлѣютъ. Онъ глядитъ молча въ лицо старика. И когда говоритъ, наконецъ, голосъ его звучитъ хрипло:

— Извините... Вамъ мѣшали спать?.. Матушка моя нервнобольная... Но припадки у нея бываютъ рѣдко...

Онъ приподнимаетъ фуражку и идетъ по двору, какъ-то сгорбившись всей своей долговязой фигурой, глубоко засунувъ руки въ карманы стараго пальто.

— Чего тамъ «нервно-больная»?.. Прямо не въ себѣ...— враждебно ворчитъ хозяинъ. И, махнувъ рукой, идетъ въ «городъ».

---

Метель бушуетъ цѣлыя сутки.

Подъ утро, часовъ въ пять, хозяева просыпаются отъ оргіи бѣшеныхъ стихійныхъ звуковъ... Вѣтеръ воетъ въ трубѣ... Визжитъ, какъ демонъ...

— Вотъ далъ Господь погодку!—зѣваетъ хозяйка и креститъ ротъ.—Видно санный путь станетъ. Ужъ пора...

— Тсс!..

Опершись локтемъ на подушку, старикъ слушаетъ напряженно, свѣсивъ голову и недвижно глядя въ полъ... Округливъ глаза, глядитъ на него жена.

Долго длится тишина. Хозяйка уже дремлетъ.

Вдругъ словно вихрь срывается откуда-то, изъ нѣдръ мрака. И дикая вакханалія звуковъ кружится и пляшетъ въ тѣсномъ ящикѣ дома. И бѣшено бьется объ его стѣны... Кто-то воетъ, визжитъ, бѣснуется... Какъ бы предчувствіе неотвратимой гибели въ этомъ волчьемъ воѣ. Тоска безкрайняго ужаса...

И вдругъ визгъ... Такой неистовый, такой яростный, что сердце холодѣетъ невольно...

Хозяинъ слушаетъ съ блуждающей улыбкой и тихо, укоризненно качаетъ головой.

— Митричъ... Да чтой-то? Меня словно оторопь взяла...— плаксиво шепчетъ хозяйка... Вдругъ она блѣднѣетъ. Поднимается на постели... Ей чудится, что визгъ этотъ не въ трубѣ. А тамъ, подъ поломъ... И какъ бы въ подтвержденіе догадки, на этотъ разъ явственно человѣческій вопль, полный страданія и отчаянія, завершаетъ эту безумную звуковую оргію.

— Слышала?—шопотомъ спрашиваетъ ее мужъ. И странно улыбается.—Это старуха Ельцова. Помѣшанная, стало-быть...

— Царица небесная!.. Пресвятая Богородица... Спаси насъ и помилуй!..

— Вотъ и вѣрь послѣ этого людямъ!.. Какими тихонями прикинулись!.. Маменька хворая... Невры, видишь ты?.. Э-эхъ!.. Народъ!.. Народъ...

Внизу опять хлопаютъ двери. Опять звучатъ возбужденные голоса... За стѣной у сосѣдей тоже проснулись и разговариваютъ...

— Не подожгла бы она дома-то!..—шепчетъ хозяйка.

Хозяинъ ничего не отвѣчаетъ. Только жуетъ губами да сокрушенно вздыхаетъ.

Наутро сосѣдка, офицерская жена, барыня съ претензіями, прибѣгаетъ къ хозяевамъ.

Что же это за безобразіе? Она не спала всю ночь. Дѣти перепуганы... Очевидно, тамъ сумасшедшая?.. На это есть больницы... Дѣтей боишься выпустить на дворъ погулять... *Она* можетъ вырваться... Какой ужасъ!.. Если-бъ знать, что рядомъ живетъ сумасшедшая, никогда бы они не сняли здѣсь квартиры!.. Куда же теперь зимой съѣзжать съ дѣтьми?.. Но Ельцовымъ надо отказать!.. Нынче же... Во что бы то ни стало!..

Она кричитъ такъ, что у хозяина въ ушахъ звенитъ.

— Сударыня... Позвольте... сударыня...

Но офицерская жена и слушать ничего не хочетъ. Она еще минутъ пять кричитъ безъ перерыва, страстно жестикулируя... Потомъ плачетъ. Выпиваетъ стаканъ воды и уходитъ.

Хозяинъ, весь красный, чешетъ за ухомъ и встряхиваетъ головой, словно отгоняя осу.

— Вотъ тебѣ и здоровая! А нашумѣла не плоше больной.

Изъ четвертой квартиры, рядомъ съ Ельцовской, гдѣ живетъ отставной генералъ, приходитъ горничная съ запиской. Въ ней крупнымъ, круглымъ почеркомъ стоитъ:

«Что это за шумъ былъ ночью? Распорядитесь, чтобъ было тихо!»

— Эхъ, грѣхи!.. Грѣхи...—вздыхаетъ хозяинъ.

— Митричъ, а ну какъ она домъ подожжетъ?—въ пятый разъ спрашиваетъ хозяйка.

— Да ну тебя!—«Митричъ» стучитъ палкой по полу.—Чего скулишь? Чего бѣду накликаешь?.. И безъ тебя тошно!..

Хозяйка обиженно оттопыриваетъ губы и дуетъ на горячій чай.

Когда хозяева садятся обѣдать, въ часъ дня, въ передней раздается робкій звонокъ.

— Скудентъ!—таинственно сообщаетъ кухарка.

Хозяинъ торопливо встаетъ, краснѣетъ, бросаетъ ложку и семенитъ въ гостиную.

Студентъ, стоя у окна, безцѣльно глядитъ въ переулокъ. На шаги хозяина онъ оборачивается. Въ его глубоко запавшихъ глазахъ залегло выраженіе мольбы. Какъ будто онъ ждетъ удара, но только проситъ хоть немного смягчить его.

— Ну-съ... молодой человѣкъ! Что скажете?.. Прошу садиться!

Студентъ неохотно присаживается на кончикъ краснаго штофнаго кресла.

— Я пришелъ просить извиненія за причиненное вамъ безпокойство...

— Наше-то безпокойство—плевать-съ! На то мы и хозяева... За свои деньги на то и идемъ-съ. А вотъ жильцы жалуются... Это ужъ плохо-съ! Съѣзжать грозятъ... Вонъ енералъ прислалъ цидулю. Чтобъ тихо было!.. Вотъ и разсудите, молодой человѣкъ, какъ мнѣ теперь быть? Васъ оставить? Всѣ обидятся, съѣдутъ. А теперь—зима-съ. Какъ же я домъ безъ жильцовъ оставлю?.. Вы бы, молодой человѣкъ, квартирку бы подыскали. Я не тороплю... Такъ... черезъ мѣсяцъ...

— Иванъ Дмитричъ!—дрогнувшимъ звукомъ срывается у студента.—Это невозможно!.. Подумайте! Больная, жалкая женщина... Мы только-что устроились... Куда я ее свезу?.. Вы сами знаете, зимой искать квартиру...

— То-то вотъ и оно-то!.. И мнѣ убытки, сударь вы мой... У меня квартира пропустуетъ... Коли-бъ вы мнѣ раньше ска-

зали, что маменька ваша не въ себѣ, я бы ни за что не сдалъ бы квартиры... Потому,—всѣмъ безпокойство...

Тогда студентъ начинаетъ говорить. Тиская и крутя старую фуражку, глядя въ лицо старика глазами загнаннаго звѣря, онъ обнажаетъ передъ нимъ тайну семьи.

Отецъ ихъ умеръ давно. Мать заболѣла, когда ему минуло пятнадцать лѣтъ. Онъ еще тогда гимназіи не кончилъ... Сперва ничего не замѣчали кромѣ странностей. Потомъ пошло все хуже... Отецъ оставилъ ему тысячъ десять да маленькую пенсію вдовѣ. Да онъ еще уроки даетъ. Сестра переводами занимается на дому. Она посвятила себя уходу за больной. Въ четырехъ стѣнахъ вся ея юность прошла. Женихи были. Отказала... Есть у нихъ еще сестренка. Въ гимназіи учится, въ интернатѣ живетъ. Отъ нея это несчастіе скрываютъ... Да и отъ всѣхъ скрываютъ, потому что слишкомъ больно горе свое наружу выносить. Родныхъ у нихъ мало, въ Курскѣ остались. Они нарочно въ Москву переѣхали, чтобъ отъ людей подальше. Вотъ и живутъ втроемъ, какъ отшельники... А сколько квартиръ перемѣнили за одинъ годъ въ Москвѣ! Сколько бились!.. Сначала *она* въ больницѣ была и очень буйная. Продержали годъ и выпустили. «Неизлѣчима»... говорятъ. «Намъ такія не нужны»... Теперь помѣшательство тихое. *Она* все молчитъ... Раза два въ году, когда «ломается» погода, въ началѣ зимы да ранней весной, у нея начинаются припадки. Сперва плачетъ, потомъ... впадаетъ въ изступленіе... Но это недолго длится. Сутки... двое... Иногда и въ жары на *нее* находитъ. Но больше въ метели, весной... И она предчувствуетъ этотъ припадокъ. Безпокоится, плачетъ... Начинаетъ говорить...

— Боится, стало-быть?—шопотомъ спрашиваетъ хозяинъ.

— Да...

— И страдаетъ?

— Ахъ!.. Невыносимо...

Губы студента дрожатъ. Онъ смолкаетъ, опустивъ голову. Молчитъ и хозяинъ.

Наконецъ онъ крякнулъ, собираясь заговорить. Но жилецъ перебиваетъ его:

— Умоляю васъ, не гоните! *Она* уже успокаивается... Былъ докторъ, приняли мѣры... Какъ только стихнетъ метель, вы *ее* и не услышите. *Она*—какъ малое дитя... Кроткая, жалкая... Чего ее бояться?.. Вы думаете, подожжетъ? Либо на улицу вырвется?.. Никогда! Вѣдь мы съ сестрой безсмѣнно около

нея... Ради Бога, успокойте вы жильцовъ! Я ручаюсь вамъ теперь за тишину до самой весны... Дайте намъ перебыть хоть зиму! Мы такъ измучились этими поисками! Отовсюду насъ гонятъ... Никто не хочетъ стать хоть на минуту на наше мѣсто. И пожалѣть... по человѣчеству...

Хозяинъ тяжело сопитъ. Щеки его порозовѣли, какъ у юноши. Лысина стала влажной. Онъ вдругъ рѣшительно поднимается и протягиваетъ студенту руку «ребромъ», какъ это дѣлаютъ мужики.

— Ну, ужъ живите! Богъ съ вами!.. Не потревожу васъ до лѣта. Коли ежели вы ручаетесь, что тихо все будетъ...

Студентъ вспыхиваетъ. Бѣглая улыбка озаряетъ на мгновеніе его измученное лицо. Но, какъ ни мимолетна эта радость, она дѣлаетъ молодыя черты привлекательными.

Онъ горячо благодаритъ.

— А не знаете вы, отчего это приключилось такъ?.. Съ матушкой вашей?—въ передней уже спрашиваетъ хозяинъ.

Лицо студента уже опять угрюмо и старообразно.

— Наслѣдственность,—нехотя отвѣчаетъ онъ и, приподнявъ фуражку, спускается по лѣстницѣ.

На губахъ старика горятъ еще вопросы. Нерѣшенные и мучительно-интересные. Коли наслѣдственное, значитъ и имъ—дѣтямъ—впереди не отвертѣться? Иванъ Дмитричъ на мгновеніе хочетъ стать на мѣсто этого стараго юноши... И чувствуетъ, какъ ознобъ бѣжитъ по его спинѣ.

— Вотъ-то горемычные!—вслухъ думаетъ онъ.

Офицерская жена, дама безпокойная, еще разъ забѣгаетъ спросить, когда съѣдутъ жильцы? Хозяинъ принимаетъ ее довольно сухо.

— Раньше лѣта, видно, не съѣдутъ... Потому—квартиръ порядочныхъ ужъ не осталось. Придется и вамъ потерпѣть...

— Это возмутительно!.. Почему не отдать въ лѣчебницу?

— Даромъ, сударыня, нигдѣ держать не будутъ. А коли ежели средствъ нѣтъ, поневолѣ никуда не отдашь... Ну, да и жалѣютъ мать... Извѣстно, что въ больницахъ не стѣсняются сторожа-то. И бьютъ... Всяко бываетъ... А и намъ по человѣчеству пожалѣть бы не грѣшно! Коли не больную, такъ дѣтей. Они-то чѣмъ причинны?.. Всѣ мы подъ Богомъ ходимъ, сударыня..

Офицерская жена вспыхиваетъ, передергиваетъ плечами... И уходитъ, хлопнувъ дверью и не простясь.

Но у нея доброе сердце. Обдумавъ на досугѣ слова старика, она находитъ, что онъ правъ.

---

Лѣтомъ, по случаю сильной жары, больная опять буянитъ. Кто-то, проходя по улицѣ въ іюльскій полдень, слышитъ отчаянные вопли... Черезъ двойную раму прохожіе видятъ костлявую руку, отдернувшую занавѣсь. На мгновеніе мелькаетъ передъ ними страшный призракъ въ бѣломъ. Сѣдая голова... Искаженное безуміемъ лицо...

Рядомъ, въ открытомъ окнѣ, появляется испуганная, блѣдная дѣвушка. Она наскоро, дрожащими руками захлопываетъ раму. Но все-таки дикіе вопли, визгъ, топотъ и какъ бы звуки отчаянной борьбы пронзаютъ знойную тишину улицы.

Прохожіе отпрянули съ тротуара. Городовой, дремлющій на углу, вздрагиваетъ и открываетъ глаза.

— Что это тамъ?—съ ужасомъ спрашиваетъ его молодая мѣщаночка.—Никакъ бьютъ кого-то?

— Ума рѣшилась барыня. Вотъ и бушуетъ... Проходите! Проходите своей дорогой!

Мужчины послушались и ушли. А женщины еще долго стоятъ у воротъ.

Вотъ выглянулъ дворникъ. Онѣ спрашиваютъ. Онъ отвѣчаетъ... — О-о!.. — слышатся соболѣзнующія восклицанія. — Изъ окна, слышь, бѣжать хотѣла... — Страсти какія! — Хорошо, — жильцы на дачѣ... А то быть бы опять бѣдѣ!

— Это сынъ, стало-быть, связалъ ее?—Надо-быть, что связалъ... Не легко тоже справляться... Кусается, говорятъ, дерется... Бѣда! Весной сыну всю щеку исцарапала, ровно кошка... Онъ, почитай, мѣсяцъ обвязанный ходилъ...

Рядомъ стукнула рама. Всѣ смолкаютъ.

Въ окнѣ показывается студентъ. Онъ блѣденъ... съ прилипшими къ вискамъ прядями волосъ, съ мутными, налитыми кровью глазами. Воротъ его рубашки оторванъ, пояса нѣтъ. Онъ тяжело дышитъ, полуоткрывъ ротъ. Руки его замѣтно дрожатъ. Онъ никого не видитъ. Онъ считаетъ себя далекимъ отъ людского любопытства.

Вдругъ судорога пробѣгаетъ по его чертамъ. Онъ хватается руками за косякъ рамы, опускаетъ на нихъ голову. И плачетъ, вздрагивая плечами.

Подъ воротами всѣ замерли... Потомъ тихо, на цыпочкахъ, начинаютъ расходиться.

---

Осенью хозяинъ сталкивается на дворѣ со студентомъ. Онъ ласково спрашиваетъ его о здоровьѣ матери. И узнавъ, что ей лучше, прибавляетъ: — Ну, что-жъ?.. Коли лучше, живите! Богъ съ вами!.. Не потревожимъ...

И Ельцовы остаются.

Теперь всѣ знаютъ объ ихъ несчастіи. Только старый брюзга-генералъ продолжаетъ игнорировать тайну. И во время припадковъ, раза два въ году, аккуратно пишетъ хозяину твердымъ, круглымъ почеркомъ: «Что за шумъ опять? Распорядитесь, чтобы шума не было!»

— Ладно!.. И безъ насъ съ тобой тамъ распорядились,— ворчитъ старикъ, комкая записку.

А получая изъ Нижняго, съ ярмарки, небрежныя письма отъ старшаго сына, онъ сокрушенно говоритъ женѣ:

— Эхъ, Фимушка! Послалъ намъ Господь лодыря... Только у него и дѣловъ, что съ арфянками по трактирамъ возжаться... Намъ бы, Фимушка, съ тобой такого сынка, какъ Ельцовъ. Либо дочку такую... И умирать бы не надо! Пошлетъ имъ Богъ счастье, что они родителей такъ почитаютъ!

А хозяйка дуетъ на дымящееся блюдечко. И подхватываетъ, пользуясь доброй минутой хозяина:

— Такъ-то оно такъ... А хорошо бы, Митричъ, кабы они отъ насъ съѣхали! Никогда спокою я не знаю... Ну, какъ она— неровенъ часъ—домъ-то подожжетъ?

— Ну, и подожжетъ! — обрываетъ ее старикъ. — Небось, штрахованы? А мы-то съ тобой, авось, цѣлы будемъ!..

## II.

Маня помнитъ себя трехъ лѣтъ. Помнитъ мать—молодую, красивую, веселую. У нихъ цѣлый день гости. И все мужчины, все веселые «дяди»... Мать играетъ на роялѣ, а Маня пляшетъ на коврѣ, босая, въ одной рубашонкѣ.

— Ангелочекъ!—кричатъ умиленные дяди. Они берутъ ребенка къ себѣ на колѣни, горячо цѣлуютъ, кормятъ конфетами...

Жилось хорошо. Было много куколъ, дорогихъ игрушекъ. Такая большая и свѣтлая дѣтская... Одинъ «папа» уѣзжалъ, являлся другой... И «дяди» все возили цвѣты, конфеты и игрушки.

Иногда приходила «сестрица», худенькая дѣвочка въ гимназическомъ платьѣ, всегда грустная, словно побитая... Она садилась на коверъ, брала Маню на руки и со слезами цѣловала ея

личико... Приходилъ долговязый некрасивый гимназистъ, съ угрюмымъ лицомъ.

— Поцѣлуйте братца!—учила ее няня.—Это вашъ братецъ.

Но Маня капризно кричала:—Уйди!.. Я тебя не люблю!.. Ты—бяка-ляка!.. Уйди-и!..

Потомъ она привыкла къ Петѣ. Онъ сажалъ ее на плечи, носилъ по комнатамъ, подбрасывалъ ее высоко въ воздухѣ. Она радостно ухала и кричала: «Еще, еще, Петя!..»

Аня разсказывала ей сказки. И она дремала у нея на колѣняхъ.

— Не уходи!.. Не хочу!.. Не уходи-и!—просила она, когда сестра и братъ на прощаніе цѣловали ея ручонки, пухленькія, съ перехватомъ у кисти.

Она рыдала навзрыдъ по ихъ уходѣ. Тогда мать вбѣгала. Сердитая, красивая, звеня браслетами.—Это что? Это что?.. Вотъ тебѣ!.. Вотъ тебѣ! Молчать!.. Сейчасъ молчать!..

Но Маня падала на полъ и билась въ припадкѣ. И кричала часа два, пока не дѣлалась вся синяя... Тогда она засыпала отъ истощенія.

Мать была взбалмошна. То баловала дѣвочку безъ мѣры, то била за пустякъ. Не видала ее по цѣлымъ днямъ, бросая на руки нянекъ. Часто дѣвочка засыпала голодная, въ слезахъ, никого не дозвавшись, пока нянька съ прислугой пьянствовали на кухнѣ. Часто нянька входила сердитая, красная, съ рюмкой водки въ рукахъ и съ медовой коврижкой.

— На!.. На!.. Выпей!.. Заткни глотку свою... Сна на тебя нѣтъ, прости Господи! Чего ревешь? Чего ревешь?.. Горько?.. Ничего, пей! Заѣшь коврижкой... Важно?.. Ну, теперь ложись и нишкни!.. Я ужинать пойду...

Сначала дѣвочка плакала. Потомъ полюбила водку.

Когда ей было шесть лѣтъ, она заболѣла тяжелой формой брюшного тифа. Наконецъ, она пришла въ себя... У постели сидѣла Аня. Маня улыбнулась, протянула къ ней пересмякшія губки. Петя былъ тутъ же.

— Не уходите!—просила Маня.—Не хочу...

— Спи... спи!.. Не уйдемъ!—шептала Аня. И глаза у нея были полны слезъ.

Она заснула... Но сквозь сонъ она слышала, что въ дѣтскую вошла мать. Должно-быть въ шубѣ, потому что въ комнатѣ стало холодно.

— Сколько разъ говорилъ—не входить прямо съ улицы?—

рѣзко сказалъ ей Петя. Маня была такъ слаба, что не шевельнулась и не открыла глазъ.

— Спитъ?—спросила мать шопотомъ.

— Да,—отвѣтила Аня.—Слава Богу!.. Кажется, ей лучше.

— Ну, вотъ видите! Я говорила, что нѣтъ ничего опаснаго!

— Она была на волосъ отъ смерти,—оборвалъ ее Петя.

Мать долго молчала. Потомъ подошла къ Анѣ и поцѣловала ее.—Ты не уйдешь, дѣвочка моя, пока она не встанетъ? Мнѣ сейчасъ опять надо ѣхать. Вѣдь тебѣ хорошо здѣсь?.. И я спокойна...

Аня молча поцѣловала ея руку.

— Пожалуйста, Петя, приходи завтра! И скажи отцу, чтобъ онъ не сердился. Я такъ спокойна съ вами!

Много позднѣе, поднявшись съ постели, Маня вспомнила: «Отецъ? Скажи отцу, чтобъ онъ не сердился...»

Гдѣ же этотъ сердитый отецъ?

Потомъ какъ-то разъ Аня пришла въ черномъ платьѣ, съ какими-то бѣлыми нашивками, съ длиннымъ чернымъ вуалемъ на шляпѣ Она плакала, обнявшись съ матерью. Но Аня плакала тихо. А мать вскрикивала, ломала руки, бѣгала по комнатѣ, билась головой о столъ... Когда она ушла, Маня спросила сестру:—О чемъ ты плачешь?

— Твой папа умеръ!—прорыдала Аня.—Твой несчастный папа... Помолись за него!

— Какой папа? Николай Иванычъ?

Аня вспыхнула. Никогда Маня не видала у нея такого злого лица.

— Ты теперь никуда не уйдешь? Никуда?—допытывала дѣвочка.—И Петя будетъ со мной?

— Нѣтъ, дѣточка! Намъ тутъ нельзя оставаться... Не проси!.. Не мучь...

Потомъ случилось что-то ужасное. Заболѣла мать...

Сперва долго ничего не замѣчали. Она часто плакала, бродила по ночамъ. Днемъ запиралась, всѣхъ гнала. Не чесалась по недѣлямъ, ходила растерзанная, въ разстегнутомъ капотѣ. Все на голову жаловалась и все твердила: «Тоска»... Потомъ она стала задумываться... Придетъ въ дѣтскую, сядетъ. Уставится куда-нибудь глазами и сидитъ часъ, больше... Иногда что-то шепчетъ.

Разъ Маня подошла къ матери, которая сидѣла, задумавшись въ дѣтской, съ разстегнутымъ воротомъ, съ растрепанной

косой. Дѣвочка долго глядѣла на эту женщину, пораженная перемѣной въ ея наружности. Точно новая, чужая мама...

— Ахъ!—вдругъ крикнула она и всплеснула руками.— Знаешь, мама? А, вѣдь, ты—сѣдая... Вонъ сколько сѣд...

Она не договорила и отпрянула въ ужасѣ.

Передъ нею было исказившееся лицо, оскалившійся судорогой ротъ, сверкнувшій, дикій взоръ...

— А-а-а-а...—протяжно и угрожающе простонала мать.

Дѣвочка вскрикнула и убѣжала на кухню.

Потомъ раза два она слышала, какъ кричала мать чужимъ голосомъ. Какъ она швыряла и колотила вещи. Прислуга крестилась, прятала дѣвочку и запиралась на ключъ.—Ступайте за Петромъ Сергѣичемъ!—говорила нянька горничной.—Не нажить бы съ нею бѣды!

Разъ ночью Маня проснулась отъ дикихъ воплей. Слышался топотъ, хлопанье дверей, звуки борьбы и глухой, отчаянной возни. Потомъ подавленные стоны, чей-то плачъ и визгъ разъяреннаго звѣря... Маня, дрожа, сѣла на постели. Нянька, стоя у двери и держась за ручку замка, прислушивалась.—Горькая ты моя!.. Сиротка ты моя несчастная!—крикнула она, со слезами бросаясь къ ребенку.

Утромъ все стихло... Пришла Аня, съ остановившимися въ выраженіи ужаса глазами, и велѣла собирать вещи Мани.

— Мама?—былъ первый вопросъ дѣвочки.

— Маму свезли въ больницу. Она больна...

— Ее били ночью? Били?—крикнула Маня и зарыдала.

Аня, съ пробѣгавшими по лицу судорогами, стала утѣшать ребенка. Маня успокоилась, узнавъ, что ѣдетъ въ гости къ Петѣ.

Отъ матери она отвыкла страшно легко. Но скучала по нянькѣ, а главное—по квартирѣ. У Пети было такъ тѣсно и бѣдно! Всего три комнатки, въ пятомъ этажѣ. Дѣвочка каждый день требовала пирожнаго, конфетъ, отворачивалась отъ каши и щей... Много съ нею было хлопотъ. Но Петя и Аня ни разу не вышли изъ себя. Не закричали, какъ мать, бывало. Не ударили ее... Когда она сердилась и неистовствовала, Аня уговаривала ее съ непоколебимой выдержкой. А Петя всякій разъ глядѣлъ упорно, съ страннымъ выраженіемъ. Иногда у него вырывался вздохъ.—Несчастный ребенокъ!—говорилъ онъ.—Видно отъ наслѣдственности не уйдешь...

Манѣ было десять лѣтъ, когда ее отдали въ гимназію, въ интернатъ.

За эти годы Анна Сергѣевна пережила свою собственную драму.

Къ нимъ въ Грузины, гдѣ они жили уже съ матерью, которую взяли изъ лѣчебницы, часто ходилъ товарищъ Пети...

Петръ Сергѣевичъ былъ потрясенъ, когда сестра сказала ему о своей любви... Какъ могъ онъ проглядѣть это несчастіе?

— Да... несчастіе!—говорилъ онъ, сверкая глубоко-запавшими глазами.—Мы не имѣемъ права ни жениться ни любить. Надъ нами тяготѣетъ проклятіе вырожденія. Мы должны жить и умереть одинокими...

Подъ мрачнымъ гипнозомъ этой несокрушимой воли расцвѣтшая душа Анны Сергѣевны вдругъ сжалась и поблекла.

Но она на все глядѣла глазами брата.

Она нашла въ себѣ силу разстаться съ мечтами.

Только съ тѣхъ поръ она перестала смѣяться. Ея миловидное личико начало вянуть. Явилась раздражительность, придирчивая мелочность. Да любовь къ Манѣ перешла у нея въ какое-то болѣзненное чувство.

Но Петръ Сергѣевичъ остался вѣренъ своей единственной страсти... Нелюбимый матерью, некрасивый мальчикъ, онъ когда-то горько плакалъ, если она небрежно отстраняла его робкую ласку. Она олицетворяла для него добрыхъ фей въ дѣтствѣ и Красоту въ отрочествѣ. Подъ угрюмой внѣшностью въ немъ билось страстное сердце. Онъ рано научился страданіямъ ревности, ненавидя всѣхъ пошляковъ, окружавшихъ мать. Страдалъ онъ не только за отца, но и за себя, за свой поруганный идеалъ... Раньше отца онъ догадался объ отношеніяхъ матери къ «Николаю Ивановичу». Этого красавчика онъ ненавидѣлъ всѣми силами души. Онъ допускалъ, что Маня его дочь, какъ это кричалъ отецъ въ лицо женѣ, передъ ихъ разрывомъ... Сколько тогда выстрадали они оба съ Аней!.. Они остались съ больнымъ, измученнымъ отцомъ. А она бросила ихъ. И, кажется, безъ сожалѣнія... И уѣхала съ Маней на квартиру Николая Ивановича.

Онъ съ Аней являлись туда, какъ отверженные, тайкомъ отъ отца, чтобъ взглянуть на сестренку. И хоть мелькомъ увидать *ее*, которую оба они,—брошенные, оскорбленные,—не переставали любить...

Потомъ она заболѣла. И жалость къ ней сожгла его душу.

Случались дни, когда Петръ Сергѣевичъ понималъ Аню и ея тоску. У него были свои грезы... Но не о женщинѣ. Въ два-

дцать-два года онъ еще не зналъ ее. Болѣзнь матери отняла у него цѣлый міръ новыхъ связей и интересовъ. И дерзкой мечты... Онъ встрѣтилъ нужду лицомъ къ лицу. И нужда пригнула къ землѣ его душу мечтателя.

Друзья, знакомые, поклонники—всѣ отпрянули отъ больной. Всѣ исчезли, какъ на сценѣ, когда мѣняютъ декораціи... Мать принадлежала ему, наконецъ, всецѣло. Ему одному. И онъ безъ колебаній пожертвовалъ ей всѣмъ...

---

И тянутся дни безъ солнца... И скользятъ ночи безъ сновъ. Угрюмыя тѣни стоятъ за плечами и шепчутся въ углахъ... И таютъ, когда обернешься внезапно, чтобъ ихъ поймать и уличить.

Враждебно молчатъ стѣны. Онѣ что-то знаютъ... Но сказать не хотятъ... И окна опустили тяжелыя вѣки, чтобъ не видно было, что̀ поняли они въ этомъ шопотѣ кругомъ, въ этихъ шорохахъ ночью...

Притаились... Сговорились... И куда уйти отъ нихъ? Куда бѣжать?.. Подымешь стору. А ужъ ночь жадно прильнула къ окну... И глядитъ. И слѣдитъ хищными очами... И читаетъ въ твоей душѣ...

Закройте окно!.. Страшно!..

Боже, Боже! Гдѣ спасеніе отъ этой тоски? Гдѣ спасеніе отъ этой бѣды?.. Она крадется днемъ и ночью... Ближе и ближе... Днемъ притаится, — не сыщешь... А ночью ползетъ подъ окномъ... Нѣтъ для нея запоровъ!.. Нѣтъ для нея преградъ!

— Мама... Полно!.. Милая мама, не плачь! — говоритъ сынъ.—Ничего не будетъ. Мы здѣсь съ тобой... Мы тебя въ обиду не дадимъ...

— Тише!.. Тише!.. Не говори громко!.. *Они* услышатъ... *Они* за дверью... *Они* погубятъ насъ...

— Кто?—срывается невольно вопль тоски.

Съ крикомъ ужаса, для котораго блѣдны краски человѣческой рѣчи, кидается она ему на грудь. Дрожитъ и прячетъ голову на его груди...

О, эта любовь его! Эта великая любовь! Такая докучная и ненужная раньше!.. Съ какимъ отчаяніемъ цѣпляется она сейчасъ за эти сильныя и нѣжныя руки! Развѣ это не все, что у нея осталось?.. Отдернетъ онъ руку, и она рухнетъ въ бездну... которая тамъ, внизу, ждетъ ее, раскрывъ черную пасть...

Она узнаетъ сына всегда. Она чувствуетъ его присутствіе. Въ приступы тоски онъ умѣетъ найти доступъ въ мракъ ея

души, къ тому таинственному порогу, за которымъ дремлетъ ея сознаніе... Онъ успокаиваетъ ее тихими словами, убѣжденной интонацій. Въ моменты дикаго изступленія онъ одинъ входитъ въ ея комнату. Принимаетъ на себя ея удары, укусы, всю ея бѣшеную ярость. Онъ одинъ укрощаетъ ее, когда она лѣзетъ бить стекла, чтобъ вырваться на улицу... Или колотится головой о стѣну, въ дикомъ припадкѣ самоуничтоженія...

Не разъ онъ спасъ ей жизнь.

Въ эти дни онъ манкируетъ лекціями, уроками, рискуя потерять ихъ. Весь внѣшній міръ исчезаетъ для него.

Иногда ему кажется, что онъ самъ начинаетъ сходить съ ума... Огромное усиліе воли надо ему, чтобъ вырваться изъ круга этихъ чудовищно-захватывающихъ ощущеній и сбросить съ своей груди этотъ кошмаръ... «И я кончу тѣмъ же», говоритъ онъ себѣ. «Вопросъ—когда?»

Въ гостиной у нихъ стоитъ рояль. Мать когда-то прекрасно играла и передала свои способности сыну. Петръ Сергѣевичъ любитъ музыку. Пока былъ живъ отецъ, онъ бралъ уроки. Потомъ пришлось ихъ бросить. Но рояль остался его другомъ. И теперь, когда мать спокойна, онъ любитъ въ сумеркахъ играть *Пѣсни безъ словъ* Мендельсона или Шумана.

На больную музыка дѣйствуетъ успокоительно. На угасшемъ лицѣ появляется тѣнь улыбки. Оно напоминаетъ сѣренькій день, когда солнечный лучъ, тщетно силясь пробиться изъ-за облаковъ, бродитъ призрачными бликами по землѣ. И его скорѣе угадываешь, чѣмъ видишь...

— Она улыбнулась!—съ восторгомъ крикнула Анна Сергѣевна, впервые увидавъ эти блики на полумертвомъ лицѣ.— Играй, Петя!.. Играй!

И онъ игралъ, еле касаясь клавишъ... Какъ бы лаская прикосновеніемъ не ихъ пожелтѣвшія кости, а это полумертвое дорогое лицо...

## III.

— Анна Васильевна!.. Я за вами... У насъ несчастіе...

Высокая, блѣдная восьмиклассница останавливается передъ начальницей, въ ея кабинетѣ.

— Что такое?

— Маня... Мари Ельцова бросилась съ кулаками на Фредерику Ѳедоровну...

— Oh... Dieu!.. Est-ce possible?

Грузное тѣло начальницы колыхнулось. Она хватаетъ руку ученицы. Онѣ глядятъ другъ на друга, безпомощныя, жалкія, забывъ подъ ударомъ неслыханнаго скандала всю неизмѣримую рознь ихъ общественнаго положенія.

— Allons!.. Vite!..

Опираясь на руку ученицы, отяжелѣвшей поступью она идетъ наверхъ, въ младшіе классы. Заплывшія черты стараются принять обычную маску строгости.

Напрасно... Ужасъ, вошедшій въ классъ, опрокинулъ всѣ перегородки, разбилъ всѣ рамки привычнаго. Сбившись въ кучу, конвульсивно рыдаютъ дѣти. На полу бьется въ судорогахъ дѣвочка съ закатившимися бѣлками. Короткіе, хриплые звуки срываются еще съ посинѣвшихъ губъ. Легкая, бѣлая пѣна выступила въ углу рта.

Вокругъ маленькой «преступницы» пусто... Какъ будто темная сила, овладѣвшая этимъ худенькимъ тѣломъ ребенка, отбросила отъ нея все живое и мыслящее... И какимъ-то символическимъ значеніемъ вѣетъ отъ этой картины.

Начальница останавливается на порогѣ. Ея ноги дрожатъ. Она вопросительно глядитъ въ искаженное злобой и страхомъ лицо классной дамы.

А сзади, въ коридорѣ, уже звучатъ торопливые шаги. Маленькій, сухой нѣмецъ-инспекторъ, съ синими, молодыми еще глазами, нервно дергая сѣдые бачки, входитъ въ классъ.

Одна секунда колебанія... Онъ беретъ на руки уже лишившагося сознанія ребенка и выходитъ въ коридоръ.

Снизу, изъ интерната, бѣгутъ няньки и швейцаръ.

У всѣхъ остановившіеся глаза...

Черезъ часъ въ квартирѣ начальницы собирается совѣтъ. Фредерика, какъ ее всѣ называютъ, тоже здѣсь. Въ пятый разъ уже она разсказываетъ приглашеннымъ учителямъ о неслыханномъ скандалѣ. Мари Ельцова въ свободный часъ отказалась спрягать нѣмецкіе глаголы, ссылаясь на головную боль. Ей нельзя вѣрить. Она лѣнива...

— Превосходная ученица!—вспыльчиво перебиваетъ молодой учитель географіи.

— Лучше всѣхъ сочиненія пишетъ,—подхватываетъ учитель словесности.—Богато одаренное дитя...

— Лишенное, тѣмъ не менѣе, логики и здраваго мышленія,—перебиваетъ учитель математики, похожій на куклу изъ папье-маше, съ черной, какъ бы приклеенной бородой, расту-

щей у него изъ-подъ подбородка, какъ у бывшаго президента буровъ.

Инспекторъ, дергая сѣдые бачки, скользитъ горячими глазами по лицамъ.—Продолжайте!—говоритъ онъ Фредерикѣ.

— Словомъ, она отказалась... und ganz unanständlich... чего допустить не-воз-можно... Unmöglich, mein Herr... Но ви знайтъ?.. Эта натура дисциплины не при-зна-етъ... Nein!! Это дитя—мое мушеніе!.. So-o-o... И вотъ когда я стала требовать, она стала дэр-зить... Ja-a... Дэр-зить... Какой примѣръ другимъ?.. Я взяла ея руку и повела къ нашальницѣ... И тогда она упала...

— И вы ее тащили?—перебиваетъ учитель географіи.—Она упала, а вы ее волокли по полу?

Круглые глаза Фредерики съ ненавистью останавливаются на «мужчинѣ».

— Не понимай... Verstehe nicht, mein Herr... Я дѣлала, что должна. Я вела ее къ нашальницѣ. А она вырвала руки и сдѣлала вотъ такъ... Она кинулась на мэнэ... So-o-o...

— И ударила?—неодобрительно подсказываетъ батюшка.

— O nein!.. Она упала и стала кришать... Mein Gott!.. Какъ она кришала!.. Бэдныя дэти напуганы... Не скоро они забудутъ этотъ шкандаль...

— Да-съ... Хорошаго мало!—подхватываетъ батюшка.—Такимъ дѣтямъ нѣтъ мѣста въ казенныхъ заведеніяхъ... Недопустимы такіе примѣры... Въ наше время безъ дисциплины пропадешь...

— Я первая сказала—исключить!—вмѣшивается начальница. И нюхаетъ флаконъ съ солями.

Поднимается горячій споръ. Всѣ, у кого есть жены и дѣти, требуютъ болѣе обстоятельнаго разслѣдованія. Даже холостяки-мужчины удерживаются отъ безповоротнаго осужденія. Неумолимы женщины. Ихъ поддерживаетъ батюшка. Такой скандалъ, если его простить, не пройдетъ безслѣдно. Это всѣ основы расшатаетъ... А главное—какъ его оправдать, если онъ выйдетъ наружу? Это пятно на все заведеніе.

Тогда поднимается инспекторъ. У него тоже есть дѣти. Есть любимая дочка Элли,—такая же нервная и живая, за судьбу которой онъ боится. Говоря о Манѣ, онъ видитъ передъ собой лицо Элли... Онъ умѣетъ говорить. У него находятся слова, идущія въ душу...

Когда онъ кончаетъ свою рѣчь, самые строгіе колеблются. Не сдаются однѣ женщины.

Рѣшено назавтра собраться вновь и вызвать родныхъ.

— Господа, обѣденный часъ! — улыбается инспекторъ. — Нельзя принимать рѣшеній на голодный желудокъ... Они могутъ быть пристрастны.

— Мать вызвать! Чего тамъ?—кричитъ батюшка.—Она разбаловала на свою голову. Пусть она отвѣтъ и держитъ!

— Мать не пріѣдетъ,—сухо отвѣчаетъ инспекторъ. И горячіе глаза его словно колютъ желчное, обрюзгшее лицо священника.

— Это почему?

— Она душевно-больная.

Протяжное «а-а-ахъ!..» проносится по комнатѣ, колыхнувъ всѣ фигуры. Инспекторъ быстро опускаетъ глаза. Онъ не даромъ приберегъ этотъ послѣдній выпадъ въ своей дуэли съ совѣтомъ. Онъ зналъ его эффектъ.

— Наслѣдственное?—шопотомъ спрашиваетъ учитель словесности.

Инспекторъ пожимаетъ плечами.—Вы читали *Психопатическая семья* Ферэ? Точнаго отвѣта наука не даетъ. Но... душа такого ребенка—это хрупкая ваза, которую надо беречь.

— Pauvre enfant!—восклицаетъ французъ.

— Не резонъ, не резонъ!—обрываетъ батюшка, нетерпѣливо выправляя изъ-подъ рясы сѣдые волосы, похожіе на перья.—Коли такъ,—удалить безотлагательно! Полумѣры не помогутъ...

— Вы хотите наказывать за чужую вину?—тихо спрашиваетъ инспекторъ, нервно дергая сѣдые бачки.

— Это что же безъ послушанія? Примѣръ какой?

— А вы пробовали въ этихъ случаяхъ дѣйствовать лаской?—мягко продолжаетъ инспекторъ. Но глаза его колютъ, какъ булавки.—Господа, я предлагаю завтра выслушать брата и сестру Маріи Ельцовой. А затѣмъ рѣшить.

---

Петръ Сергѣевичъ окончилъ свою блестящую рѣчь въ защиту Мани. И въ библіотекѣ, гдѣ на этотъ разъ собрался совѣтъ, наступаетъ такая тишина, что слышно, какъ жужжитъ и хлопаетъ о потолокъ большая осенняя муха.

Анна Сергѣевна, не проронившая ни слова, тихо плачетъ въ своемъ уголку. Но эти покорныя, безмолвныя слезы падаютъ тяжко на вѣсы правосудія. И колеблютъ ихъ не меньше страстной исповѣди студента.

Начальница нюхаетъ соли... Одна Фредерика молчитъ, поджавъ тонкія губы. Она чувствуетъ, что ея дѣло проиграно.

Инспекторъ первый встаетъ и протягиваетъ руку студенту.

— Будьте добры подождать!.. Ну, хоть въ лазаретѣ... Мы должны обсудить то, что слышали...

---

Въ лазаретѣ, въ большой и пустой палатѣ, полутемной отъ деревьевъ сада и съ низкимъ потолкомъ, Анна Сергѣевна страстно плачетъ, пряча лицо въ подушку больной.

Петръ Сергѣевичъ гладитъ маленькія ручки и глядитъ въ неправильное хорошенькое личико. Но взглядъ у него странно-двойственный. Съ тоскою глядитъ «Петя». Съ холоднымъ любопытствомъ—медикъ...

— Мнѣ ничего не стыдно!—говоритъ Маня, встряхивая непокорными кудрями.—Я ее ненавижу... Пускай меня выгоняютъ! Если она еще разъ силой потащитъ меня изъ класса, я ее ударю... И потомъ она вретъ, будто я лгала... Я никогда не лгу... Я ничего не боюсь... Не хотѣла писать, потому что болѣла голова...

— А она у тебя часто болитъ? Гдѣ болитъ?

---

— Этотъ печальный случай,—говоритъ инспекторъ,—какъ нельзя лучше подтверждаетъ мое мнѣніе, что женщина, не имѣвшая дѣтей, любить ихъ не можетъ. И не должна браться за ихъ воспитаніе...

— Вотъ-те разъ! А старыхъ дѣвокъ куда запихать прикажете?—сердито кричитъ батюшка, не замѣчая, что начальница дѣлаетъ страдальческое лицо и нюхаетъ соли.

У батюшки пять незамужнихъ дочерей, и судьба ихъ его больное мѣсто.

— Это вопросъ другой. Мы не благотворительностью занимаемся, а воспитаніемъ...

— Ну, ужъ ваша Кеслерша! Французинка—одно слово!

— Она баварка. Родилась въ Мюнхенѣ...

— Все едино! Научитъ она дѣтей добру!.. Хи... хи!.. Да ха!.. ха!.. Вмѣсто страха Божьяго...

— Это именно я въ ней и цѣню... Дѣтямъ нужна радость... Изъ нашего интерната Марію Ельцову все-таки необходимо удалить. А частный интернатъ госпожи Кеслеръ—лучшее убѣжище для такихъ дѣтей...

---

Въ библіотекѣ, куда, трепеща, входитъ Анна Сергѣевна, разомъ смолкаетъ гулъ голосовъ. Фредерика исчезла...

Инспекторъ жметъ руку студента.

— Мы попробуемъ оставить вашу сестру...

— На годъ, на годъ!—перебиваетъ батюшка.—Это будетъ испытаніе...

— Но мы переведемъ ее классомъ ниже. Тамъ идеальная руководительница Frau Kesler... Маріи Ельцовой съ нею будетъ легко.

Анна Сергѣевна истерически вскрикиваетъ и начинаетъ рыдать. Молодые учителя кидаются за водой. Начальница нюхаетъ соли. Петръ Сергѣевичъ растерянно благодаритъ.

— Мы, къ сожалѣнію, не можемъ считаться здѣсь съ индивидуальностью каждой ученицы,—говоритъ ему инспекторъ, нервно дергая сѣдые бачки.—Тамъ, гдѣ живутъ триста маленькихъ душъ,—воспитаніе сводится къ нулю. Мы можемъ только нивеллировать... Только нивеллировать, — повторяетъ онъ, дѣлая маленькой рукой характерный, сухой жестъ.—И вашей сестрѣ жизнь дастся нелегко... Н-но... мы будемъ имѣть терпѣніе... Это такой исключительный случай... Душа этого ребенка—хрупкая ваза. И ее надо беречь...

— Испытаніе на одинъ годъ!—бурчитъ батюшка.

Острый взглядъ сѣрыхъ глазъ инспектора пронизываетъ опять желтое лицо стараго вдовца.

— Д-да... Но не забудьте, что это будетъ испытаніе не только для Маріи Ельцовой, но и для насъ, любезные коллеги! Не ударимъ же лицомъ въ грязь!

А по уходѣ Ельцовыхъ онъ съ усмѣшкой говоритъ учителямъ:

— Мы нынче оказались на высотѣ, господа. Мы не совершили несправедливости. Не знаю, какъ вы... А я думалъ все это время не столько о Маріи Ельцовой, сколько о братѣ ея... Это *личность*, господа!

## IV.

Какая таинственная и вѣчно-новая эта книга *Über Land und Meer!* Въ свободные часы растрепанная кудрявая головка погружается въ созерцаніе ея сокровищъ...

Вотъ замокъ на Рейнѣ, разрушенный рукою времени... Разбойничье гнѣздо, прилѣпившееся на высокомъ утесѣ, откуда бароны выслѣживали и грабили торговыя суда... Вотъ леген-

дарная и страшная *Бѣлая Дама*, въ чепцѣ, какъ у Маріи Стюартъ... Долгоносый Струэнзее и влюбленная въ него очаровательная королева... «Какъ могла она любить такого урода?.. Милая трогательная Беатриче Ченчи съ полуоткрытымъ ротикомъ и невинными глазками... За что ты погибла?.. Вотъ и твой палачъ, жестокій папа Павелъ IV. О, какой страшный ротъ!.. Губы вытянулись въ одну линію, безъ извилинъ...»

Дальше... дальше... Маленькіе пальчики лихорадочно теребятъ листы. И замираютъ на портретѣ безумной Іоанны Кастильской... Какая красота! Загадочно глядятъ глаза изъ-подъ тяжелыхъ вѣкъ. Съ повязки падаетъ вуаль на стройную, длинную, какъ у лебедя, шею. Она похожа на змѣю...

Дальше... дальше... Листы шелестятъ... О, какъ бьется маленькое сердце!

Наконецъ!.. Съ глубокимъ вздохомъ дѣвочка опускаетъ на колѣни ручки, тихо сложенныя, какъ бы на молитву. И замираетъ вся, въ блаженномъ забвеніи окружающаго...

Картина венгерскаго художника. Ангелъ съ мужественной, прекрасной головой несетъ душу женщины ввысь, отъ дьявола, который злобно цѣпляется за ея одежды...

О, какъ гордъ профиль ангела!.. Какъ неумолимъ его взглядъ! Какъ прекрасны его волосы, вздымающіеся надъ широкимъ лбомъ!

Дѣвочка долго, въ благоговѣйномъ экстазѣ глядитъ на это лицо... Потомъ приникаетъ къ нему губами...

---

...Какіе странные узоры на стеклѣ отъ мороза!.. Перистыя пальмы, высокія горы... Таинственные цвѣты и восточныя арабески... А вотъ и буквы... японскія буквы, какъ на шкатулочкахъ. Быть-можетъ, это сказка?.. Быть-можетъ, здѣсь разгадка какой-нибудь тайны?..

— Госпожа Ельцова... Марія... Потрудитесь повторить задачу!—говоритъ скрипучій голосъ. И сѣрое лицо математика кротко улыбается.

Худенькая дѣвочка встаетъ. Изъ ея большихъ изумленныхъ глазъ на сѣрое лицо глядитъ цѣлый міръ... Запретный для педагоговъ, какъ книга за семью печатями.

О, съ какой высоты упала сейчасъ ея душа!..

— Вы опять «отсутствовали», госпожа Ельцова Марія?.. Садитесь!—кротко говоритъ фигура изъ папье-маше. И лицемѣрно вздыхаетъ.

— Колъ поставилъ... Колъ...—звучитъ шопотъ по классу.

Улыбка скользитъ по лицу дѣвочки. Но чрезъ мгновеніе глаза ея опять вдохновенно глядятъ на карнизъ, гдѣ дрожитъ и пылаетъ послѣдній лучъ заходящаго солнца...

«Милое, милое солнышко!.. Покойной ночи!..»

---

Черезъ годъ Анна Сергѣевна сидитъ за чашкой кофе, въ уютной комнаткѣ фрау Кеслеръ, въ частномъ интернатѣ, которымъ завѣдуетъ баварка.

Это красивая брюнетка сорока лѣтъ, сильная, жизнерадостная. Она вдова художника. У нея умерли дѣти. Но старой она себя не чувствуетъ. И не прочь начать жизнь сызнова.

— Какъ я рада, что вы полюбили Маню, фрау Кеслеръ!

— Ее всѣ любятъ, mein Fräulein! Ее нельзя не любить... Мари—очаровательная маленькая женщина. Настоящая женщина... И теперь уже знаетъ себѣ цѣну.

— Ахъ, Боже мой!

— Warum «ахъ!..» Это очень хорошо—знать себѣ цѣну!

Баварка заразительно смѣется, показывая чудесные зубы.

— А какъ она учится сейчасъ, фрау Кеслеръ?

— Ни шаткò-о... ни валькò-о... какъ у васъ говорятъ... Это дитя съ фантазіей... Она учитъ, что ей нравится. И очень способна... Но наградъ отъ нея не ждите!.. Она слишкомъ разсѣянна... У нея свой міръ.

Анна Сергѣевна испуганно всплескиваетъ руками.

— Не надо пугаться! Это счастливыя дѣти, у которыхъ есть свой міръ!.. Они не умѣютъ скучать. И они ходятъ надъ землей... Надъ землей, — повторяетъ баварка, дѣлая широкій жестъ.—Мари не знаетъ, что такое зависть, мелочность... Она родилась принцессой... Что вы такъ глядите на меня, mein liebes Fräulein? Женщины бываютъ трехъ типовъ: кухарки, гувернантки и принцессы... Посмотрите въ глаза Мари, когда она задумается!.. Тамъ цѣлая книга волшебныхъ сказокъ, въ этихъ глазахъ...

Но Анна Сергѣевна этими доводами не успокаивается. Мѣшая ложечкой въ кофе и щуря на узоръ чашки близорукіе глаза, она боязливо спрашиваетъ:

— А ея поведеніе, Frau Kesler?

— Примѣрнымъ его назвать нельзя... Она очень жива... Очень шалунья... Вспыльчива, упряма, эгоистка...

— Ай-ай-ай!.. Какое несчастіе!.. Неужели же у нея не измѣнится характеръ?

— Oh-lá-lá... Характеръ? Was ist denn das?.. Если характеръ называется имѣть капризы и страсти, то у нея онъ есть... Между желаніемъ и выполненіемъ у Мари паузы нѣтъ... Нравится, подай сейчасъ! Если нельзя, то слезы и горе, какъ у взрослой женщины...

— Вы меня очень огорчаете, Frau Kesler! Эта дѣвочка будетъ несчастна...

— Кто знаетъ, mein Fräulein? Сильно желать чего-нибудь— не есть ли это уже, само по себѣ, счастье? Говорятъ: не жилъ тотъ, кто не страдалъ и не плакалъ...

Анна Сергѣевна съ мгновеніе молчитъ, чуть поблѣднѣвъ, прижмуривъ вѣки...

«Бѣдняжка!» думаетъ баварка. «Какъ можно кому бы то ни было пожертвовать молодостью? Развѣ она у насъ не одна?»

— Да вотъ еще, фрау Кеслеръ... Я давно хотѣла васъ спросить: какъ относятся къ Манѣ дѣти послѣ *этого*?.. Попрекаютъ? Чуждаются?.. Это было бы такъ ужасно!..

— Не волнуйтесь, mein Fräulein!.. Дѣти, вообще, удивительно деликатны... Я это наблюдала... Не скрою, у Мари есть враги...

— Вра-ги?—Глаза Анны Сергѣевны полны ужаса.

— Ха!.. Ха!.. Это, право, не такъ страшно... И Мари умѣетъ мстить. Вы никогда не видали ея карикатуръ?.. О, это талантъ! Но наши «о-браз-цо-выя» ученицы, которыя получаютъ двѣнадцать за поведеніе... Это онѣ не терпятъ Мари...

— За что же?

— За то что Мари—bohême...

— Что такое?

— Bohême... Неряшлива, небрежна, безъ привычекъ... О, да!.. У нея нѣтъ привычекъ... Взгляните въ ея столъ! Was für ein Kawardac (кавардакъ)!

— Ахъ!.. Она всегда была такая...

— Ну, конечно... Она и не можетъ быть иной... Она любитъ медальоны, серьги... Все, что блеститъ, что красиво... Выпроситъ, надѣнетъ. И забудетъ отдать...

— Frau Kesler! Что вы говорите! Это ужасъ!

— Успокойтесь, Fräulein Anna!.. Она не воруетъ ихъ. У нея просто нѣтъ чувства собственности... Но «образцовыя» уче-

ницы имѣютъ мѣщанскія души. И не прощаютъ Мари такой забывчивости.

— Нѣтъ, это ужасно!.. Какъ можете вы съ этимъ мириться, фрау Кеслеръ? Эту черту надо искоренять!

Баварка весело смѣется и треплетъ гостью по плечу.

— О, liebes Fräulein!.. Легче заставить рѣку течь назадъ, чѣмъ искоренить хотя бы одну черту, вложенную въ насъ природой... Неужели вы до сихъ поръ этого не знали?

Анна Сергѣевна поникаетъ головой, какъ будто рушится послѣдняя доска мостика, который держитъ ее надъ бездной.

— Зато у Мари есть преимущество надъ многими изъ насъ... Вещи не имѣютъ власти надъ ея душой... На-дняхъ Соня Горленко подарила ей прелестное кольцо съ бирюзой... У насъ учится безплатно бѣдная дѣвочка Караулова. Когда она увидала это кольцо, она заплакала отъ зависти. «Хочешь?» спросила ее Мари... Сняла кольцо и отдала ей... Весь классъ ахнулъ. Такъ поступать могутъ только принцессы...

Анна Сергѣевна встаетъ. Щеки ея пылаютъ.

— Я не могу этого допустить! Она не должна брать такихъ подарковъ!.. Это не въ нашихъ правилахъ. Братъ никогда не проститъ ей, если...

— Полноте! Никакіе запреты и наказанія не помогутъ! Отымите у нея нынче подарки,—завтра у нея будутъ другіе... Въ этомъ возрастѣ, Fräulein Anna, впервые пробуждается въ насъ инстинктъ любви. И онъ безошибочно тянетъ насъ къ тѣмъ, кто для этой любви созданъ. Мари всю жизнь будетъ возбуждать сильныя страсти... Что удивительнаго, если подруги обожаютъ ее? Это естественно. Стало-быть, красиво... И я не могу этому мѣшать!

— Вы дѣлаете большую ошибку... Простите меня, Frau Kesler!.. Маня—бѣдная дѣвочка. И ей предстоитъ скромная доля...

— «Гувернантки»?—подхватываетъ баварка.—О, liebes Fräulein! Повторяю вамъ: Мари создана для счастья... Когда ей говорятъ, что надо учиться на 12, она отвѣчаетъ: «Зачѣмъ? Я знаю, что я хорошенькая... Я буду богата, выйду замужъ, а работать не стану!..» И она права.

Лицо Анны Сергѣевны становится угрюмымъ.

— Безприданницы не выходятъ замужъ, Frau Kesler. Ей надо выкинуть эти мысли изъ головы. Это скользкій путь...

— Запретите цвѣтку благоухать, а жаворонку пѣть... Вы требуете отъ меня подвига, Fräulein,—насмѣшливо говоритъ

баварка.—А я только бѣдная женщина, любящая солнце, дѣтей и радость... И я даю дѣтямъ только то, что имѣю.

Когда Анна Сергѣевна уходитъ, она вынимаетъ изъ старенькаго портмонэ зеленую бумажку.

— Frau Kesler, вотъ деньги для Мани... Я не хочу, чтобъ она нуждалась!.. Это мои трудовыя деньги, Frau Kesler, и онѣ мнѣ не легко даются... Для меня, когда я училась (да и теперь—хочетъ она добавить, но сдерживается), имѣть три рубля на свои прихоти... было бы цѣлымъ богатствомъ... И я не хочу, чтобы Маня пріучалась къ расточительности. Но... меня пугаетъ эта легкость, съ какой она беретъ все у другихъ... До свиданія, Frau Kesler! Подумайте надъ моими словами!

## V.

Ночь. Глубокая тишина. Всѣ давно спятъ въ дортуарѣ интерната.

Маня беззвучно сползаетъ съ постели и становится на колѣни... Слезы экзальтаціи горятъ въ ея огромныхъ глазахъ. Она молится своими словами. Она не любитъ молитвъ... Какъ хорошо, что холодъ охватываетъ ея тѣло, и что колѣни ломитъ! Какъ хорошо страдать и плакать жгучими слезами, которыя уносятъ силы!

Соня Горленко вдругъ просыпается, какъ будто ее толкнули.

— Опять?—въ ужасѣ шепчетъ она.—Маня! Ты себя убиваешь... Чего ты просишь у Бога?.. О чемъ плачешь?

Маня застыла на холодномъ полу, въ одной рубашкѣ... Она падаетъ отъ утомленія. Соня ложится къ ней подъ одѣяло, чтобы согрѣть ея ледяныя ножки.

— Я прошу смерти... Я такъ мечтаю умереть! Умереть...

— Молчи, молчи!—Соня обхватываетъ ея голову и цѣлуетъ ея глаза и лобъ.—Ты хочешь убить меня?.. Какъ я останусь жить безъ тебя? И зачѣмъ тебѣ умирать? Развѣ ты несчастна? Чего тебѣ не хватаетъ? Ты окружена поклоненіемъ и любовью...

— Я тебѣ открою мою тайну,—говоритъ Маня полушопотомъ. И голосъ ея полонъ такого значенія, что у спокойной Сони начинаетъ биться сердце отъ предчувствія чего-то новаго и прекраснаго.

— Слушай!.. Я люблю мою мечту... Ангела въ нѣмецкой книгѣ... Завтра я тебѣ покажу его...

— Ну, такъ что же?

— На землѣ я его не встрѣчу. Ангелы не приходятъ на землю. Неужели ты не понимаешь меня?

— Какое безуміе, Маничка!.. Изъ-за этого ты не спишь ночами и не учишься! Какъ ты похудѣла!.. Посмотри, на что стали похожи твои ручки! Ты стаяла за одинъ мѣсяцъ...

— Ахъ, это хорошо!—говоритъ Маня съ блаженной улыбкой.—Я дала себѣ сроку жить ровно три мѣсяца. И въ первый день Пасхи я умру. Я это знаю... Я умру!

Соня начинаетъ рыдать.

Но Маня безучастна къ ея горю... Душа ея такъ далека отъ земли!

---

Теперь Маня такъ хрупка и блѣдна, что даже учителя выражаютъ безпокойство. Два раза отъ слабости съ нею были обмороки. Братъ и сестра въ отчаяніи. Зовутъ доктора.

Соня рѣшается. Подъ величайшей тайной она говоритъ фрау Кеслеръ о грезахъ Мани.

— Ай-ай-ай!..—огорчается баварка.—Что-жъ ты мнѣ раньше не сказала?

— Маня, — говоритъ она дѣвочкѣ. — Покажи мнѣ эту картинку!

Маня не возмущена болтливостью Сони. Она такъ апатична...

— Глупое, бѣдное дитя!—шепчетъ фрау Кеслеръ, цѣлуя кудри дѣвочки.—Смотри подпись! Эту картину писалъ венгерскій художникъ. А художники ничего не выдумываютъ. Они пишутъ съ живыхъ людей. Да, да!.. Съ живыхъ... У меня мужъ былъ художникъ, и я это знаю. Художнику нужна *натура*... Иначе онъ не можетъ творить. И эту натуру онъ ищетъ иногда годы... На улицахъ, въ театрахъ, въ другихъ странахъ... Эта голова ангела написана съ живого человѣка.

— Фрау Кеслеръ!!

— Да, съ живого! Зачѣмъ же тебѣ умирать и уходить отъ этой встрѣчи? Только тутъ, на землѣ, среди насъ, ищи его!.. Вырастай, кончай учиться и поѣзжай путешествовать! Поѣзжай въ Венгрію... Спроси того художника, гдѣ взялъ онъ это лицо?.. И ты встрѣтишь гдѣ-нибудь своего «ангела»... И узнаешь счастье. Ты плачешь? О чемъ?.. О чемъ, дитя мое?

---

Въ пользу бѣдныхъ гимназистокъ начальница устраиваетъ на масленицѣ живыя картины, концертъ, затѣмъ балъ. Фрау

Кеслеръ, какъ женщинѣ съ художественнымъ вкусомъ и иниціативой, поручено устройство «живыхъ картинъ».

— Я вамъ дамъ идею, madame,—говоритъ она начальницѣ.—У насъ будетъ одинъ такой №, что Москва заговоритъ о насъ. И придется съ повышенными цѣнами повторить этотъ вечеръ.

— Фрау Кеслеръ! Вы—геній!

— Слушайте, madame... Извѣстно ли вамъ, что маленькая Мари Ельцова дивно танцуетъ?

— Да... учитель танцевъ...

— Ахъ, это не то!.. Это было бы слишкомъ просто... Это дитя—живой символъ музыкальнаго ритма... Это талантъ. И родные сдѣлали огромную ошибку, не посвятивъ ее сценѣ...

— Фрау Кеслеръ, вы меня заинтересовали... Что же она танцуетъ?

— Все... и ничего... Вы слышали объ Айседорѣ Дунканъ? Въ Россіи она еще не была, но о ней такъ много пишутъ! Это новый родъ искусства... какъ бы возвращеніе къ античной пляскѣ. Маня тоже выражаетъ въ пляскѣ всѣ движенія своей души, всѣ грезы... Она пляшетъ безсознательно. Но это творчество. Это импровизація...

— Вы сами видѣли, фрау Кеслеръ?

— О, да... Она танцовала въ дортуарѣ...

— Ночью??

— Ну, да... вечеромъ...

— Раздѣтая???

— Нѣтъ, въ рубашкѣ...

— Фрау Кеслеръ! Это неприлично!

— Oh, madame! Одной рубашки совершенно достаточно... Это та же греческая туника. Наши классическія юбочки балеринъ, подымающіяся сзади, какъ хвосты кохинхинокъ... онѣ слишкомъ безобразны для новой идеи танца... Нужна греческая туника. Вродѣ той, какую носитъ Дунканъ... Безъ трико и корсета...

— Безъ корсета?..

— О да, madame... Развѣ Эллада ихъ знала? И если-бъ вы видѣли, madame, грацію этого ребенка, когда она носилась по дортуару, передъ восхищенными дѣвочками!.. Я стояла за дверью и не могла оторвать глазъ...

— Она плясала безъ музыки?

— Да... Соня Горленко напѣвала какую-то грустную пѣ-

сенку. И это было все... Но, увѣряю васъ, madame, я видѣла... поэму...

---

Маня ожила... Опять розовѣютъ ея стаявшія щечки. Опять она смѣется, сіяя ямками... Жизнь манитъ... Мечта о чудной Венгріи заполняетъ ея дни и ночи.

Соня выучила венгерскіе танцы Брамса. И послѣ обѣда, подъ ихъ звуки, Маня носится по дортуару въ безумно-бѣшеномъ танцѣ, растрепанная, съ пылающими щеками и глазами, вырывая крики восторга у дѣтей.

— Вотъ это ты и будешь танцовать,—говоритъ ей фрау Кеслеръ.—Это и что-нибудь изъ твоихъ грезъ... тихихъ и воздушныхъ... подъ *adagio* изъ *Лунной Сонаты*...

---

Ахъ, что это за вечеръ! Что за упоеніе!

Забывъ о публикѣ, переполнившей залу, подъ рыдающіе звуки Бетховена, Маня скользитъ по эстрадѣ, озаренная бутафорской луной. Въ одной туникѣ и сандаліяхъ... Скользитъ, какъ призракъ, ломая руки, простирая ихъ къ небу, къ своей далекой мечтѣ... И маленькое, блѣдное личико, съ вдохновенными глазами, полно потрясающаго драматизма.

Подъ взрывъ единодушныхъ, бѣшеныхъ аплодисментовъ она убѣгаетъ за кулисы. Въ уборную спѣшитъ за нею торжествующая, сіяющая фрау Кеслеръ.

Быстро отстегиваетъ она бѣлую тунику и набрасываетъ на дѣвочку красную. Все это: обѣ туники, неизбѣжное трико, сандаліи, коротенькія панталончики и батистовая, тонкая, какъ шелкъ, рубашка, куплены и сшиты самой фрау Кеслеръ. Она же изъ роскошной косы Мани устроила ей греческую прическу. Она же наложила на маленькое личико гримъ. И Маня стала красавицей.

Вотъ раздаются экзотическіе то тоскливые, то бѣшеные звуки венгерскихъ танцевъ Брамса. Въ нихъ уныніе одиночества и томленіе нераздѣленной страсти. Въ нихъ ширь и зной азіатской пустыни...

Стремительно выбѣгаетъ дѣвочка изъ-за кулисъ. И останавливается... Вся подавшись впередъ, напряженная, какъ струна, съ искрящимися глазами... Она какъ бы прислушивается къ нарастающей въ душѣ ея волнѣ творчества...

Мигъ... И она закружилась, заметалась по сценѣ, неуловимая, неутомимая, жизнерадостная, искристая... Шпильки упа-

ли изъ головы. Волосы покрыли плечи... Она похожа на русалку, которая кружится въ сѣдомъ туманѣ надъ болотомъ. Она похожа на лѣсного эльфа, пляшущаго подъ дубомъ, на опушкѣ лѣса, въ лунную ночь...

Когда она убѣгаетъ за кулисы, она падаетъ на полъ почти безъ чувствъ.

Но ее вызываютъ, вызываютъ безъ конца... Имя ея на всѣхъ устахъ... Завтра о ней будетъ говорить весь городъ...

Блѣдный, затихшій, сидитъ Петръ Сергѣевичъ въ первомъ ряду креселъ, на присланный безплатно билетъ. Онъ—эстетикъ въ душѣ,—эстетикъ, несмотря на аскетическую программу жизни, на суровую судьбу свою,—потрясенъ и захваченъ этой красотой.

Кто ждалъ отъ маленькой Мани такой силы?.. Да... Развѣ не сила—вотъ эта власть надъ толпой? Этотъ стихійный восторгъ? Этотъ избытокъ творчества? Его собственныя слезы, которыя жгутъ ему глаза?

— Это дитя создано для любви и счастья!—говоритъ ему фрау Кеслеръ.

«Слава Богу!» думаетъ онъ. «У нея есть теперь на что отдать душу и жизнь. Есть куда уйти отъ любви... И найти свое счастье внѣ шаблонныхъ формъ. Пусть идетъ своей дорогой! Искусство сдѣлаетъ ее свободной...»

---

— Аня, мы должны отдать ее въ театральную школу,—говоритъ онъ сестрѣ черезъ недѣлю, глубоко обдумавъ все пережитое.—Не будемъ мѣшать росту ея души! Кто знаетъ? Не помиритъ ли ее искусство съ печальной необходимостью самоотреченія въ любви?

Но Анна Сергѣевна приходитъ въ ужасъ. Жизнь артистки, особенно балерины, развѣ это не омутъ, въ которомъ погибнетъ Маня? Нѣтъ!.. Нѣтъ! Не надо предрѣшать событій! Пусть кончаетъ курсъ! Нельзя закрывать торной дороги передъ ребенкомъ... Потомъ пусть выбираетъ сама! По крайней мѣрѣ, у нихъ не будетъ камня на совѣсти...

— Я мечтала для нея о курсахъ, о медицинѣ... Обо всемъ, что судьба отняла у меня...

Онъ угрюмо молчитъ. Онъ чувствуетъ, что наука, упорный трудъ и альтруизмъ—не для такихъ, какъ Маня.

---

Теперь дѣвочка—кумиръ гимназіи. Къ ней приглядываются съ интересомъ всѣ... Учителя, начальство. Всегда сдержанная, всегда серьезная Соня Горленко—гордость класса—не скрываетъ своего обожанія.

Фрау Кеслеръ торжествуетъ.

---

Маня не любитъ ѣздить домой на каникулы. Дома тихо, какъ въ келліи. Ходятъ на цыпочкахъ, говорятъ шопотомъ. Окна закрыты... И Аня все шикаетъ. А мама больная и равнодушная... Ни о чемъ не спроситъ. Такъ угрюмо молчитъ... И цѣлые дни лежитъ чуть не впотьмахъ.

— Что съ нею?—спрашиваетъ Маня сестру.

— Нервная болѣзнь у нея... Очень тяжелая.

И Анна Сергѣевна вздыхаетъ.

— А когда она поправится?—равнодушно продолжаетъ дѣвочка.

— Никогда, Маничка! Никогда...

Въ глазахъ ребенка отражается ужасъ.

— И мы всегда будемъ жить такъ... съ закрытыми окнами?.. Говорить шопотомъ?.. И смѣяться нельзя? И возиться нельзя?

Анна Сергѣевна съ тоской гладитъ растрепанную головку.

— Ступай на дворъ, дѣтка!.. Побѣгай тамъ съ дѣтьми... Конечно, у насъ скучно...

Маня ростетъ. Но кошмаръ ея дѣтства не исчезаетъ.

Одно лѣто она проводитъ въ дѣтской колоніи, въ деревнѣ. Тамъ ей весело. Но она скучаетъ безъ Пети.

— Я совсѣмъ не буду жить дома,—говоритъ она Сонѣ Горленко.—Какъ кончу учиться, уѣду къ тебѣ. У насъ страшно...

— Бѣдная дѣвочка!—вздыхаетъ Соня. (Ей 15 лѣтъ. Она на годъ только старше Мани.)—Я скажу мамѣ... Она упроситъ твою сестру отпустить тебя къ намъ на лѣто... Какъ это будетъ хорошо!

Маня вскрикиваетъ и кидается на грудь Сони.

Имѣніе Горленко называется Лысогоры. Соня выговариваетъ Лысохоры... Одно названіе уже настраиваетъ Маню на мечты. Тамъ жили вѣдьмы. Онѣ справляли шабашъ на этихъ горахъ... Все кругомъ полно легендами, отъ которыхъ волосъ шевелится на головѣ.

Она учится еще хуже этотъ годъ... «Украина»,—какъ говоритъ Соня, обожающая Шевченка, родина вѣдьмъ и упырей,

знойный югъ, черныя ночи, большія звѣзды, другіе цвѣты, странный, гармоничный языкъ Гоголя... Неужели Маня очутится въ этой сказочной странѣ?

Днемъ она грезитъ. Ночью видитъ яркіе сны...

— Маня,—говоритъ Frau Kesler, посвященная въ тайну.— Возьми себя въ руки! Если останешься въ классѣ, тебя не пуститъ къ Сонѣ Bruder Peter.

Взять себя въ руки... Легко сказать! Этого-то Маня и не умѣетъ. Она плачетъ, зубритъ, швыряетъ учебники на полъ... Худѣетъ и блѣднѣетъ. На маленькомъ личикѣ какъ бы остаются одни громадные лихорадочные глаза. Ей кажется, что она не доживетъ до лѣта.

Соня готовитъ Маню къ экзаменамъ.

— Разбуди меня въ одиннадцать,—наканунѣ экзамена говоритъ она Сонѣ.—Мы будемъ пить крѣпкій чай и заниматься всю ночь.

Онѣ встаютъ въ одиннадцать, зажигаютъ свѣчку и идутъ въ «бассейнъ», къ столу.

Рѣшивъ съ помощью Сони двѣ задачи, Маня съ таинственными глазами говоритъ:

— Я нынче видѣла во снѣ попелюху...

— Да ну?—увлекается Соня.—Какая же она?

Маня картинно, какъ всегда, разсказываетъ свой фантастическій сонъ.

Попелюха—это исчадіе болотъ. По обычаю малороссовъ, весь пепелъ изъ печей бросаютъ въ болото. И по ночамъ изъ этого пепла рождается сѣрая жуткая нечисть. И горе тому, кто ее увидитъ! Это саламандра древнихъ... Въ нее вѣрятъ крестьяне. Многіе видѣли ее не разъ передъ несчастіемъ: пожаромъ, болѣзнью, смертью. Въ нее вѣритъ Соня. И даже мать ея, Вѣра Филипповна, никогда вечеромъ не пройдетъ мимо болота.

Маня разсказываетъ такъ хорошо, такъ пугается сама своихъ словъ, что даже спокойная Соня теряетъ самообладаніе... Смолкнувъ, онѣ тревожно озираются. Тоскливо слушаютъ, какъ звонко капаетъ вода въ бассейнѣ, среди глубокой тишины. И въ этихъ ритмическихъ звукахъ имъ чудится что-то мистическое... Хорошо бы уйти и лечь съ головой подъ одѣяло!.. Но страшно встать...

— Давай работать!—шопотомъ говоритъ Соня, придвигая тетради.

Но Маня кладетъ палецъ на губы и прислушивается... Ея

огромные зрачки косятся на дверь, запертую въ темный, длинный коридоръ. Тамъ что-то дышитъ... Тише! Двигаться нельзя... Иначе онѣ пропали...

Зараженная ужасомъ, разлитымъ въ этихъ зрачкахъ, Соня застываетъ въ неловкой позѣ...

Вдругъ кто-то шипитъ надъ ихъ головой... Господи!..

Ахъ, это часы!.. Полночь...

Кончился бой... И теперь еще страшнѣе... Это часъ видѣній...

Ноги затекли... Тишина родитъ неясные шорохи...

— Слышишь?

Идетъ кто-то... Духъ спирается... Сердце стучитъ въ горлѣ и въ ушахъ...

Толстая заспанная дѣвочка въ нижней юбкѣ и ночной кофточкѣ... Вошла и стоитъ.

— Ахъ! Это ты, Соколова?

О, какъ легко!.. И какъ досадно!..

— Я проспала,—испуганно говоритъ румяная дѣвочка.

Соколова и подруга ея на другомъ концѣ комнаты бубнятъ, сидя на полу и поставивъ свѣчку на табуретку.

— Пиши!—диктуетъ Соня.—У одного купца было товару...

Черезъ часъ обѣ крѣпко спятъ, положивъ головы на тетради.

На экзаменѣ Маня получаетъ шесть—непереводный баллъ. Соня рыдаетъ. Она во всемъ обвиняетъ себя.

— Если Петя и Аня не пустятъ меня къ тебѣ, я умру,—спокойно, какъ о самой обыкновенной вещи, говоритъ Маня.—Я ужъ это рѣшила... Я умру...

— Какъ умрешь?—Соня замираетъ отъ ужаса.

— Я брошусь изъ окна. Знаешь тамъ? Въ коридорѣ... Внизу мостовая. Одна минута, и все будетъ кончено... Я не могу вернуться домой. Я такъ мечтала о Малороссіи!.. Я такъ мечтала!..

Соня съ большими, остановившимися глазами бѣжитъ въ комнату Frau Kesler...

## VI.

И вотъ онѣ въ поѣздѣ, который мчитъ ихъ на югъ... Забыты слезы Ани, суровыя рѣчи Пети... «Ты уже не маленькая. Тебѣ пятнадцатый годъ... Пора стать серьезной!»... Мимо, мимо... Въ августѣ назначена переэкзаменовка. Соня будетъ

готовить ее все лѣто... Маня прильнула къ окнамъ и, не отрываясь, глядитъ въ степь.

Поѣздъ останавливается у крохотной, какъ бы Богомъ забытой станціи. Надъ низенькимъ деревяннымъ зданіемъ, какъ колонны храма, вздымаются могучіе пирамидальные тополи. Первые тополи... Они задумчиво качаютъ гордыми вершинами и, какъ въ молитвѣ, протягиваютъ къ знойному небу зеленыя руки... Подъ ними темно, какъ въ лѣсу.

— Маня!.. Маня! Да гдѣ же ты? Лошади ждутъ!—кричитъ Соня, выбѣгая изъ буфета на дебаркадеръ.

Маня оборачивается. У нея выраженіе пилигрима, стоящаго у гроба Господня. Крупныя слезы повисли на рѣсницахъ.

Ландо, запряженное парой лошадей... Кучеръ Петро, сѣдой и важный, двадцать лѣтъ уже живущій въ домѣ, фамильярно болтаетъ съ Вѣрой Филипповной.

Надо ѣхать сорокъ верстъ. И Соня любитъ эти часы, лучшіе въ дорогѣ.

Когда степь, гдѣ вспаханная, гдѣ зеленая отъ ржи и пшеницы, но все же безкрайняя и могучая, обнимаетъ ихъ со всѣхъ сторонъ, и свѣжій, немолчно дующій вѣтеръ ласково цѣлуетъ лица,—глаза Мани углубляются. И исчезаетъ безслѣдно ея живость. Она вся отдается созерцанію.

Какая тишина послѣ грохота цѣлыхъ сутокъ! Какъ это они не заблудятся въ этой пустынѣ, гдѣ всѣ дороги одинаковы?

Вонъ растрепанное грушевое деревцо одиноко высится на горизонтѣ... Какимъ чудомъ выросло оно здѣсь, въ степи, далеко отъ всякаго жилья?.. Вонъ старый трактъ, обсаженный косматыми вербами. Имъ по двѣсти лѣтъ и больше... Многія истлѣли внутри и держатся на одной корѣ. Двѣсти лѣтъ!.. Кто здѣсь шелъ? Кто садился подъ ними, въ тѣни? Куда спѣшили всѣ эти люди, которыхъ нѣтъ?.. Вольные казаки, гордые запорожцы... А раньше? Раньше?.. Всѣ народы шли по этой степи, какъ волны, смѣняя волну. И гибли въ ней, поливая ее своей кровью... Печенѣги, половцы, татары... Маня закрываетъ глаза... «Что мнѣ шумитъ, что мнѣ звенитъ рано предъ зарею?..» звучатъ въ памяти дивныя строфы *Слова о полку Игоревѣ*.

— Гляди, Маня!.. Мельницы!—говоритъ Соня.

Какія онѣ прелестныя и смѣшныя!.. Изъ-за холма видны только верхнія крылья. Онѣ похожи на громадныхъ сидящихъ утятокъ...

А, можетъ быть, были такія въ допотопныя времена? Когда разные гады царили въ темномъ дремлющемъ мірѣ, полномъ неосуществленныхъ возможностей, на зарѣ земной жизни?.. Вотъ онѣ вылѣзли и сидятъ, уставившись на мимо ѣдущихъ людей. Ихъ огромные черные усы отчетливо рисуются на горизонтѣ. Ахъ!.. Шевельнулись... Вертятся... Какія славныя!..

Вѣра Филипповна недѣли двѣ прожила въ Москвѣ и теперь безъ умолку разспрашиваетъ Петро о видахъ на урожай. Говорятъ о житѣ, просѣ, гречихѣ. О коровѣ, о сосѣдяхъ... Она ахаетъ и сокрушается...

Какъ это люди живутъ, не замѣчая разлитой кругомъ красоты? Не умѣя благоговѣйно молчать среди этой зеленой, безпредѣльной пустыни, гдѣ только жаворонки смѣютъ звенѣть тамъ... высоко... Такъ высоко, что ихъ не видно глазомъ...

— Курганы,—вдругъ говоритъ Соня.

— Гдѣ?.. Гдѣ?—кричитъ Маня, во весь ростъ вставая въ экипажѣ.

На горизонтѣ далеко-далеко мрѣютъ очертанія огромныхъ кургановъ... Сторожевыхъ ли? Могильныхъ? Кто знаетъ?.. Кто скажетъ? Волны исторіи катились черезъ нихъ, унося даже память о племенахъ. «Народы смѣнили народы... Лицо измѣнилось земли...» А они все такъ же ревниво хранятъ тайны ушедшихъ.

Съ бьющимся сердцемъ Маня глядитъ на горизонтъ.

Когда черезъ полчаса ѣзды ландо приближается къ курганамъ, дѣвочки, взявшись за руки, бѣгутъ по пыльной дорогѣ, усыпанной голубымъ цикоріемъ.

Вдругъ... Маня останавливается...

Курганъ весь распаханъ.

— Не пойду!—говоритъ она, отдергивая руку.—Не хочу!

— Почему?.. Взберемся! Оттуда видно такъ дале-еко...

— Не хочу!.. Не хочу!

Слезы повисли на рѣсницахъ, когда она садится въ экипажъ. Вѣра Филипповна огорчается. Въ чемъ дѣло?

Какъ странно, что они съ полуслова не понимаютъ ее!

— Здѣсь Игорь шелъ съ своими полками... Зачѣмъ вспахали курганъ? Зачѣмъ?

Вѣра Филипповна улыбается.—Милая дѣвочка... Это оттого, что земли мало. Дорожатъ каждымъ клочкомъ.

— Голоденъ мужикъ, панночка! — подхватываетъ Петро, оборачиваясь на козлахъ.

Маня молчитъ, отвернувшись. Эти простыя слова не утѣшаютъ ее.

— Неужели опять будетъ голодъ, Петро?—спрашиваетъ Соня.—И какъ возмутительно, мама! Такой черноземъ! Столько земли!.. У насъ учатъ, что Малороссія—житница Россіи...

— Эхъ, панночка! Да развѣ это наша земля? Все панское. Все Шенбока... А у насъ сколько семействъ на Амуръ выселяются!.. И, Боже мой! Въ Крымъ молодежь бѣжитъ. Дома ѣсть нечего... (Онъ выговариваетъ *исть*...)

Соня задумывается. Ея большіе глаза перестаютъ сіять.

— А что слыхать, Петро, о столовой въ Колтоновщинѣ? Дѣйствуетъ еще?

— А какъ же, панночка? Экономъ закрыть собирался. Шенбокъ не позволилъ... Дай ему Богъ здоровья! Жалѣетъ людей...

— Кто?—вдругъ спрашиваетъ Маня.—Кто?

— Штейнбахъ,—смѣясь, объясняетъ Вѣра Филипповна.

— Люди говорятъ, пока не поспѣетъ жито, все кормить будетъ...

— Вотъ какъ! Это дѣлаетъ ему честь!—небрежно роняетъ Вѣра Филипповна.

Село...

Какъ непохоже на русскую деревню! На грязныя, покосившіяся избы!.. Мазанки—чистенькія, бѣленькія, стоятъ какъ именинницы. Только окна почему-то закрыты въ такую жару... Какіе чудаки!.. Вотъ и вишневые садочки и огороды. Пышныя мальвы и георгины глядятъ черезъ плетень. На золотыхъ кустахъ чернобривца солнце словно забыло свое сіяніе.

А вонъ и подсолнечники. Цѣлый лѣсъ... Они обернули къ солнцу золотыя лица. И стоятъ, задумавшись, поникнувъ головками... Какіе красавцы!

Мелкая пыль обдаетъ ландо и стоитъ въ воздухѣ... Чудовищная пыль!

Здѣсь остановка. Надо поить лошадей... Старуха съ жгучими глазами и беззубымъ ртомъ, съ молодымъ гармоничнымъ голосомъ радушно приноситъ кучеру ведро. Ландо стоитъ у колодца съ длиннымъ «журавлемъ», на которомъ спускаютъ ведро.

Дѣвочки вылѣзли и смотрятъ на гусей. Взволнованные вниманіемъ этихъ странныхъ существъ, гуси скрипуче и тревожно переговариваются. Громадная сѣдая свинья съ дружественнымъ хрюканьемъ подходитъ, жаждая свести знакомство...

— Какое отвращеніе!—говоритъ Маня и хочетъ оттолкнуть нюхающее ея ботинку тупое рыло.

— Тише, Маня! Она можетъ укусить...

— Неужели она кусается?

— Кусается, панночка!.. Кусается!—съ такимъ экспансивнымъ восторгомъ подхватываетъ старуха своимъ звучнымъ альтомъ, словно объявляетъ самую пріятную въ мірѣ новость.

Дѣвочки переглянулись, начинаютъ хохотать.

— Дѣти, идите пирожки ѣсть!—зоветъ Вѣра Филипповна. Петро тоже получаетъ свою порцію и сотку, которую купили еще въ Москвѣ, для него нарочно.

— Старуха навѣрно вѣдьма!—убѣжденно шепчетъ Маня, когда онѣ садятся въ ландо.—Видишь, какіе глаза? У нея есть хвостъ...

— Хвистъ,—важно поправляетъ Соня.

— И она по ночамъ ѣздитъ на метлѣ...

Онѣ долго хохочутъ и оглядываются...

Ахъ, какая высокая гора!.. Внизу, далеко, между вербами, сверкаетъ громадный, какъ озеро, прудъ. Солнце уже садится. Алая заря и пронизанныя ею облачка глядятся въ воду. Гуси,—теперь розовые,—плывутъ и гогочутъ, хлопая крыльями, потому что мальчикъ верхомъ на лошади въѣхалъ въ воду и замутилъ ее. Слышно, какъ фыркаетъ лошадь... На фонѣ зари хатки наверху, на другомъ берегу, кажутся вырѣзанными изъ черной жести.

— Вылѣзайте, а то опрокинемся,—объявляетъ Петро.—Буду тормозить.

Онѣ пѣшкомъ спускаются по горѣ, мимо крутого ущелья, къ плотинѣ... Какой высокій, сочный, зеленый тростникъ!

— Очерэтъ,—подсказываетъ Соня. Она разомъ забываетъ гимназію и становится хохлушкой.

Маня задумывается... «Дивнымъ пѣніемъ чудеснымъ огласился очеретъ»... Алеша-Поповичъ, полоненная имъ царевна въ лодкѣ... Настроеніе опять готово.

Дорога круто повернула влѣво. Вонъ на перекресткѣ стоитъ высокій крестъ, съ грубо разрисованнымъ, стертымъ дождями изображеніемъ Распятаго. Недалеко колодезь-криница.

Грустью вѣетъ отъ этого креста. Какъ четко рисуется онъ на пылающемъ небѣ!

— Фыхура (фигура),—говоритъ Соня. Вѣра Филипповна крестится, дѣлая набожные глаза.

— Остатки католичества и старины, — объясняетъ она.— Землей здѣсь когда-то владѣли поляки.

У креста стоитъ столбъ, и на немъ надписи указываютъ путнику дорогу.

«Это трогательно!» думаетъ Маня. Она видитъ въ темную ночь въ безграничной степи одинокаго путника. Какъ радостно забьется его сердце, когда внезапно изъ мрака вынырнетъ передъ нимъ высокій крестъ и этотъ колодезь! Пустыня уже не будетъ жуткой...

— Опять замечталась? — смѣется Соня. — Лучше погляди назадъ!

Маня оборачивается и вскрикиваетъ.

Ландо повернуло. На фонѣ догорающей зари, какъ на картинѣ, стоитъ вся черная мельница, воздушная и сказочная...

— А теперь сюда,—говоритъ Соня.

Влѣво аллея пирамидальныхъ тополей сбѣгаетъ въ яръ. И между ними, на зеленомъ небѣ, призрачно мерцаетъ еле видный серпъ луны... Два міра!..

— Сказка!—шепчетъ Маня.

Петро задерживаетъ лошадей и кнутовищемъ показываетъ на тополи.

— Липовка... Шенбока имѣніе,—говоритъ онъ почтительной интонаціей человѣка, привыкшаго къ рабству.

— Штейнбаха,—опять смѣясь, поправляетъ его хозяйка.

— Заболѣлъ старикъ, Вѣра Хвилипповна... Дуже заболѣлъ. Вчера по телеграфу изъ Кіева дохтура выписали. Нынче ждутъ другаго изъ Москвы... Хубернаторъ у него былъ вчера...

— Вотъ какъ?

— Сыну дали знать... Мнѣ на станціи ихъ кучеръ говорилъ. А сынъ за границей... Еще когда вернется?

«Неужели умретъ?..»

Вѣрѣ Филипповнѣ стыдно показать свою радость. Чувство какого-то освобожденія, какой-то смутной надежды... На что? Не все ли равно? Умретъ старый паукъ, грозный кредиторъ. На смѣну придутъ наслѣдники.

Она припоминаетъ, что слышала о сынѣ... Онъ прославился, какъ адвокатъ, по политическимъ процессамъ... Какъ-то сложатся ихъ отношенія?

— Какой лѣсъ! Какой чудный лѣсъ!—говоритъ Маня, указывая на синѣющую вдали дубовую рощу.

— Это лѣсъ Штейнбаха...—говоритъ мать Сони.

Они ѣдутъ мимо сизыхъ полей ржи, мимо изумрудной свекловицы и бѣлорозовой ранней гречихи. Словно снѣгъ покрылъ землю тамъ, вдали...

— Это хлѣбъ и плантаціи Штейнбаха,—шепчетъ Вѣра Филипповна.

Экипажъ спускается въ яръ. Вдали, на горѣ, между темными купами роскошнаго стариннаго парка, блеститъ крыша бѣлаго дома, съ высокими башнями по угламъ.

— Какой замокъ! Какой дивный!—восторженно вскрикиваетъ Маня.

— У насъ называютъ «пàлацъ»... Когда-то здѣсь ночевала Катерина II. Это Липовка, любимое имѣніе Штейнбаха. Лучшая усадьба всего края. Она принадлежала князьямъ Галицкимъ. Анна Львовна Галицкая вышла замужъ за Нелидова... А онъ все спустилъ въ карты. Штейнбахъ купилъ это имѣніе.

— Это крезъ—этотъ Штейнбахъ?.. Это крезъ?

— Да, Маня. Это сахарный король... Все, что мы видимъ кругомъ,—эти поля, лѣса, рожь, пшеница, свекловичныя плантаціи, старинныя дворянскія усадьбы даже,—все на двадцать верстъ кругомъ принадлежитъ ему... Весь уѣздъ почти—его собственность. У него шестьдесятъ тысячъ десятинъ.

Воображеніе Мани затронуто. Какая власть!

— У него много дѣтей, значитъ? Двадцать дѣтей? Или больше?

— Что такое?—Вѣра Филипповна звонко смѣется.

— У него много дѣтей?

— Одинъ только сынъ.

— О-динъ?.. На что же ему столько земли?

Смѣется и Петро, оглядываясь съ козелъ и качая головой.

— Не правда ли, какъ это возмутительно?—спрашиваетъ подругу Соня. И тихіе всегда глаза ея сверкаютъ.

— Онъ старый?.. Онъ добрый?.. Онъ нѣмецъ?

— Онъ жидъ...

— Мама!.. Сколько разъ я тебя просила? Онъ—русскій подданный и кальвинистъ.

— Ты откуда знаешь?—съ сердцемъ перебиваетъ мать.

— Дядюшка говорилъ...

— Все равно—жидъ! Этого не вытравишь, хоть въ десяти рѣкахъ крестись! Раса, а не религія имѣетъ значеніе...

— Мама, знаешь, кто такъ выражается?

— Ахъ, оставь пожалуйста! Что ты меня учишь?..

— Мнѣ не хочется, мама, тебя въ чемъ-нибудь осуждать...

— Скажите, пожалуйста!.. «Осуждать»! Съ этихъ поръ еще вы насъ учить и судить будете! Не вздумай еще отцу замѣчанія дѣлать! И такъ ужъ у него голова кругомъ идетъ...

— Лина говоритъ...

— Кто такая еще эта Лина?

— Лина Ѳедорова. Она теперь въ первомъ классѣ. Она самая умная у насъ, самая чудная... Ея дружбой я горжусь. И она всегда защищаетъ евреевъ...

— Все это издали хорошо. Я послала бы эту Лину сюда!.. У насъ въ Россіи все зло отъ жидовъ идетъ. Всѣ бунты...

— Неправда...

— Что такое? Какъ ты смѣешь такъ возражать?

— Дядюшка говоритъ...

— Ахъ, отвяжись, пожалуйста, съ своимъ дядюшкой! Нашла кого слушать!.. Человѣкъ собственную жизнь не сумѣлъ устроить. А набиваетъ тебѣ голову всякимъ вздоромъ!

Вѣра Филипповна разстроена. Она вынимаетъ платокъ и обмахивается.

Маня брезгливо молчитъ. Носикъ ея выразительно сморщился. Дѣтскія впечатлѣнія такъ прочны въ душѣ!.. Она вспоминаетъ еврейку, которая часто приходила на кухню, къ матери... Ея жирную спину, носъ, похожій на клювъ, круглые глаза. Она приводила съ собой маленькаго сына. Это былъ жуткій мальчикъ. У него были прозрачныя вѣки, синеватыя и тонкія, какъ папиросная бумага, и длинныя, прозрачныя уши. Это была голова нетопыря. Маня его боялась. Отъ нихъ всегда пахло чѣмъ-то острымъ и противнымъ. Еврейка была очень бѣдна и жила тѣмъ, что исполняла разныя порученія, закладывала и продавала вещи. «Ф-ф-фу!» съ отвращеніемъ вскрикивала мать, получая отъ нея пачку ассигнацій, и швыряла ихъ на комодъ. «Отворите фортку! Послѣ этой Познанской дышать нечѣмъ!»

Одинъ разъ еврейка поймала Маню на кухнѣ и горячо поцѣловала ея личико.—«Ф-ф-фу!» сердито, какъ мать, закричала дѣвочка и вытерла щеку. Прислуга засмѣялась, а еврейка заплакала.—Храни тебя Богъ, Маничка!—сказала она на жаргонѣ.—У меня была вотъ такая же внучка... Она умерла...

— А вонъ и Лысохоры показались!—радостно говоритъ Соня.

— Гдѣ? Гдѣ? Гдѣ?—кричитъ Маня. И готова вскочить на сидѣнье.

Они опять спустились съ горы. И въ лощинѣ, среди роскошной зелени, раскинулось село. За нимъ, вокругъ полувысохшаго огромнаго пруда, когда-то большой рѣки,—дремлютъ старыя дворянскія гнѣзда. Всѣмъ по двѣсти, полтораста лѣтъ. Яркій мѣсяцъ отражается въ потемнѣвшей водѣ. Какъ хлопья снѣга, бѣлѣютъ гуси среди аира. Цѣлый лѣсъ тростника подступилъ къ плотинѣ. Тянетъ сыростью. Съ двухъ сторонъ вода.

— Гребля,—говоритъ Соня.

«По греблѣ, неровной и тряской»... опять звучитъ въ душѣ Мани... О, какой воздухъ! Какая насторожившаяся, чуткая тишина!

А красивое лицо Вѣры Филипповны подернуто печалью. Всякій разъ, когда съ горы она смотритъ на этотъ обмелѣвшій прудъ, сердце ея сжимается. Шесть родовитыхъ имѣній лежало здѣсь тридцать лѣтъ назадъ. Псовая охота, званые обѣды, балы, свадьбы. Жили, не считая, не задумываясь... И теперь гдѣ все это? Точно съ грифельной доски шаловливая рука стерла всѣ начертанныя на ней имена. Кто умеръ... Кто покинулъ родные края. Кто покончилъ съ собой, не желая пережить разоренія... Грустно! Грустно... Старинныя усадьбы стоятъ пустыя. Парки заглохли. И хорошо еще, что не вырублены липовыя аллеи. Когда мужичье пріобрѣтаетъ имѣніе, вѣковыя липы гибнутъ подъ топоромъ. Штейнбахъ—все-таки культурный человѣкъ. Онъ щадитъ родовыя гнѣзда...

Точно угадывая мысли хозяйки, Петро оглядывается съ козелъ.

— На той недѣлѣ у Лизогубовъ лѣсъ купилъ Шенбокъ... За долги, стало-быть, ему отошло... Слыхали, Вѣра Хвилипповна?

— Уже?..

Да, это неизбѣжно. Вотъ и ея собственная земля, эти Лысохоры, гдѣ жилъ еще при Петрѣ казачій сотникъ, предокъ ея,—домъ, гдѣ она родилась и росла, все понемногу переходитъ въ цѣпкія руки. Какъ паутиной обволокъ грозный кредиторъ весь уѣздъ, и всѣ помѣщики работаютъ только на него... Жизнь дорожаетъ. А они не умѣютъ по одежкѣ протягивать ножки... Не думали они, что Сонѣ достанется такъ мало! Подъ старость тяжело мѣнять привычки... Хотя бы усадьбу-то уберечь среди этого общаго крушенія!

Навстрѣчу ѣдутъ телѣги, запряженныя волами. Везутъ сѣно. Какъ чудно пахнетъ! Хохлы въ высокихъ шапкахъ-гречневи-

кахъ, молодые и старые, почтительно кланяются, еще издали обнажая головы. Петро важно киваетъ имъ съ козелъ.

Когда уже совсѣмъ въ темнотѣ экипажъ въѣзжаетъ въ широкій дворъ усадьбы, и собаки кидаются навстрѣчу съ громкимъ лаемъ,—Маня по уши влюблена въ Малороссію!

---

Маня быстро освоилась съ праздной, шумной жизнью хлѣбосольныхъ помѣщиковъ. Она словно родилась въ дворянскомъ гнѣздѣ.

Тутъ еще живы легенды о свирѣпомъ магнатѣ,—дѣдушкѣ Вѣры Филипповны. Свою любовницу, похищенную у мелкопомѣстнаго сосѣда жену, онъ томилъ въ подземельѣ, въ глухомъ лѣсу. Манѣ показывали уцѣлѣвшіе еще остатки подземныхъ тюремъ, съ цѣпями и рѣшетками, для провинившейся дворни. Сто лѣтъ назадъ здѣсь шла такая разгульная, привольная и дикая жизнь, напоминавшая нравы нѣмецкихъ разбойниковъ-бароновъ!

Маня влюблена въ эти развалины, заросшія плющомъ, въ таинственные склепы, гдѣ спятъ предки хозяйки, такъ много грѣшившіе, такъ много любившіе... Влюблена въ этотъ густой, запущенный паркъ, переходящій незамѣтно въ лѣсъ. Сколько тамъ полуразвалившихся бесѣдокъ, мостиковъ, перекинутыхъ черезъ глохнущіе пруды, съ старыми, отживающими свой вѣкъ лебедями! Какая поэтичная лодка дремлетъ въ высокихъ камышахъ!.. Она влюблена въ старый домъ, двухъэтажный, деревянный, съ лабиринтомъ комнатъ, боскетными, диванными, курильными, дѣвичьими,—гдѣ широкая жизнь идетъ, какъ бы игнорируя отмѣну крѣпостного права и общее оскудѣніе... Она не устаетъ любоваться старой мебелью empire, которую никто въ домѣ, кромѣ дядюшки, не умѣетъ цѣнить, привыкнувъ къ ней съ дѣтства. Она восторгается столиками корельской березы съ инкрустаціей по угламъ, съ потайными ящичками, отъ которыхъ пахнетъ сушеными розами и тайной. Она находитъ тамъ нерѣдко записанный женской рукой, выцвѣтшими чернилами, рецептъ какого-то декокта...

Одинъ разъ подъ ея пытливымъ пальчикомъ нечаянно щелкнула невидимая пружина. Въ потайномъ ящичкѣ бѣлѣлъ листикъ бумаги. Мелкій, бисерный почеркъ... Стихи Ламартина... Знаменитые любовные стихи...

«O lac, l'année à peine a fini sa carrière...»

Маня задрожала. Она кинулась къ Сонѣ...

Онѣ читаютъ эти стихи. Онѣ съ трепетомъ держатъ въ рукахъ этотъ обрывокъ чужой тайны. Эту реликвію исчезнувшей души...

— Я возьму это себѣ на память,—говоритъ Маня съ влажными глазами.

А эти нѣжныя, какъ акварель, чашечки съ цвѣтами и золотымъ ободкомъ! Эти пастушки съ золочеными корзиночками, съ отбитыми ручками! Драгоцѣнный фарфоръ исчезнувшихъ фабрикъ, переходившій отъ поколѣнія къ поколѣнію... Кто ихъ любитъ? Кто ихъ цѣнитъ?.. Пыль покрываетъ прелестныя пудреныя головки и вѣнки изъ незабудокъ, на хрупкихъ блюдечкахъ...

Маня находитъ ихъ среди хлама. Она цѣлуетъ ихъ и уноситъ въ свою комнату.

---

Маня подружилась съ дядюшкой, братомъ Вѣры Филипповны. Въ сорокъ-пять лѣтъ онъ очень интересенъ.

У него бритыя щеки, модная острая бородка и прекрасные глаза. Онъ очень занятъ собой и не хочетъ стариться. У него былъ параличъ. И онъ ходитъ съ изящной тростью, слегка прихрамывая.

Его имѣніе—рядомъ—давно перешло къ Штейнбаху. И онъ живетъ у сестры, потихоньку проживая остатки капитала. Онъ очень друженъ съ сестрой. Съ зятемъ далекъ. Горленко—сынъ обѣднѣвшихъ мелкопомѣстныхъ дворянъ. Онъ всѣ дни проводитъ въ полѣ. Онъ, какъ и прислуга, зоветъ дядюшку съ ироніей: «Панычъ»...

Дядюшка жилъ въ Парижѣ, многое видѣлъ за границей. Чудные портреты Герцена и Гарибальди висятъ у него на стѣнѣ. У него прекрасная французская библіотека и цѣнныя гравюры. Особенно любитъ онъ Беклина. Маня смотритъ по вечерамъ альбомы и слушаетъ, вмѣстѣ съ Соней, лекціи дядюшки по искусству.

— Какія вы разныя!—говоритъ онъ дѣвочкамъ.

Соня слушаетъ сосредоточенно, опустивъ рѣсницы. Вникаетъ въ каждое слово. И, прежде чѣмъ принять его, словно разсматриваетъ. Маня слушаетъ глазами... О, какіе глазищи! Блестящіе, жадные... Ничего не пропустятъ... Все глотаютъ... И все имъ мало!

Дядюшка втайнѣ немножко влюбленъ въ эту живописно растрепанную головку, въ эти «глаза *Миньоны*»...

Маня тоже любитъ дядюшку. Любитъ его юморъ, его любовь къ природѣ, его утонченные вкусы, его изящную бѣдность и одиночество.

У него была романическая юность. Онъ любилъ какую-то замужнюю женщину и поэтому не женился. Это Соня тихонько разсказала Манѣ. Въ его пропитанной табакомъ и увѣшанной оружіемъ комнатѣ Маня украдкой любуется портретомъ этой дамы. Любуется головками Cléo de Merode, Линой Кавальери и Захареттъ. Особенно любитъ она трагическое лицо Клео. Изъ гравюръ она больше всего цѣнитъ *Лѣсную тишь* Беклина и *Дачу на морѣ*.

Болѣзнь лишила дядюшку наслажденія охотиться съ борзыми. Но онъ и сейчасъ страстный охотникъ и лучшій въ губерніи стрѣлокъ. Къ обѣду онъ всегда переодѣвается. И морщится, если Горленко входитъ въ столовую въ пыльныхъ сапогахъ.

Маня обожаетъ верховую ѣзду. Гнѣдко такая прелестная, капризная лошадь! Маня въ сѣдлѣ сидитъ такъ, словно родилась амазонкой. Соня боится горячихъ лошадей.

Дядюшка—дилетантъ въ музыкѣ и живописи. Но талантливый дилетантъ. Онъ сдѣлалъ эскизъ Мани на лошади, а теперь пишетъ ея портретъ красками.

— У нея лучше всего краски,—объясняетъ онъ сестрѣ.— Брови и рѣсницы черныя, а волосы каштановые и точно золотой пудрой посыпаны. И удивительный цвѣтъ лица! А замѣтила ты, какъ у нея блестятъ глаза? Настоящія звѣзды...

— Мы, кажется, увлекаемся?—смѣется Вѣра Филипповна. Ей немножко обидно за Соню. Типичная хохлушка, съ круглымъ личикомъ и бровями снурочкомъ, она тушуется передъ своей яркой подругой.

Самъ Горленко—высокій, тучный, съ краснымъ, всегда озабоченнымъ и сердитымъ лицомъ. Любитъ выпить, любитъ повинтить. Страстный охотникъ, но стрѣляетъ хуже дядюшки (темпераментъ мѣшаетъ), и завидуетъ его выдержкѣ. Онъ обожаетъ дочь, но отъ долгой жизни въ провинціи онъ опустился и огрубѣлъ. Вѣра Филипповна часто краснѣетъ за него при постороннихъ. Дядюшка брезгливо морщится на его mots...

---

По вечерамъ, собирая на ужинъ огурцы, горничная Мелашка громко поетъ на огородѣ.

— Это она на болотѣ попелюхи боится,—смѣется дядюш-

ка.—Огороды рядомъ съ болотомъ. Вотъ она для храбрости и распѣваетъ.

Маня крадется вечеромъ на болото. Съ крутого берега свѣсились вѣковыя вербы. Болото тянется на версты. Днемъ ярко-зеленое, какъ плюшъ, оно ласкаетъ глазъ. Ночью родитъ больные туманы.

Прислонясь головкой къ стволу вербы, Маня глядитъ на этотъ клубящійся, какой-то синеватый туманъ... Тамъ таинственная попелюха. Она ждетъ полуночи, чтобъ родиться... Ахъ, если бы однимъ глазкомъ увидать, какъ зашевелится она внизу!

Она досиживаетъ до темноты. Нервы ея такъ взвинчены, когда она спѣшитъ домой, къ ужину, что крикъ совы въ дуплистой липѣ доводитъ ее чуть не до обморока...

Но она счастлива...

По вечерамъ она часто говоритъ съ Петро. Тотъ на своемъ вѣку всего видалъ... И русалку на греблѣ, и вѣдьму за клуней. И чортъ одинъ разъ чуть не утопилъ его на плотинѣ. Затащилъ въ болото... Да спасибо, что вспомнилъ... Перекрестился. А то не быть бы ему въ живыхъ!

— А чортъ—какъ захохочетъ! И пропалъ... А я ужъ на хреблѣ стою...

— Да вы пьяны, небось, были?—смѣется дядюшка.

Маня грозитъ ему кулачкомъ. «Противный дядюшка!..»

— Дѣйствительно, Хведоръ Хвилиппычъ... У мэнэ въ головѣ дуже шумѣло. Но пьянъ я не былъ. Ни!.. Хорошо я догадался, перекрестился вотъ такъ... Какъ онъ захохочетъ! И пропалъ... А я ужъ на хреблѣ стою...

Онъ разъ десять разсказываетъ объ этомъ.

И все въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ...

По греблѣ, да мимо кладбища онъ никогда ночью не пойдетъ... Потому—нечисто...

Но Маня вѣритъ во все: и въ вѣдьму, и въ чорта, и въ русалку... Для нея не умерли боги.

Любитъ она и пѣніе дивчатъ на селѣ, въ праздники. Только мало пѣвуній осталось. Многія ушли въ Крымъ, на заработки. А парубки ходятъ угрюмые... Все собираются кучками. О чемъ-то шепчутся...

---

— Поздравляю!—за обѣдомъ говоритъ Горленко.—Нынче на базарѣ прохламаціи объявились.

— Что такое?—вскрикиваетъ хозяйка.

— Возмутительныя воззванія. И такъ запросто расклеены на стѣнахъ!.. Ну, конечно, хлопцы собираются, читаютъ... Гомонятъ...

— Боже мой!.. А кто же это сдѣлалъ?

— А я почемъ знаю?—сердито кричитъ Горленко, протягивая тарелку за второй порціей борща.—Кому выгодно, тотъ и мутитъ. Кому терять нечего, тотъ надѣется выиграть...

— Эге! Ужъ не я ли?—шепчетъ дядюшка, подмигивая дѣвочкамъ.—Мнѣ тоже терять нечего...

Вѣра Филипповна вспоминаетъ о барышняхъ и заминаетъ разговоръ.

Черезъ недѣлю хозяинъ, который теперь только за столомъ видитъ семью, говоритъ, какъ всегда сердито:

— Нашли!.. Двухъ нынче взяли... Розу Лейбову и Зяму...

— Сына Мовши-сапожника???

— Ну, да...

— Такихъ дѣтей?!—удивляется дядюшка.

— Хороши дѣти! Онъ—студентъ, она—курсистка...

— Жиды проклятые!.. Такъ я и знала, что это они мутятъ!

— Скажи, слава Богу, что не хохлы!—обрываетъ ее мужъ.—Пока жиды на плетняхъ о «швободѣ» пишутъ, жить еще можно...

— Эге!—подмигиваетъ дядюшка. И дѣвочки не могутъ понять, раздѣляетъ ли онъ увѣренность хозяина, или смѣется надъ нею.

Соня потрясена. Съ дѣтства знала она этихъ бѣдныхъ еврейскихъ дѣтей... грязныхъ, оборванныхъ, некрасивыхъ. Ее учили брезгливо сторониться отъ нихъ. Зяма былъ золъ, какъ чертенокъ, и всегда бросалъ въ Соню камнями изъ-за плетня. Одинъ разъ чуть не пробилъ ей голову. Но она никому не жаловалась.

Роза была жалкая рыжая дѣвочка, съ веснушчатымъ лицомъ и больными глазами. «Рожа... Рожа!» бывало зоветъ ее мать. «Гдѣ ты, Рожа?»

У Сони голова пылаетъ отъ стараній втиснуть эти образы въ новую, такую фантастическую обстановку. Арестъ... воззванія... дерзость... тюрьма... И вдругъ веснушчатая Роза и маленькій злой уродецъ!.. Да какъ же это вдругъ такъ? Откуда у нихъ это?.. Ахъ, если-бъ здѣсь была Лина!.. Спросить не у кого. Да и нельзя... Не полагается барышнямъ объ этомъ говорить...

Соня думаетъ объ этомъ цѣлую недѣлю. Она разстроена...

---

Теперь мирный сонъ сельской жизни нарушенъ... За обѣдомъ обсуждаютъ событія, переставъ стѣсняться «дѣтей»... Газеты получаются здѣсь три раза въ недѣлю, и ихъ читаютъ отъ доски до доски. Но войной уже не интересуются.

И когда сосѣди вечерами съѣзжаются на винтъ, за ужиномъ всѣ взволнованно говорятъ о мѣстныхъ дѣлахъ.

По селамъ идутъ обыски и аресты. Но не успѣетъ становой покинуть село, какъ на плетняхъ утромъ уже бѣлѣютъ прокламаціи. Урядникъ срываетъ ихъ. Онѣ черезъ день появляются опять... А толпа, молчаливая, флегматичная, стоитъ у плетней. Грамотные читаютъ вслухъ, а подростки озираются. И при первой тревогѣ толпа таетъ, чтобъ собраться вновь...

Всюду броженіе. Оно поднимается незамѣтно, какъ вода въ наводненіе. Но все поднимается...

Маня въ отчаяніи! Стражники рыщутъ по селу и запретили пѣть пѣсни. Мелашка сидитъ дома...

---

Всей семьей Горленко въ экипажахъ возвращаются вечеромъ съ поля, со жнитва.

Внизу, въ лощинѣ, идетъ скотъ.

— Глядите!.. Глядите! Что они дѣлаютъ! Какіе смѣшные!— кричитъ Маня, дергая дядюшку за рукавъ.

— Oh sancta simplicitas! — смѣется дядюшка. — C'est trop fort, ça!..

Вѣра Филипповна вспыхиваетъ до бѣлка глазъ. Соня молчитъ и смотритъ въ сторону. Ея губы стиснуты. На лбу, между бровей снурочками, залегла тонкая морщинка.

— Ахъ, какіе они смѣшные!—кричитъ Маня, задыхаясь отъ смѣха.

Ударъ пастушьяго бича прекращаетъ эту идиллію.

— Не оглядывайся! Довольно!—обрываетъ рѣзко Вѣра Филипповна.—Ты ведешь себя неприлично!

Изумленно и сконфуженно глядятъ на нее глаза Миньоны. «О, Господи! Бываютъ же такія дуры!..»

— Я не знаю, на что ты сердишься, жинка!—оборачиваясь съ козелъ, ядовито замѣчаетъ Горленко женѣ.—Ты бы должна радоваться, съ твоими-то взглядами на воспитаніе... Ловко консервировали дивчину! Какъ сардинку...

— Вѣра недовольна пастухомъ,—улыбается дядюшка.

Въ спальнѣ вечеромъ, послѣ долгаго колебанія, Соня говоритъ подругѣ:

— Маня... Принято не замѣчать того, что ты нынче видѣла въ полѣ... И не говорить объ этомъ... Мнѣ было очень досадно, что ты смѣялась... Знаешь, что это было?

— Нѣтъ...—Глаза Мани широко открыты.

— Это любовь животныхъ...

— Лю-бовь??!

Соня спокойно объясняетъ то, что неизвѣстно дѣтямъ города. Она же съ дѣтства любитъ животныхъ. И проводила цѣлые часы на скотномъ дворѣ. Для нея давно нѣтъ тайны... Ей ни смѣшно ни противно. Скотница сама хлопочетъ о томъ, чтобъ встрѣтились пары. Отъ этого родятся прелестные телята или жеребята. Такіе безпомощные, невинные, съ кроткими глазами... И всѣ этого ждутъ. И всѣ говорятъ объ этомъ, не стѣсняясь, когда коровѣ или лошади надо родить. Все это такъ просто!.. «И только мама воображаетъ, что я объ этомъ не знаю ничего»...

Послѣ долгой задумчивости Соня говоритъ, какъ бы думая вслухъ:

— Животныя счастливѣе людей... У насъ была горничная Оксана... Красивая, такъ чудно пѣла!.. И дядюшка любилъ ее...

— Какъ любилъ? Что ты говоришь? Какъ могъ онъ ее любить?.. А дама на портретѣ?

— Ахъ, это другое... То было давно... Ну, словомъ, у Оксаны долженъ былъ родиться ребенокъ. И ее прогнали... Ахъ, какъ сердилась мама! Какъ она плакала, эта бѣдняжка!.. Теперь она живетъ у Лизогубовъ и все еще... любитъ дядюшку... И бываетъ у него въ гостяхъ... Но мама до сихъ поръ ее на глаза не пускаетъ.

Маня вдругъ блѣднѣетъ. Изъ огромныхъ глазъ глядитъ потревоженная, пробуждающаяся душа.

— Такъ ты думаешь... Постой!.. Ничего не понимаю... Ты думаешь, значитъ, что и люди... что любовь...

Соня краснѣетъ и отворачивается.

— Не знаю, право... Можетъ-быть, да...

— Молчи! Молчи! — бѣшено кричитъ Маня. — Нѣтъ!.. Нѣтъ!.. Этого не можетъ быть!.. Не должно быть!..

— Перестань!.. Маня! О чемъ ты плачешь?

— Ахъ, зачѣмъ ты мнѣ сказала? Зачѣмъ ты разбила мои грезы? О, какое отвращеніе!.. Я не хочу теперь любить!.. Я не хочу жить!.. Я не могу видѣть дядюшку!..

— Маня... Прости меня! Маня...

— Нѣтъ!.. Я не вѣрю тебѣ!.. Мы не животныя... Мы люди... Этого не можетъ быть!.. Слышишь ты?.. *Этого не должно быть!*

---

Каждый вечеръ Соня и Маня ходятъ на леваду любоваться солнечнымъ закатомъ. До безумія любитъ Маня этотъ часъ, когда пылаютъ краски... Потомъ гаснутъ, словно огонь подъ пепломъ... И быстро, безъ сумерекъ, падаетъ южная ночь.

Такая дивная тишина стоитъ въ степи!.. Только гогочутъ гуси, которыхъ гонитъ крохотная дѣвочка. Скрипучіе, металлическіе, словно желѣзные звуки...

Дурманъ—бѣлый, яркій—встаетъ по дорогѣ изъ полумрака. Маня любитъ его запахъ, ядовитый и сладкій...

А какъ пахнетъ конопля въ эти часы!.. Цѣлый лѣсъ ея стоитъ на краю поля. Высокая, растрепанная, она похожа на русалку...

---

Въ свѣтлыхъ платьяхъ, съ вѣнками изъ васильковъ, съ распущенными косами, онѣ сидятъ на пригоркѣ.

Солнце садится. Зловѣщая сизая марь поглощаетъ его лучи. Овальное, какъ яйцо, алое и огромное, оно опускается за тучу. Вонъ оно уперлось краемъ въ землю... Словно сѣло... Какое смѣшное!

Кругомъ тишина. Только-что прошло стадо. И туча пыли еще стоитъ въ неподвижномъ воздухѣ.

Вдругъ топотъ лошади доносится издали. Кто-то ѣдетъ по дорогѣ. На горизонтѣ, противъ солнца, силуэтъ всадника кажется гигантскимъ.

— Кто это такое?—недоумѣваетъ Соня.

Всадникъ приближается. На немъ сѣрая парусиновая блуза, краги и странный головной уборъ, похожій на шлемъ греческихъ воиновъ. Лошадь породистая, англійская... Поровнявшись съ холмомъ, всадникъ снимаетъ шлемъ и гордо склоняется предъ дѣвушками.

Крикъ вырывается изъ груди Мани. О, какой потрясающій, безумный крикъ ужаса и восторга!

Она узнаетъ гордый профиль, прекрасный лобъ, неумолимый взглядъ...

Она вскочила... Безумное сердце рвется вслѣдъ за видѣніемъ ея ночей. Она схватилась за грудь руками...

Всадникъ скрылся. Въ пыли, поднявшейся по дорогѣ, долго слышенъ топотъ лошади...

— Какой интересный!.. Кто бы это могъ быть? Маничка... Ты никакъ плачешь? Маничка... Что съ тобой?

Упавъ на сухой пригорокъ лицомъ внизъ, Маня рыдаетъ...

Восторгъ? Отчаяніе?.. Что сильнѣе въ этотъ памятный мигъ въ раскрывающейся душѣ женщины?

Эти слезы—первая весенняя буря. Она ломитъ ледъ, гонитъ снѣгъ... И зоветъ къ солнцу и жизни незримо дремлющіе въ землѣ ростки...

## VII.

Въ гимназіи, въ нижнемъ этажѣ дома, есть круглая, большая комната, вся въ широкихъ окнахъ, похожая на бесѣдку. Тамъ стоятъ рояль и два стула. Больше ничего.

Профессоръ Вольфъ даетъ здѣсь уроки музыки, а въ свободные часы здѣсь играютъ піанистки. Въ окна виденъ садъ, остатки заглохшаго цвѣтника, занесеннаго снѣгомъ... Виденъ закатъ. Это любимая комната Мани.

Она сидитъ на подоконникѣ, поднявъ глаза къ послѣднимъ лучамъ. На ея смугломъ лицѣ, румяномъ и пушистомъ, какъ абрикосъ, играютъ алые блики... Манѣ шестнадцать лѣтъ. Но все такъ же непокорно вьются спереди и у висковъ волосы. Профиль неправиленъ, и ротъ съ яркими губами немного великъ. Капризной, неровной линіей раскинулись темныя брови. Одна выше другой. Но темные глаза сверкаютъ и искрятся. И только ихъ и видишь въ этомъ оригинальномъ лицѣ.

Прислонясь къ косяку окна, стоитъ другая дѣвушка. Она—худая и черная, съ жгучими глазами и изможденнымъ лицомъ.

— Маня, я люблю тебя,—говоритъ она глухо, со страстью взрослаго.—Пожалѣй меня!.. Поцѣлуй меня!.. Я такъ давно молю тебя объ этомъ...

— Оставь!.. Не люблю цѣловаться... Ты знаешь...

Черненькая дѣвушка начинаетъ страстно рыдать и осыпаетъ Маню укорами.

Та молчитъ, пока не погасаетъ въ небѣ послѣдній лучъ. Тогда она закрываетъ глаза, чтобъ удержать отраженіе огненнаго диска, свѣтящаго ей еще во мракѣ... Потомъ, словно вспомнивъ о чемъ-то докучномъ, оборачивается къ рыдающей дѣвушкѣ.

— Я не понимаю тебя... Если ты любишь, это счастье... И если я дала тебѣ это счастье, ты не должна меня проклинать... Но я тебя не люблю... Не плачь!.. Я никого не люблю... Видѣла ты когда-нибудь, чтобъ я бѣгала за студентами? Чтобъ я

обожала учителей?.. Почему же ты хочешь, чтобъ я любила именно тебя? Развѣ ты не такая же, какъ и всѣ?

— Соня Горленко не умѣетъ любить, а ты съ нею дружна!— ревниво вскрикиваетъ брюнетка.

— Соня не мучитъ меня поцѣлуями и ревностью, какъ ты. А я ненавижу, когда меня ревнуютъ... Какое у тебя право надо мною?

— Моя любовь!..

Маня презрительно смѣется.

— Не должна ли я тебя благодарить за любовь?.. Развѣ я ее просила?.. Развѣ я не жила безъ нея всѣ эти годы?.. Уйди!.. Если ты не умѣешь любить меня издали, какъ другіе,—уйди!

— Я не переживу... Я умру!—съ истерической жестикуляціей говоритъ брюнетка.

— Ну, и умирай!..

Брови Мани въ капризномъ изломѣ поднимаются надъ сверкающими глазами. Она отвертывается и опять смотритъ въ окно.

И, не успѣваетъ захлопнуться дверь, какъ міръ знакомыхъ, знойныхъ ощущеній обступаетъ ее. И на фонѣ блѣдно-зеленаго неба она видитъ прекрасную голову съ гордымъ профилемъ... Всадникъ ѣдетъ по дорогѣ... Онъ скрывается, какъ сонъ...

Но она встрѣтитъ его опять!.. Она его встрѣтитъ!

Въ ту же ночь, когда въ дортуарѣ крѣпко спятъ интернатки на своихъ жесткихъ постеляхъ, раздѣленныхъ шкафчиками,—черненькая, худая дѣвушка, съ изможденнымъ лицомъ и пламенными глазами, крадется въ одной рубашкѣ къ тому углу, гдѣ спитъ Маня...

О, какъ бьется сердце! Беззвучно опускается она на колѣни... Послѣ долгой борьбы съ собой, съ сдавленнымъ стономъ страсти она приникаетъ къ алымъ губамъ полуоткрытаго рта...

Все лицо Мани озаряется восторгомъ. Руки ея страстно обвиваются вокругъ худенькой шеи. Она цѣлуетъ подругу, не открывая глазъ... Вся во власти знойныхъ грезъ...

— О, какой рай!—лепечетъ черненькая дѣвушка. И, обезсиленная, садится на полу. Она закрываетъ лицо руками, какъ будто ее ослѣпила молнія.

Тогда Маня просыпается... Поднявшись на подушкахъ, дрожа отъ отвращенія, глядитъ она на склонившуюся дѣвушку, не слыша ея лепета, ея слезъ... Печаль и оскробленіе глядятъ изъ ея глазъ...

Ласка, предназначавшаяся грезѣ ея жизни, досталась жалкой дѣвушкѣ... обокравшей ее во снѣ...

---

Онѣ уже все прочли потихоньку: Золя, Прево, Лоти, Кнута Гамсуна, Пшибышевскаго... Особенно сильное впечатлѣніе вызываетъ *Homo Sapiens* и *Панъ*... Завѣсы сорваны... Тайны нѣтъ... По крайней мѣрѣ въ теоріи... У кого есть замужнія сестры, какъ у Лины Ѳедоровой, для тѣхъ уже все просто... И онѣ съ отвращеніемъ говорятъ о томъ, какъ мало поэзіи въ бракѣ! Какъ скучаютъ замужемъ ихъ сестры! Какъ съ первымъ ребенкомъ замыкается для женщины горизонтъ...

— Я никогда не выйду замужъ!—говоритъ Маня.—Какая гадость всѣ эти отношенія! Особенно если разлюбишь... Нѣтъ, я даже и представить себѣ этого не могу! Родить дѣтей... Одного... пятерыхъ... Нѣтъ! Я пойду на сцену... Я такъ разочаровалась въ любви, что не влюблюсь уже никогда!

Ее преслѣдуетъ, особенно ночами, во снѣ, буколическая картинка въ лощинѣ. Эта отвратительная тайна природы, которую она подглядѣла... Ахъ! Смѣшно называть это тайной, когда все совершается такъ откровенно, такъ безстыдно!.. Но она постоянно видитъ эти образы. И просыпается съ бьющимся сердцемъ... Вся горячая и измученная...

Часто она плачетъ безъ причины. И говоритъ, что ей не хочется жить... Она слишкомъ разочарована.

Соня тоже рѣшила игнорировать мужчинъ. Она мечтаетъ о курсахъ. Она сердится на Маню за ея мечты... Быть на сценѣ, да еще танцовщицей? Позоръ! Кто ихъ уважаетъ? Кто ихъ смотритъ? Старички да офицеры?.. Неужели жизнь стоитъ отдать на это?

Она за Маню рѣшаетъ, что надо итти на курсы.

Но Маня загадочно отмалчивается.

---

Учитель словесности даетъ тему на сочиненіе: картинка классической жизни.

Сочиненіе Мани занимаетъ ровно три страницы.

«Залитая солнцемъ площадь греческаго города... Стройныя колонны бѣлоснѣжнаго храма. Ряды мраморныхъ статуй. Каждая изъ нихъ—безсмертное твореніе уже скончавшагося геніальнаго скульптора. Государство цѣнитъ ихъ, какъ лучшія сокровища страны.

«И вотъ однажды, спасаясь отъ преслѣдованія бѣшенаго быка, красавецъ-пастухъ прибѣжалъ съ луговъ, окружающихъ храмъ, на эту площадь. И нечаянно толкнулъ одну изъ безсмертныхъ статуй... Она упала съ пьедестала и разбилась на тысячу кусковъ. Но юноша выигралъ мгновеніе. Однимъ ударомъ ножа онъ покончилъ съ свирѣпымъ животнымъ... Вотъ стоитъ онъ, блѣдный и прекрасный, еще дрожа отъ борьбы и сознанія близкой смерти. Но улыбка скользитъ по его лицу. И глаза тонутъ въ синемъ небѣ. Онъ еще живъ... Это небо, это море, эта золотистая даль, эти поля и радость жизни—все это его!.. Онъ спасенъ...

«А снизу, изъ города, и изъ храма, рядомъ, уже бѣгутъ толпы народа. И жрецы съ развѣвающимися волосами, потрясая жезлами, спѣшатъ на площадь. Вопль ужаса и гнѣва вырывается изъ тысячи устъ. О, неслыханное кощунство!.. Рядомъ съ трупомъ животнаго, на землѣ, бѣлѣютъ останки безсмертнаго бога. И сохранившаяся чудомъ мраморная голова лежитъ у подножія, обративъ къ небу незрячія очи... «Смерть!.. Смерть ему!..» несется разъяренный вопль... «Онъ оскорбилъ божество...»

«Преступника хватаютъ, чтобъ вести на казнь... Тщетно старая мать и юная невѣста въ прахѣ ползаютъ у ногъ жреца, обнимая его колѣни. Тщетно юный философъ, любимецъ народа, требуетъ слова и вниманія у волнующейся черни... «Граждане, взгляните на него!—кричитъ онъ.—Развѣ онъ менѣе прекрасенъ, чѣмъ этотъ мраморный богъ? Развѣ онъ не имѣетъ права на любовь и на счастье?.. Онъ совершилъ свое преступленіе невольно. Онъ спасалъ самое цѣнное, что есть у насъ: *жизнь*!.. Не отнимайте же у него этого сокровища! Взгляните, какъ онъ блѣденъ! Какъ блуждаютъ его глаза, прощаясь съ міромъ! Онъ не хочетъ повѣрить въ вашу жестокость... Въ каждой жилкѣ его бьется горячая кровь... А вы хотите пролить ее за разбитый камень!..»

«Ропотъ толпы прерываетъ эту кощунственную рѣчь.

«Главный жрецъ подходитъ и кладетъ руку на плечо философа. И толпа стихаетъ мгновенно.

«— Твой умъ блуждаетъ, какъ его взоры, о Деметріусъ!»—говоритъ жрецъ.—«А надо глядѣть ввысь, чтобы видѣть небо и начертанную тамъ непреложную истину... Боги изъ тысячи смертныхъ выбираютъ одного при рожденіи. И кладутъ въ его колыбель божественный даръ творчества. Боги водятъ рѣзцомъ скульптора и даютъ ему силу показать намъ—людямъ—въ мра-

морѣ черты божества. Пусть умретъ великій художникъ! Его твореніе безсмертно. Оно переживетъ всѣхъ насъ. И въ далекіе вѣка будетъ говорить своимъ каменнымъ языкомъ о могуществѣ Эллады, о славѣ скульптора, о безсмертіи Красоты. И милліоны людей будутъ приходить на поклоненіе этому мрамору. И каждый кусокъ его будетъ цѣннѣе золота и слоновой кости... Кому нужна темная жизнь безвѣстнаго пастуха, о Деметріусъ!.. И если каждый изъ насъ, спасая свою жизнь, будетъ бить и топтать во прахѣ божественный мраморъ, что останется далекому потомству отъ славы Эллады? Не лишимъ ли мы бѣдное человѣчество высочайшаго утѣшенія, даннаго намъ богами,—созерцанія безсмертной Красоты?»

«Онъ смолкъ... Молчитъ толпа, благоговѣйно и угрюмо. Молчатъ мать и невѣста преступника, лежащія во прахѣ. И низко склонился передъ бѣлой одеждой жреца побѣжденный философъ.

«И по данному знаку преступника ведутъ на смерть.

«Онъ идетъ, опустивъ на грудь прекрасную голову. Не думая уже, что это небо и море принадлежатъ ему... Онъ знаетъ теперь, за что онъ умираетъ. И въ застывшей душѣ его уже не бьется вопль возмущенія... Боги безсмертны. Человѣкъ ничтоженъ... Горе тому, кто оскорбилъ Красоту!»

— Господа!—говоритъ учитель, изъ груды тетрадокъ вытаскивая полъ-листа, исписаннаго невозможнымъ почеркомъ, въ кляксахъ и даже съ ошибками.—Господа! Я прочту вамъ вслухъ одну вещицу, поразившую меня... Прошу угадать, кто написалъ ее, а потомъ предлагаю диспутъ. Потому что важенъ и споренъ вопросъ, легшій въ основу разсказа.

И среди напряженной тишины Маня вдругъ слышитъ первыя строки своей «картинки»...

Закусивъ губы, то блѣднѣя, то краснѣя, она долго не поднимаетъ рѣсницъ. Потомъ искоса слѣдитъ за лицами подругъ. Между бровями Сони появляется складка... Какъ мѣняетъ и старитъ она это хорошенькое личико блондинки! Она встаетъ.

— Это писала Маня Ельцова,—рѣзко говоритъ она.—Позвольте мнѣ высказаться первой!

И страстно, краснорѣчиво она начинаетъ возражать противъ жестокой, безчеловѣчной теоріи, что искусство выше жизни и мраморъ цѣннѣе человѣка...

... Философъ былъ правъ. Человѣческая жизнь должна чтиться, какъ сокровище. Безнравственны войны, уносящія эти

жизни во имя призрачныхъ цѣлей. Безнравственны артисты, въ храмѣ искусства остающіеся глухими къ воплямъ человѣка. Безнравственно это искусство, замыкающее для насъ горизонты, отнимающее наши лучшія силы, энергію, соки нашей души, чтобы оросить безплодную пустыню... ненасытную бездну тщеславія...

«Ба! Вліяніе Толстого?...» спрашиваютъ улыбающіеся глаза учителя.

— Нѣтъ въ мірѣ ничего выше человѣка!—дрожащимъ голосомъ, съ истиннымъ вдохновеніемъ кончаетъ Соня.—И нѣтъ цѣли выше, какъ расчищать этому страдающему человѣку новыя тропинки къ счастью... Если старыя уже заросли...

Учитель встрепенулся. Онъ въ первый разъ, казалось, видитъ передъ собой это кругленькое личико хохлушки, съ бровями снурочкомъ и большими сѣрыми глазами... Откуда проникаютъ эти вѣянія въ юныя души?

Когда Соня садится, ея лицо пылаетъ. Кажется, что она ненавидитъ Маню. Она чувствуетъ за собой симпатіи всего класса.

— Что вы можете на это возразить, госпожа Ельцова?—съ тонкой улыбкой спрашиваетъ учитель.

Маня спокойно стоитъ передъ нимъ. Она качаетъ вьющейся головкой.

— Мой отвѣтъ въ томъ, что я написала. Мнѣ уже нечего сказать...

Гулъ поднимается въ классѣ по уходѣ учителя. Всѣ повскакали съ мѣстъ и кинулись къ Сонѣ. Маня въ сторонѣ одна.

«Это ничего», говоритъ ея улыбающееся лицо. «Я люблю оставаться при особомъ мнѣніи...»

— Вотъ вамъ уже два сложившіяся, совершенно опредѣленныя міросозерцанія,—говоритъ учитель словесности въ курилкѣ.

— Да, нѣтъ больше дѣтей!—сокрушенно вздыхаетъ математикъ.

— И слава Богу, что нѣтъ!—пылко подхватываетъ молодой законоучитель, съ острымъ, блѣднымъ лицомъ и пронзительными сѣрыми глазами.

— А все-таки... тово... направленіе этой Горленко...

Но законоучитель перебиваетъ, взмахнувъ руками шикарной рясы:

— Самое прекрасное направленіе! Что вы можете возразить противъ любви къ людямъ? Что она Толстого читала? Пусть

читаетъ!.. Я за то, чтобы все читали! Къ чистому грязное не пристанетъ. А молодая душа сама разберется, что̀ надо ей выбрать у нашего великаго художника... Горленко, на селѣ у себя, каждаго ребенка по имени знаетъ. Мечтаетъ въ земствѣ докторомъ быть...

— А вы откуда знаете?—подхватываетъ инспекторъ.

Законоучитель краснѣетъ и затягивается папиросой.

— Я ея духовникъ. А потомъ у меня племянница рядомъ, въ селѣ, учительницей служитъ. Я самъ изъ хохловъ...

— Опасны теперь эти увлекающіеся,—неодобрительно замѣчаетъ учитель исторіи.—Боюсь я за Горленко... Вотъ съ такими, какъ Ельцова, спокойнѣе. Искусство—прекрасный громоотводъ...

Сѣрые глаза священника вспыхиваютъ. Но онъ сдерживается... Его острый взглядъ словно насквозь прокалываетъ желтыя, обрюзгшія лица «стариковъ». Онъ тушитъ папиросу съ какимъ-то ожесточеніемъ. И, взмахнувъ короткими волосами, идетъ къ двери.

Тревожно и зорко слѣдятъ за нимъ горячіе глаза инспектора.

«И откуда они взялись... Такіе?..» думаетъ онъ, нервно дергая сѣдые бачки.

## VIII.

Боже мой! Какой скандалъ!

Маню хотятъ исключить... Фаворитка начальницы—нянька Марья—нашла альбомъ съ карикатурами на учителей и начальство. Рисунки такъ талантливы, что нельзя не узнать лица. И трудно удержаться отъ смѣха.

На педагогическомъ совѣтѣ альбомъ переходитъ изъ рукъ въ руки. И всѣ кусаютъ губы, качая головами. Начальница нюхаетъ соли. Она такъ возмущена, что инспекторъ безсиленъ отстоять свою любимицу. И только въ виду того, что Манѣ остался одинъ годъ ученія, ее не исключаютъ. Но аттестатъ у нея будетъ испорченъ. Изъ поведенія вмѣсто 12-ти у нея будетъ 10, вмѣсто *отлично* роковое *хорошо*... И педагогическая дѣятельность будетъ закрыта передъ нею. Ни учительницей въ пансіонъ, ни классной дамой ее не примутъ.

Анна Сергѣевна горько плачетъ...

«Какіе у нея убогіе идеалы!» думаетъ Маня.

— Аничка, полно!—говоритъ она сестрѣ.—Развѣ я когда-

нибудь мечтала быть классной дамой? Ха!.. Ха!.. На что мнѣ эта бумажка? Я и безъ нея завоюю жизнь...

Если бы не слезы Ани, которую она любитъ и жалѣетъ, вся эта исторія была бы только смѣшна.

Но Петя молчитъ. Ни слова упрека... Ахъ, какой интересный, какой чудный этотъ Петя!.. И его она любитъ глубоко. Гораздо сильнѣе, чѣмъ Аню. Такихъ, какъ Аня, много...

---

Что это за дни! Праведный Боже!.. Фрау Кеслеръ хватается за голову.

Она нашла подъ матрацемъ у Сони брошюру *Красное Знамя*. И прочла ее. Хорошо еще, что Марья не добралась до нея! Ахъ, эта Марья!..

— Соня,—строго говоритъ она.—Я знаю, ты мнѣ не скажешь, откуда у тебя эта книга. И я тебя не буду допрашивать. Но я требую, чтобы ты въ интернатѣ такихъ книгъ не держала! Ты читала ее одна?

— Съ Маней...

— Mein Gott!.. Знаешь ли ты, что грозитъ вамъ, если это узнаетъ начальство? Васъ исключатъ... Но этого мало... Вы обѣ потеряете право на дальнѣйшее образованіе...

Соня молчитъ, опустивъ голову. Но въ линіяхъ ея нѣжнаго рта залегло такое упорство, что фрау Кеслеръ понимаетъ всю тщету своихъ увѣщаній.

Каждый свободный вечеръ Соня съ Маней бѣгутъ къ Линѣ Ѳедоровой.

Лина кончила гимназію. Лѣто провела въ Швейцаріи и теперь на высшихъ курсахъ. Братъ ея, его товарищи-студенты и курсистки собираются въ красивой квартирѣ Лины. Они читаютъ, спорятъ... Много жестовъ, озлобленія, криковъ...

Дѣвочки притаились въ уголкѣ. Онѣ не все понимаютъ. Разспрашивать стѣсняются. Но Соня слушаетъ всей душой. Маня скоро утомляется и зѣваетъ. И чтобъ не заснуть, потихоньку чертитъ силуэты, изучаетъ линіи головъ и профилей, набрасываетъ карикатуры...

«Какъ мало красивыхъ лицъ!..»

---

— Милыя дѣвочки, я разсчитываю на васъ,—говоритъ Лина, пристально и тревожно изучая ихъ лица.—Когда будетъ смеркаться, возьмите вотъ эти пачки и отнесите ихъ по адресу...

Васъ никто не остановитъ... Вы ничѣмъ не рискуете... Но, ради Бога, будьте осторожнѣе!

— О-о!.. Какъ тяжело!—смѣется Маня.

— Ничего, донесемъ... Авось не развалимся!—обрываетъ Соня.—Лина, милая!..

Соня кидается на шею подруги. Ея сердце трепещетъ отъ гордости...

О, какъ хорошо итти, дѣлая невинное лицо, и весело смѣяться всякому вздору! Какъ замираетъ сердце при каждомъ пристальномъ взглядѣ встрѣчнаго!.. Какъ очаровательно пройти мимо городового и чуть не толкнуть его въ грудь!.. Маня хохочетъ, какъ сумасшедшая.

— Дура!—говоритъ ей Соня.—Ну, не дура ли ты?.. И охота Линѣ такимъ идіоткамъ давать серьезныя порученія!

---

Онѣ идутъ опять уже по другому адресу. Соня въ тальмѣ, которую нарочно купила. Она чуть не падаетъ подъ тяжестью груза. Маня въ своей старой кофточкѣ. Но теперь у нея такой бюстъ и бока, что всѣ на нее оглядываются.

— Пышечка!—восторженно говоритъ сѣдой господинъ и жадно озираетъ ея станъ.

Маня хохочетъ. Соня дѣлаетъ страшные глаза.

— Перестань! Онъ придерется... Какъ мы отъ него отвяжемся? Развѣ намъ можно такъ рисковать?.. Господи! Что за голова! Когда ты научишься быть серьезной?!

---

— Кому же ты больше сочувствуешь?—сердито спрашиваетъ Соня подругу.—Я ничего у тебя не разберу...

— Конечно, эсъ-эрамъ...

— «Конечно!»—передразниваетъ Соня. Она горячо доказываетъ, что только однимъ с.-д. принадлежитъ будущее.

— Это все равно!—возражаетъ Маня съ великолѣпнымъ равнодушіемъ.—Назови мнѣ изъ нихъ хотя бы одно имя, отъ котораго задрожало бы сердце! А у тѣхъ какія имена! Какіе подвиги!.. Какъ полна ихъ короткая жизнь! Какъ красива ихъ смерть!..

— Тебѣ бы только красота!.. Ничего изъ тебя никогда не выйдетъ!

— А что-жъ ты хочешь, чтобъ изъ меня вышло?

Манѣ дико слушать, что она должна измѣниться. Перестать

быть тѣмъ, за что ее любили и выдѣляли изъ толпы... И та же Соня?.. Вотъ эта самая Соня?..

Манѣ больно. Она полна сомнѣній... Первыхъ сомнѣній.

— А зачѣмъ же ты помогаешь Линѣ, если не раздѣляешь ея программы?—рѣзко спрашиваетъ Соня.

— Меня Лина не спрашиваетъ, кому я сочувствую... Дѣлаю я это, потому что... мнѣ это нравится... Я люблю рискъ и сильныя ощущенія! Вотъ и все!..

Соня негодуетъ. Она стала нетерпѣлива. Она критикуетъ Маню ежедневно, предъявляетъ ей высокія требованія и грозитъ ей охлажденіемъ.

— Ахъ, пожалуйста!—говоритъ Маня.—Я не пудель, чтобы меня дрессировать. Люби меня, какая я есть!.. Другой въ угоду тебѣ не буду!

---

Въ праздникъ дѣвочки бѣгутъ въ Художественный театръ. Маня бредитъ Ибсеномъ, обожаетъ Качалова.

— Смотри!.. Лина!—въ изумленіи шепчетъ Соня. И толкаетъ Маню локтемъ въ грудь.

Она... Но какъ странно!.. Ѣдетъ почему-то съ околоточнымъ въ пролеткѣ... Увидала ихъ...

— Лина!—кричитъ Маня.—Здравствуй, Лина!..

Отвернулась, не глядитъ... Только дрогнули рѣсницы... Какое у нея новое, злое и гордое лицо!

Скрылись... Дѣвочки глядятъ ей вслѣдъ, разинувъ рты...

---

Черезъ недѣлю говорятъ шопотомъ, что Лина и братъ ея въ тюрьмѣ.

— За что??

— За пропаганду среди рабочихъ... Разбрасывали листки и брошюры...

— Какія?.. Тѣ самыя???

Дѣвочки смотрятъ другъ на друга большими глазами.

---

О, какая новая, какая странная жизнь!..

Онѣ уже давно не учатся по-настоящему... Учителя не ходятъ. Начальство растерялось... Реалисты и гимназисты присылали къ нимъ делегатовъ. Собирали сходку. Вырабатывали программу. Весь интернатъ въ волненіи...

Соня сказала пламенную рѣчь. И ее сняли со стола и носили на рукахъ... Фрау Кеслеръ слушала и ничего не возража-

ла. Только делегатовъ просила больше не приходить въ казенный интернатъ.

— Это насиліе!.. Вы хотите намъ мѣшать?—надменно сказалъ высокій черненькій мальчикъ, съ тѣнью надъ губой.

Она добродушно разсмѣялась и потрепала его по плечу.

— Ахъ, милыя, милыя дѣти!.. Ахъ, глупая молодость!

Но никто не оскорбилъ фрау Кеслеръ въ эти дни. Ее всѣ любятъ, всѣ чувствуютъ ея симпатію... Она молитъ объ одномъ: не участвовать въ уличныхъ демонстраціяхъ.

Выработаны такія предложенія начальству: 1) Удалить няньку Марью, какъ шпіона. 2) Запретить надзирательницамъ распечатывать письма, приходящія въ интернатъ. 3) Вѣжливое обращеніе и отмѣна наказаній. 4) Полная свобода чтенія, собраній и сходокъ. 5) Отпускать всѣхъ по вечерамъ до двѣнадцати. Иначе никогда не попадешь въ театръ.

Интернатъ фрау Кеслеръ хлопочетъ не о себѣ, въ сущности. Тутъ и такъ хорошо. Хлопочутъ объ общемъ благѣ.

О, сколько волненій! Потихоньку бѣгали въ университетъ, на митингъ... Когда огромная толпа запѣла разомъ пѣсню, воодушевленная однимъ и тѣмъ же чувствомъ, изъ глазъ Мани и Сони брызнули слезы. Онѣ тоже подхватили гимнъ истерически-звонкими, высокими голосами...

Нянька Даша бѣгала на свой митингъ.

— Все расклеилось,—говоритъ фрау Кеслеръ.—Никого не дозовешься!

Прислуга собирается на кухнѣ и говоритъ безъ умолку. И «дерзитъ»... Баварка, миролюбивая и терпимая, какъ всегда, сама мететъ дортуаръ, благо она одна на всемъ верху. Всѣ разбѣжались...

Въ гимназическомъ интернатѣ надзирательницы ходятъ съ испуганными глазами. Никого не наказываютъ. Гдѣ ужъ тамъ!.. У начальницы лихорадка. Она въ постели. Говорятъ, интернатъ весь распустятъ до Рождества.

— Хорошо бы не учиться! — говоритъ Маня. — Надоѣло зубрить...

Да и кто-жъ объ этомъ теперь думаетъ? Нельзя, нельзя уже жить попрежнему! Днемъ сидѣть въ классѣ, вечеромъ готовить уроки... Налетѣла буря. И дрожатъ стѣны стараго дома.

— Ахъ, если-бъ только театры не были закрыты! — говоритъ Маня.

— Нѣтъ, ты положительно безнадежна!—возражаетъ Соня.— Я разочаровалась въ тебѣ... Живешь, какъ птица...

Сама она, съ тѣхъ поръ какъ произнесла рѣчь на столѣ, стала ужасно важная. Спорить съ нею теперь — значитъ ее оскорблять!

Маня втихомолку хохочетъ надъ нею и чертитъ карикатуры. Тамъ делегаты, черненькій гимназистъ, фехтующій на рапирахъ съ фрау Кеслеръ... Соня стоитъ на столѣ, съ протянутой рукой и съ метлой, обернутой тряпкой, вмѣсто знамени... Весь интернатъ хватается за бока.

— Глупо!—говоритъ Соня, разглядывая карикатуры.—Ты сама себѣ приговоръ этимъ подписываешь...

— Смертный?—спрашиваетъ Маня смиренно, поднимая лѣвую бровь. И ноздри ея дрожатъ отъ затаеннаго смѣха.

Соня отвѣтомъ не удостоиваетъ... У нея такъ много дѣлъ, связей, обязательствъ! Ей некогда возиться съ идіотками...

---

Теперь онѣ не спятъ по ночамъ. Въ ужасѣ прислушиваются онѣ къ пьянымъ пѣснямъ на улицѣ. Кончились рѣчи, кончились гулянья. Фрау Кеслеръ запираетъ сама всѣ двери. Спитъ одѣтая... что называется, на одинъ глазъ. И распустить-то дѣтей некуда. Желѣзныя дороги стали, почта тоже. Они отрѣзаны отъ всего міра.

Пріѣхалъ Петръ Сергѣевичъ. Маня, истерически рыдая, кинулась ему на грудь.

— Не выходи! Не пріѣзжай!.. Тебя убьютъ... Студентовъ убиваютъ...

— Хорошо, хорошо... Не волнуйся! Ты-то не выходи. Мы съ Аней голову потеряли... Знаемъ, что ты живешь на улицѣ... Дай мнѣ слово!

Гдѣ ужъ тамъ выходить!..

Одну ночь никто не спитъ... Даже не раздѣвались. Дѣвочки плачутъ. Многія до истерики. Соня ходитъ отъ постели къ постели, вмѣстѣ съ Маней, и старается поднять духъ.

— Хотите, пропляшу?—предлагаетъ Маня.

На нее машутъ руками.

— Ахъ, что ты! Что ты!.. Огонь боимся зажечь... Надо сидѣть тихо... А то придутъ и къ намъ...

— Господа! Неужели мы доживаемъ послѣдній день?— истерически вскрикиваетъ черненькая дѣвушка.

— Вотъ и повеселимся въ послѣдній разъ!—просто говоритъ Маня. И поднимаетъ лѣвую бровь.

Въ этомъ кварталѣ уже разгромили домъ... И сюда могутъ ворваться и поджечь...

— Слышишь? Слышишь?.. Тише!.. Тише!..—шепчутъ онѣ, прислушиваясь къ пьяному гаму озвѣрѣлыхъ людей, которые безнаказанно могутъ убить ихъ. И никому за это не отвѣтятъ.

---

Всѣ разъѣхались по частнымъ домамъ. Въ интернатѣ оставаться опасно. Бульвары обстрѣливаютъ. Пули залетаютъ въ окна.

Опять пріѣзжалъ Петръ Сергѣевичъ... Онъ не можетъ взять Соню и Маню къ себѣ. У нихъ безпокойно... Да и матери хуже... Былъ припадокъ.

— Ради Бога, фрау Кеслеръ, устройте дѣвочекъ у кого-нибудь! Я заплачу за обѣихъ...

---

И вотъ онѣ у брата фрау Кеслеръ.

Онъ докторъ, женатый, бездѣтный. Его большая изящная квартира въ бельэтажѣ выходитъ окнами на улицу.

О, какой яркій, красивый зимній день!.. Какая шумная, радостная толпа внизу! Идетъ, какъ волна, во всю улицу, по мостовой... Поютъ... Смѣются... Громко, возбужденно говорятъ... Какой праздникъ!

— Пойдемъ туда! Пойдемъ скорѣй!—шепчетъ Маня.

— Эмма Васильевна, позвольте намъ погулять!—просится Соня.

— Ахъ, дѣти!..

— Такая чудесная погода!.. Мы будемъ здѣсь, подъ окнами...

— Robert?.. Какъ ты думаешь?

— Конечно, пусть подышутъ воздухомъ!—разсѣянно говоритъ Robert. Онъ весь поглощенъ своей научной работой, своей статьей. И жизнь, которая гудитъ тамъ, внизу, подъ окнами, не доходитъ до его сознанія.

Ночью, когда всѣ крѣпко спятъ, дѣвочки просыпаются... Онѣ уговорились наканунѣ... Онѣ крадутся на черный ходъ и спускаются по лѣстницѣ, на дворъ.

Какъ это хорошо! Ворота отперты... Морозный воздухъ ласкаетъ ихъ горячія щеки. О, какой воздухъ! Какъ легко

дышать!.. Какимъ страннымъ-страннымъ кажется городъ въ этой мглѣ, безъ фонарей! Точно на картинѣ...

Снѣгъ выпалъ за ночь. Свѣжій, чуть синеватый, ослѣпительный... Какъ хорошо хруститъ онъ подъ ногою!

— Пойдемъ гулять!.. Вѣдь днемъ насъ не пустятъ...

— Тише!.. Слышишь?..

Въ переулкѣ, за воротами, странное движеніе... Смѣхъ.... Какая-то суета... Въ тишинѣ, въ морозномъ воздухѣ, такъ отчетливо и звонко звучатъ голоса... Все молодые...

Что они тамъ дѣлаютъ? Да, вонъ они... Въ полумглѣ движутся сѣрыя фигуры... Тащатъ что-то...

— Сторонитесь!.. Сторонитесь!.. Эй... тише тамъ!

— Товарищъ, не зѣвайте!

Ухнуло что-то... Звонъ разбитаго стекла... И всплескъ голосовъ и смѣха, радостнаго, бодраго,—будитъ эхо среди тѣсныхъ ящиковъ-домовъ.

Переглянувшись, дѣвочки берутся за руки и бѣгутъ туда, къ сѣрымъ фигурамъ.

Какъ странно!.. Какая-то черная стѣна загораживаетъ дорогу поперекъ, отъ стѣны одного дома черезъ улицу, до стѣны другого... Возбужденно и торопливо волокутъ какіе-то люди въ высокихъ сапогахъ и курточкахъ поваленный фонарный столбъ.

— Проволоку давайте, барышня, проволоку!.. Посторонитесь!—кричатъ Манѣ.—Вы обрѣжете себѣ ноги...

Дворники съ бляхами, гимназисты, какія-то двѣ женщины въ платочкахъ кидаются къ телефонному столбу, что лежитъ на панели, загораживая дѣвочкамъ дорогу.

— Что это такое?—спрашиваетъ Соня гимназиста, хватая его за рукавъ.—Ради Бога, скажите, что это такое?

— Баррикада!—говоритъ онъ гордо.—Мы ее строимъ... Хотите помочь?

О, какъ громко стучитъ сердце!

— Да... да... конечно... конечно... Научите, что дѣлать!.. Покажите! Маня!.. Иди сюда!..

О, это утро!.. Этотъ синій снѣгъ на темныхъ крышахъ!.. Эта предразсвѣтная мгла, полная молодой, кипучей жизни... О, эти чужія, смутныя лица! И близость душъ... И радость общенія...

Въ какой яркій гимнъ слились всѣ эти впечатлѣнія!..

Какими неизгладимыми чертами все это врѣзалось въ душу!

---

Грохотъ пушекъ... Почти надъ головой... Такъ близко... близко... Стекла звенятъ. Дрожитъ люстра въ залѣ и хрусталь въ буфетѣ. Ломая руки, Эмма Васильевна бѣгаетъ отъ окна къ окну.

Дѣвочки ушли къ обѣднѣ и не вернулись... А перейти улицу уже нельзя... Вонъ на томъ тротуарѣ лежитъ убитая торговка Катя. Ей говорили, что нельзя пройти. Она не вѣрила... Эмма Васильевна рыдаетъ на плечѣ у мужа.

— Наконецъ-то!.. Вернулись... Слава Богу!

— Не смѣйте никуда выходить!—говоритъ докторъ.

«Отчего это у Сони такіе глаза?»

— Мы перебѣжали улицу... тотчасъ послѣ залпа,—говоритъ Соня.—Перекрестились и перебѣжали...

Эмма Васильевна всплескиваетъ руками.

— Вотъ этотъ залпъ? Сейчасъ?..

— Да... Онъ былъ намъ въ догонку,—говоритъ Соня, какъ-то черезчуръ спокойно.

— Маня... Отчего у тебя такое лицо? Ты испугалась, дитя мое?

Она отвѣчаетъ медленно, глухо, какъ во снѣ:

— У нашего подъѣзда лежитъ старикъ... Онъ, кажется, убитъ...

---

Не жизнь, а кошмаръ... Всѣ окна, выходящія на улицу, разбиты вдребезги. И морозъ гуляетъ по дому. Докторъ съ семьей перебрались на другую половину квартиры. Всѣ ютятся въ двухъ комнатахъ. Сидятъ въ шубахъ и теплой обуви... Какъ холодно! Печи топятъ весь день, но вѣтеръ выдуваетъ тепло. Когда докторъ подошелъ въ кабинетѣ къ окну, чтобъ заклеить его бумагой, стоявшіе внизу солдаты навели на него ружья и закричали:—Назадъ! А то будемъ стрѣлять!

---

Ночью не спали. Ядромъ оторвало балконъ. Осколокъ шрапнели ударился въ карнизъ у камина, и съ грохотомъ посыпалась известка... Дверь въ ту половину заложили матрацами... Слышно, какъ пули хлопаютъ въ стѣны и потолокъ кабинета... Что-то звенитъ на столѣ и падаетъ... Господи помилуй!.. И переѣхать некуда... И двинуться страшно... Солдаты выстроились подъ окнами и стрѣляютъ вдоль улицы. Стѣны и весь воздухъ сотрясаются отъ залповъ... Точно въ осажденной крѣпости...

---

Ушли, наконецъ!..

Но въ наступившей послѣ грохота тишинѣ все еще дрожатъ какіе-то призраки звуковъ... Невольно ждешь залпа, крика, стона смерти, площадного ругательства...

Наскоро вставили стекла... Всѣ ахаютъ надъ испорченной квартирой. Всюду пыль отъ известки. Ковры погибли. Отъ стѣнъ и карнизовъ отбиты куски. Пули завязли въ двери. Осколокъ шрапнели валяется у кушетки...

Соня его прячетъ.

Печать запустѣнія лежитъ въ тѣхъ комнатахъ. И даже днемъ жутко туда итти... По вечерамъ всѣ запираются, гасятъ огни. И городъ съ его мракомъ и пустынными улицами кажется мертвымъ.

Кухарка входитъ вечеромъ въ спальню хозяйки—совѣтоваться насчетъ обѣда.

— Засада отъ насъ наискосокъ,—шепчетъ она.—Стерегутъ кого-нибудь, стало-быть... Казаки сидятъ...

Въ полночь Маня и Соня босикомъ пробираются въ залу.

Ночь темна и зловѣща... Ни одинъ фонарь не освѣщаетъ улицы.

Дрожа отъ стужи, дѣвочки прильнули къ окнамъ. И слушаютъ слѣпую ночь...

Все тихо, словно на кладбищѣ.

Вдругъ вдали раздаются шаги...

О, какъ четко, какъ громко звучатъ они въ этой тьмѣ, въ этой тишинѣ, напряженной, какъ струна!

Кто это идетъ? Кто смѣетъ итти въ эту ночь, когда даже стѣны—ненадежная защита для людей?

Дѣвочки невольно хватаются за руки. Невольно жмутся другъ къ другу...

Быстрые шаги... Ближе... Кто-то молодой и смѣлый идетъ упругой походкой... Кто-то полный силъ...

И вдругъ ночь дрогнула...

И будешь ты царицей мі-і-ра...

...внезапно подъ окнами раздается могучій баритонъ...

Подруга первая...

Тра-та-та-та... защелкало изъ тьмы... Наискосокъ блеснули и погасли искры... Со звономъ разлетается крайнее окно. И пуля ударяется съ сухимъ трескомъ въ стѣну залы.

Дѣвочки падаютъ на полъ...

Проходитъ мгновеніе... другое... Можетъ-быть, полчаса?

Ночь молчитъ. Слѣпая и предательская. Тая измѣну и смерть...

Городъ спитъ...

Отчего ты смолкъ, пѣвецъ?..

. . . . . .

---

Вотъ и Новый годъ!.. Вотъ и старая жизнь...

Часто ночью Манѣ снится слѣпая тьма за окнами, жуткая тишина и разрывающій ее побѣдно голосъ:

И будешь ты царицей мі-і-ра...

Она просыпается и, дрожа, будитъ Соню.

Кто былъ *онъ?*.. Куда шелъ?

Зачѣмъ пѣлъ въ этотъ часъ, когда ни одинъ обыватель не рѣшался зажигать огня? И не смѣлъ отворить форточки въ собственномъ домѣ?.. За что погибъ?..

— Это былъ сигналъ,—говоритъ Соня печально.—Неужели ты не догадываешься, что онъ пожертвовалъ собой?

## IX.

Опять лѣто.

Поѣздъ мчится, и ландо ждетъ у станціи.., О, радость!

Петро привѣтливо снимаетъ шляпу. Какъ онъ постарѣлъ за одинъ годъ!

Подвода грузится багажомъ. Послѣднія инструкціи старому Дмитрію, чтобъ не мѣшкалъ, чтобъ къ ночи былъ въ селѣ... И Вѣра Филипповна, похудѣвшая за эту зиму, со вздохомъ откидывается на спинку ландо.

Поѣхали... Дѣвочки щебечутъ, подставляя вѣтру поблѣднѣвшія за зиму щечки.

— А въ Колтоновщинѣ, Вѣра Хвилипповна, слыхали, что случилось?

— Что такое? Когда?

— А вотъ какъ вы за панночками уѣхали, въ скорости...

И онъ разсказываетъ, что въ сосѣднемъ селѣ арестовали учительницу. А парубки собрались и стали ругаться и бунтовать. И казаковъ прислали.

— Что же это такое? У насъ было такъ тихо... Почему же? Голодъ, что ли?

— Извѣстно, голодны люди... А еще, Вѣра Хвилипповна, что я вамъ скажу...

Петро совсѣмъ оборачивается на козлахъ, и лошади идутъ мелкимъ шагомъ. Онъ шепчетъ таинственно, хотя степь кругомъ безмолвна. И ни одного силуэта не маячитъ на горизонтѣ.

— Прошла по селамъ бабуся... Маленькая такая, въ чемъ душа?.. Изъ Кіева шла. И въ хатѣ, гдѣ ночевала, оставила хусточку *). А въ хусточкѣ бумаги. И въ тѣхъ бумагахъ сказано, что земля вся хромадѣ **) отойти должна. А пановъ надо бить и экономіи жечь... ***).

— Боже мой!—Вѣра Филипповна блѣднѣетъ.—И что же? Читали они?

— Какъ не читать? Много читали... И гомонили... ****) Потомъ наѣхалъ становой, начали допрашивать. Извѣстно... Въ тюрьму взяли... Многихъ взяли. И сейчасъ держатъ...

— А бабусю не нашли?

— Нѣтъ! Гдѣ же?.. Какъ въ воду канула...

Навстрѣчу ѣдутъ возы. Вѣра Филипповна глядитъ съ ожиданіемъ. Но ни одинъ хохолъ не снимаетъ шапки передъ панами. Вызывающе и упорно щурятся парубки...

Вѣра Филипповна вспыхиваетъ и отворачивается. Петро укоризненно качаетъ головой.

— Охъ, неспокойно стало, Вѣра Хвилипповна! Бѣда съ людьми... Да еще что!.. Пошаливаютъ по дорогамъ,—таинственно озираясь, шепчетъ онъ.—Надо до ночи въ село попасть... На той недѣлѣ, какъ уѣхали вы, у насъ почту ограбили. Почтаря убили...

— Боже мой! Какой ужасъ!.. А какъ же вещи-то наши?

— Я и то Митрію наказывалъ, чтобъ торопился...

Ужасъ такъ и остается въ зрачкахъ женщинъ и прячется тамъ до поры, до времени... Пока не сѣло солнце... А тамъ, чѣмъ темнѣе становится даль, тѣмъ глуше звучитъ смѣхъ и рѣчь... И, наконецъ, смолкаетъ...

Недалеко отъ Липовки, версты за три, стоитъ въ лощинѣ дубовый лѣсъ. Его зовутъ Лихой Гай... Когда-то здѣсь разбойничали бродяги. Легенда не сохранила даже ихъ именъ, и мирная жизнь за послѣдніе семьдесятъ лѣтъ отняла у ста-

---

*) Платокъ. Узелокъ.

**) *Громада*—это міръ, община.

***) Усадьбы и службы.

****) *Гомонили*—шумѣли. Прим. автора.

раго лѣса все обаяніе страха... Теперь, кажется, воскресло былое...—Вотъ тутъ и ограбили,—шепчетъ Петро, кнутомъ указывая на темное пятно Гая.

— Ступай скорѣе!—бѣлыми губами шепчетъ хозяйка.

Нельзя... Дорога идетъ въ крутую гору. Ѣхать можно только шагомъ... Тихо звенятъ бубенцы... Эхо повторяетъ всѣ звуки.

«Какъ страшно!.. Какъ чудесно!» думаетъ Маня. И огромными глазами пронизываетъ сумракъ.

Вдругъ издали доносится топотъ копытъ. Всѣ встрепенулись... Слава Богу! Ѣдетъ кто-то... Нѣтъ, ѣдутъ двое верхами... Петро понукаетъ лошадей. Онъ пріободрился. Дѣвочки вышли на подъемѣ и взбираются по кручѣ.

— Папа!—кричитъ Соня.—Я чувствую, что это папа!..

Онъ и есть... А съ нимъ сосѣдъ Лизогубъ. Всѣ радостно здороваются.

— А ужъ вы проѣхали Гай?—удивляется Горленко.—Опоздали мы немного, не разсчитали...

— Я шибко гналъ лошадей, пане,—говоритъ Петро.

— Ахъ, Вася! Спасибо, что встрѣтилъ! Что у васъ тутъ дѣлается! Какіе ужасы!...

---

Опять высокое небо... И черныя ночи... И огромныя мигающія, какъ очи, звѣзды...

Но здѣсь, на землѣ, все неуловимо измѣнилось... Настроеніе хозяевъ имѣнія, отношенія къ рабочимъ, къ сосѣдямъ, даже интимная жизнь... Цвѣтникъ глохнетъ. Розъ уже нѣтъ. Садовника разсчитали. О красотѣ не думаютъ. Чудный фруктовый садъ сданъ въ аренду. Какія-то чужія лица, дѣти арендатора, снуютъ по саду и зѣваютъ подъ окнами...

Тревога разлита въ воздухѣ. Ее стараются подавить, но она не уходитъ... Она глядитъ изъ глазъ хозяйки и изъ растерянныхъ жестовъ хозяина. Попрежнему онъ цѣлые дни проводитъ въ полѣ, въ нанковомъ пиджакѣ и въ высокихъ сапогахъ. Но теперь онъ не только не переодѣвается къ обѣду, а часто садится за столъ, забывъ даже вымыть руки. И только дядюшка, корректный какъ всегда, tiré à quatre épingles, какъ говорятъ французы, брезгливо косится на его грязные ногти.

Вѣра Филипповна равнодушна... Ахъ, жить стало такъ трудно! Этотъ Штейнбахъ, наслѣдникъ покойнаго, не успѣлъ ввалиться въ ихъ края, какъ народъ точно взбѣсился. Онъ такъ поднялъ цѣны, что нѣтъ рабочихъ рукъ. Приходится кланять-

ся мужичью... Да и не легко съ ними ладить теперь! Говорить панамъ приходится, оглядываясь да подумавши. И кто можетъ сказать, во что выльется это все накопляющееся недовольство?.. «Жакеріи...» грозитъ дядюшка. Ему хорошо зубоскалить, когда терять нечего! А тутъ еще эти газеты! Эта дума! Разговоры о землѣ... Неужели, правда, отберутъ все у дворянъ? Разорятъ ихъ? Пустятъ по міру?..

Плохо спится панамъ отъ заботъ.

— Дѣвочки, не ходите далеко,—проситъ Вѣра Филипповна.—Всякій народъ бродитъ по дорогамъ. Васъ обидятъ...

Но Маня каждый вечеръ ждетъ на левадѣ всадника... Она сидитъ на холмѣ и смотритъ вдаль... И вся душа ея въ этомъ взглядѣ...

---

Ночью дѣвочки просыпаются отъ необычнаго шума.

Набатъ зоветъ и будитъ спящихъ своимъ мѣднымъ голосомъ, полнымъ безысходной тоски. Алое небо подернуто сизымъ налетомъ. Оно мигаетъ и точно дышитъ...

— Пожаръ!—замирающимъ голосомъ говоритъ Соня.

Маня въ одной рубашкѣ кидается къ окну и распахиваетъ его настежь.

— О, какая красота! Взгляни!..

Въ домѣ хлопаютъ двери. Слышны истерическіе крики женщинъ... На дворѣ мелькаютъ фонари. Дымятся осмоленные факелы. Люди бѣгутъ со стороны села и кричатъ что-то... Силуэты у всѣхъ такіе рѣзкіе... Скотина проснулась и испуганно мычитъ и блеетъ. Въ окно тянетъ гарью.

— Неужели у насъ пожаръ?—съ остановившимися глазами спрашиваетъ Соня. И, полуодѣтая, бѣжитъ внизъ.

Горитъ клуня, куда только что наканунѣ Горленко велѣлъ свезти съ поля все жито.

Вѣра Филипповна рыдаетъ на террасѣ. Соня поитъ ее водой. Бабы визжатъ, причитаютъ, безтолково мечутся со двора на пожаръ и обратно на кухню, всѣмъ мѣшая, всѣмъ попадая подъ ноги.

Маня выбѣгаетъ за ворота, огибаетъ садъ и вскрикиваетъ отъ восторга. Какъ громадный, ослѣпительный костеръ пылаетъ клуня, далеко разбрасывая кругомъ огненныя искры, кидая ими въ черное небо, какъ бы съ дерзкимъ вызовомъ и местью... Самъ Горленко, дядюшка, Петро и рабочіе рубятъ загорѣвшійся

плетень и плещутъ изъ ведеръ на скрутившіяся и сохнущія деревья. Какія у нихъ у всѣхъ отъ копоти чужія и страшныя лица!..

Со стороны села несется вой бабъ, плачъ ребятишекъ и отчаянный гвалтъ... Къ счастью, вѣтра нѣтъ. Но такая засуха! Каждая искра опасна...

— Отстоятъ ли село?—плачетъ Соня. Она блѣдна и подавлена.—Года два назадъ полсела выгорѣло... Если бы ты знала, Маня, какая здѣсь бѣднота!

Слава Богу! Гремитъ и звенитъ пожарная команда Штейнбаха... «Экономъ», какъ его называютъ на селѣ,—управляющій Липовки,—спѣшитъ къ сосѣдямъ.

— Наконецъ-то!—говоритъ Вѣра Филипповна и крестится.—Теперь службы не загорятся...

«Отстоятъ село...» думаетъ молчаливая Соня.

Какъ жертвенная гекатомба пылаетъ великолѣпное пламя... Потомъ падаетъ... Все кончилось...

---

— Если бы я зналъ, какой лайдакъ курилъ около клуни, я застрѣлилъ бы его собственными руками!—говоритъ на другой день Горленко, сжимая кулаки и бѣгая по залѣ. И его грузное тѣло колышется на ходу.

— Эге!—подмигиваетъ дядюшка.—Не очень ли это просто?

Горленко замираетъ на мѣстѣ, разинувъ ротъ. Глаза его выкатываются изъ орбитъ.

— Бабусю забыли?—улыбается дядюшка.

— Под-жогъ?—хрипло шепчетъ Горленко.

Вѣра Филипповна плачетъ, не осушая глазъ. Это тысяча рублей убытку. Чѣмъ они будутъ платить проценты Штейнбаху? Какъ они обернутся этотъ годъ?.. Какъ сведутъ концы съ концами?

---

А черезъ недѣлю опять пылаетъ небо. Опять зоветъ и тоскуетъ набатъ...

Горятъ Дубки, усадьба Нелидовыхъ.

Въ Лысогорахъ не спятъ. Ужасъ вошелъ въ домъ и дохнулъ холодомъ въ души... Теперь уже никто не сомнѣвается, что это поджогъ.

Дубки лежатъ за десять верстъ. Дядюшка и Горленко поѣхали въ кабріолетѣ на помощь сосѣдкѣ. Анна Львовна живетъ и хозяйничаетъ одна, стараясь вырвать родовое гнѣздо изъ

лапъ кредиторовъ, которые жадно тянутся отовсюду, послѣ смерти разорившаго ее мужа. Двое сыновей ея служатъ въ министерствахъ, въ Петербургѣ. Давно женаты. Младшій въ Лондонѣ. Прикомандированъ къ посольству.

— Несчастная старуха!—говоритъ Вѣра Филипповна.—Надо завтра съѣздить къ ней. Переживетъ ли она еще этотъ ударъ? Вѣдь это разореніе...

До утра Горленко съ зятемъ и экономъ Штейнбаха—Ермоленко—страстный любитель пожаровъ, бьются надъ тѣмъ, чтобы спасти флигеля, скотный дворъ и службы...

Но домъ спасти нельзя. Онъ горитъ, какъ свѣчка. И къ утру отъ него остаются только дымящіяся трубы печей.

— Все погибло! — утромъ разсказываетъ дядюшка. — Картинная галлерея, портреты предковъ, библіотека чудная... Какая мебель рококо! Какой дивный саксонскій фарфоръ!.. Этотъ сервизъ князю Галицкому, нашему послу, подарилъ въ прошломъ вѣкѣ Фридрихъ Великій! И цѣны ему не было...

— Самъ чуть не сгорѣлъ изъ-за фарфора... Чудакъ!—сердито говоритъ Горленко.—Всю пару испортилъ... Рукавъ и штанину сжегъ...

— Ахъ, что такое пара, Вася!.. Мнѣ до слезъ жалко фарфора,—говоритъ дядюшка.

Маня кидается цѣловать его.

— Какъ же это такъ ничего не спасти?—удивляется Вѣра Филипповна.—Столько народу, село рядомъ... Не могъ же домъ вспыхнуть, какъ лучина?

— Эге!—подмигиваетъ дядюшка.—Ты бы на нихъ поглядѣла... на пейзанъ...

— Да, вѣдь, и правда, шибеники *) этакіе!—подхватываетъ Горленко, весь багровѣя.—Словно приросли къ землѣ. Стоятъ въ сторонѣ толпой и молчатъ... Ни одна каналья не пошевелилась...

— А зачѣмъ имъ шевелиться?.. Паны горятъ... Такъ панамъ и надо!

И ничего не понимаютъ Соня съ Маней въ этомъ голосѣ. Осуждаетъ онъ крестьянъ или сочувствуетъ?.. Чудакъ этотъ дядюшка!

— А что же Анна Львовна? Очень убита?

— Король-старуха!—восхищенно говоритъ дядюшка.—Ни

---

*) Висѣльники.

тебѣ жалобы, ни тебѣ суеты... Вынесъ я ей кресло на лужайку, передъ домомъ. Сидитъ и смотритъ... И бровью не моргнетъ. Точно на спектаклѣ... И пока не рухнули стѣны, слова не сказала и не двинулась...

— Только глаза... — подхватываетъ Горленко. — Боже-жъ мой, что за глаза!

— Вотъ интересная!—шепчетъ Маня подругѣ.—Знаешь? Она напоминаетъ старуху-барыню съ костылемъ передъ Пугачевымъ? Помнишь картину въ *Нивѣ*?

Соня сочувственно киваетъ головой.

Цѣлый мѣсяцъ говорятъ объ этихъ пожарахъ.

Губернаторъ пріѣзжалъ къ Нелидовой. Полиція сбилась съ ногъ.

Виновныхъ не находятъ.

---

Губернатора ждутъ въ Лысогоры.

Заказанъ роскошный обѣдъ съ винами, за которыми Петро гоняли въ городъ, за тридцать верстъ.

Манѣ очень нравится этотъ красивый, свѣжій еще человѣкъ съ бритымъ лицомъ, густыми, темными еще усами и шапкой сѣдѣющихъ волосъ. У него обворожительныя манеры, и онъ пріятно грассируетъ.

— Настоящій *Греминъ*!—шепчетъ Маня.

У Вѣры Филипповны онъ цѣлуетъ руку. А на Маню все глядитъ, хищно щурясь. А потомъ беретъ ее за подбородокъ тонкими, холеными и цѣпкими пальцами.

— Какая краля!—говоритъ онъ. И у него выходитъ «кхаля».

Но Маню эта фамильярность коробитъ. Съ какой стати?.. И развѣ она маленькая?.. Лѣвая бровь капризно поднимается. Глаза гнѣвно сверкаютъ. И это приводитъ въ восхищеніе избалованнаго и пресыщеннаго аристократа. Онъ плотоядно смѣется и показываетъ длинные, бѣлые зубы. Теперь онъ похожъ на волка. И Манѣ досадно.

Когда подаютъ кофе и ликеры, дѣвочекъ высылаютъ изъ столовой. Но Соня слышитъ вопросъ отца:

— А каково теперь настроеніе крестьянъ?

Губернаторъ что-то говоритъ вполголоса. Соня медлитъ у двери.

— А все эта милая стахушка... — явственно доносится вдругъ... И пріятный, вкрадчивый смѣхъ его превосходительства.

— Тигръ!—говоритъ Соня съ пылающимъ лицомъ.—Настоящій тигръ!.. Какъ онъ поролъ крестьянъ года два назадъ за бунтъ!

— Какъ поролъ! Самъ поролъ?.. Этими маленькими, бѣлыми ручками?

— Дура!.. Ахъ, какая ты дура, Манька! Съ тобой совсѣмъ нельзя разговаривать!

— Полно вамъ!—споритъ дядюшка въ столовой.—Какая тамъ старушка? Неужто вы, въ самомъ дѣлѣ, придаете значеніе листкамъ и отдѣльнымъ лицамъ?.. Попробуйте-ка Василія Петровича или мою Вѣру подбить на бунтъ!.. Голодъ, безземелье... Вотъ вамъ и причина...

— Неужели вы отрицаете значеніе пропаганды?.. Дайте мнѣ только возможность выселить изъ края всѣхъ студентовъ и курсистокъ...

— А жакеріи въ средніе вѣка? А Пугачевъ? Гдѣ тамъ были курсистки?.. Да вы близоруки, господа!

— У насъ революціи нѣтъ,—твердо повторяетъ губернаторъ.

— А республика въ Конотопѣ? А все движеніе этого года?—кричитъ дядюшка.

— У насъ революціи нѣтъ,—твердо повторяетъ губернаторъ.

— А что же, по-вашему, есть?

— Есть только партіи и пропаганда. Есть отдѣльныя вспышки. До глубины народнаго сознанія все это не дошло.

— Жиды мутятъ. Вотъ и все!—объявляетъ Горленко, ударяя кулакомъ по столу. Жена дѣлаетъ испуганные глаза.

— Эге!—подмигиваетъ дядюшка.—Пусть-ка они тебя смутятъ!

— Народъ голоденъ... Бросьте искру въ солому, и та загорится...—говоритъ хозяйка, стараясь всѣхъ помирить.

— Вотъ то-то и есть! А бросьте ее въ снѣгъ—погаснетъ!—не унимается дядюшка.

Поднимается горячій споръ.

А по отъѣздѣ губернатора Горленко, совершенно успокоенный, говоритъ женѣ:

— Дай ему Богъ здоровья! Такіе теперь только и нужны... Вотъ онъ имъ себя покажетъ!.. С... мъ дѣтямъ...

— Поживетъ,—побачимъ!—усмѣхается дядюшка.

И Вѣра Филипповна невольно вспоминаетъ, что годъ назадъ на губернатора уже было покушеніе.

— Скверный у тебя языкъ, Ѳедя!—сердито говоритъ она

брату.—Ты хоть бы при дѣтяхъ держалъ его на привязи! Ты съ губернаторомъ слово-за-слово... Мнѣ было стыдно за тебя...

— Какъ можно?.. Либералъ... Херцена почитаетъ!—подхватываетъ Горленко.

— Я либералъ. А ты обскурантъ!—смѣется дядюшка.

---

Думу распустили. Опять читаютъ газеты. Опять спорятъ и волнуются помѣщики.

— Ничего въ волнахъ не видно!—говоритъ дядюшка.—Было плохо, стало скверно...

— А ну ее къ бису, эту думу!—кричитъ Горленко, багровѣя. Онъ боялся, что у него отымутъ землю.

— Все равно, отымутъ,—безнадежно говоритъ Вѣра Филипповна.—И домъ сожгутъ. И насъ на вилы подымутъ...

— Фу ты! Ну ты!—сердится ея мужъ.—Подумаешь, пугачевщина... Губернаторъ шутить не любитъ. Забудутъ бунтовать шибеники, когда онъ ихъ черезъ десятаго перепоретъ да сошлетъ...

— Эге!..—смѣется дядюшка.

И опять не поймешь, надъ кѣмъ смѣется онъ.

На селѣ тоже читаютъ газеты и собираются кучками. Стражники дѣлаютъ видъ, что ничего не замѣчаютъ...

Присмирѣли и управляющіе въ «экономіяхъ». Со штрафами осторожно... По вечерамъ поютъ запрещенныя пѣсни. Въ праздникъ панамъ рискованно показаться на базарѣ.

За винтомъ у Горленки экономъ Штейнбаха, Ермоленко, съ юморомъ разсказываетъ, какъ пьяный бондарь шелъ по улицѣ села и кричалъ ему: «Дорогу хражданину!..»

— Ну, и что же вы?—угрюмо спрашиваетъ Горленко.

— Посторонился... Какъ не дать дорогу?.. Попробуйте-ка не дать!

— Да... не прежнія времена!—вздыхаетъ Вѣра Филипповна.

Теперь даже бабы съ села, двадцать лѣтъ цѣловавшія у нея при встрѣчѣ ручку и плечико,—когда поклонятся барынѣ, когда нѣтъ... И это для нея, кажется, всего больнѣе.

Чутко спятъ теперь помѣщики въ усадьбахъ, на дѣдовскихъ кроватяхъ. Темный призракъ бѣды стоитъ у изголовья... Раньше всю ночь до зари были открыты окна. Теперь плотно заперты ставни. У всѣхъ злыя собаки...

Но сонъ все-таки тревоженъ.

На помощь *диду*, который стережетъ садъ, нанимаютъ мужика съ села. И они ходятъ дозоромъ вокругъ дома съ заряженными ружьями...

Все это ново, дико. И дѣйствуетъ на нервы. Когда сова кричитъ въ паркѣ, Вѣра Филипповна просыпается. И долго съ бьющимся сердцемъ прислушивается къ таинственной жизни ночи...

---

А тревога все нарастаетъ.

Въ сосѣднемъ селѣ, верстъ за десять, ограбили винную лавку. Ранили сидѣльца. Экспропріаторы были въ маскахъ.

Опять полиція на ногахъ. Опять рыщутъ стражники.

На работахъ Горленко, всегда грубый раньше, теперь старается быть корректнымъ. Онъ блѣднѣетъ, встрѣчая загадочное молчаніе на свои шутки. Онъ подмѣчаетъ (или это ему такъ кажется?) угрюмые, злые взгляды... Привычная флегма хохловъ даже ему становится теперь подозрительной.

Особенно пугаетъ его недавно нанятый рабочій съ исторической фамиліей Искра. У него лицо интеллигента, сдержанныя манеры, вѣжливая рѣчь. И если-бъ Горленко не зналъ его мать Оксану, родомъ изъ Лысогоръ, онъ побожился бы, что это переодѣтый панычъ.

Горленко не рѣшается дѣлать ему замѣчаній. Подозрительно слѣдитъ онъ за нимъ издали. И избѣгаетъ встрѣчаться съ этими дерзкими, холодными глазами.

Сонѣ онъ очень нравится. Она нарочно ищетъ предлога поговорить съ нимъ... Но не вѣритъ, когда Искра отвѣчаетъ незначущія вещи безстрастнымъ голосомъ. Она огорчается бездной, которую чувствуетъ между собой и этимъ интереснымъ парубкомъ.

Маня рѣшила, что онъ вовсе не сынъ морщинистой черной Оксаны, а подкидышъ и панычъ.

— Зачѣмъ это тебѣ нужно?—холодно спрашиваетъ Соня.— По-твоему, рабочіе теперь не интереснѣе твоихъ дворянъ?

— Ну, хорошо! Пусть! — соглашается Маня. — Если онъ сынъ Оксаны, то онъ потомокъ того *Искры*, который скакалъ съ доносомъ «Царю Петру отъ Кочубея»...

— Идіотъ этотъ Кочубей! Не говори мнѣ о немъ!—сердится Соня.

Это у нея теперь хроническое. У нея удивительно измѣнился характеръ. Угрюмо приглядывается она къ жизни дома.

Рѣзко возражаетъ отцу. Выговариваетъ матери, когда Наталку и Ганну держатъ до полуночи, не давая имъ высыпаться.

— Вы точно крѣпостники! — говоритъ она. — По восемнадцати часовъ въ день на васъ люди работаютъ!

— Ты съ ума сошла!—сердится мать.—Какъ ты смѣешь критиковать насъ съ отцомъ?.. Вотъ и права я была, когда хотѣла тебя въ институтъ отдать. Это онъ съ дядюшкой настаивали на гимназіи... А теперь съ тобой сладу нѣтъ!

---

Новыя лица появились на селѣ.

Дочка стараго Лейбы—курсистка Роза—еще осенью была выпущена изъ тюрьмы. А теперь сослана сюда, подъ надзоръ. Теперь она интересная дѣвушка. Рыжая, блѣдная, съ упрямымъ ртомъ и глубокими глазами. Она ни съ кѣмъ не водится и все читаетъ книги.

Соня страстно мечтаетъ сойтись съ нею. Развѣ онѣ не молятся однимъ богамъ? Но это такъ трудно! Вѣра Филипповна всего боится...

Зяму, сына Мовши, тоже выпустили изъ тюрьмы. Его настоящее имя Измаилъ... Чудное имя, отъ котораго вѣетъ зноемъ арабской пустыни и шатрами бедуиновъ. Оно сводитъ Маню съ ума.

Зяма высокъ, худъ. Вечеромъ кажется призрачнымъ. На его темномъ некрасивомъ лицѣ горятъ, какъ уголья, враждебные глаза... Если-бъ онъ жилъ въ средніе вѣка, матери пугали бы имъ дѣтей. Онъ прослылъ бы колдуномъ. И не миновать бы ему костра...

Теперь онъ — бывшій студентъ кіевскаго университета, исключенный за безпорядки.

Въ первый разъ дѣвушки встрѣчаютъ его въ сумеркахъ, за калиткой парка.

— Разбойникъ! — говоритъ Маня съ восторгомъ. Соня смѣется, объясняетъ... И Маня падаетъ съ облаковъ.

Но онъ что-то разслыхалъ или догадался... Онъ рѣзко оборачивается и глядитъ дѣвушкамъ вслѣдъ.

И сколько ненависти въ его огневыхъ глазахъ!

## X.

Солнце сѣло. Маня и Соня идутъ съ левады домой.

Поднявшійся на закатѣ вѣтеръ относитъ звуки ихъ легкихъ шаговъ.

У пустой сушилки, открытой настежь, но еще съ прошлаго года пропитанной запахомъ табака, стоитъ Зяма.

Рядомъ—маленькій, хрупкій блондинъ. На немъ, какъ на Горленкѣ, куртка и высокіе сапоги. На головѣ студенческая фуражка. Но это ничего не доказываетъ... Это въ модѣ. И всѣ парубки на селѣ носятъ такія же фуражки.

У него породистое, тонкое лицо, съ русой дѣвственной бородкой. Глаза поэта. Бѣлыя, маленькія руки барича, не знавшія тяжелаго труда.

— Нѣтъ, мнѣ нравится такая жизнь,—говоритъ онъ на языкѣ «кацаповъ».—Я люблю цвѣты.

— Вы же ничего не понимаете въ садоводствѣ!—рѣзкимъ гортаннымъ голосомъ, на жаргонѣ перебиваетъ Зяма.

— Почему вы такъ думаете? Я много читалъ... По крайней мѣрѣ, знаю настолько, чтобъ оградить себя отъ подозрѣній... Сейчасъ я изучаю жизнь орхидей. (Зяма сердито фыркаетъ.) Нѣтъ, это интересно! У цвѣтовъ такая сложная жизнь! Такая таинственная душа!.. Вы не читали Метерлинка?.. Да, вѣдь вы не любите его...

— Теперь не время читать эту ерунду!—перебиваетъ Зяма. И въ голосѣ его горитъ страсть.—Ахъ, вы меня очень огорчаете, Янъ!.. Что сдѣлалъ съ вами городъ за эти полгода!.. Я молился на васъ. Готовъ былъ цѣловать край вашей одежды...

— Мнѣ это не нужно, Измаилъ!.. Я врагъ фетишизма.

Зяма внезапно настораживается...

Дѣвушки приближаются. Ихъ прячетъ высокій лѣсъ рѣзко пахнущей конопли. Но имъ слышно все...

— Я очень усталъ,—говоритъ Янъ своимъ мягкимъ, почти женственнымъ голосомъ.—Не судите меня строго, Измаилъ!.. Не имѣть полгода пристанища, каждую минуту ждать ареста и смерти... Вы лучше всякаго другого могли бы понять мою психологію... Мнѣ надо отдохнуть... Повѣрьте, если-бъ не Штейнбахъ...

— Янъ!.. Тише!

Какъ клещами хватаетъ Зяма руку товарища. Его черные глаза съ звѣриной остротой пронизываютъ мглу.

Двѣ фигуры выплыли изъ сумрака полей. Теперь онѣ рядомъ.

Всѣ четверо вздрагиваютъ и стоятъ неподвижно...

Янъ приподнимаетъ фуражку. Зяма не двигается.

Одно мгновеніе...

Съ легкимъ восклицаніемъ дѣвушки идутъ дальше. Почти бѣгутъ...

— Кто эти прелестныя дѣвушки? — задумчиво спрашиваетъ Янъ.

— У прелестныхъ дѣвушекъ есть тоже уши,—отвѣчаетъ Зяма сквозь стиснутые зубы.—Что слышали онѣ? И чего не слыхали?

Янъ гордо качаетъ головой.

— Женщина не можетъ быть предательницей!—говоритъ онъ съ убѣжденіемъ.

---

Дядюшка повезъ барышень въ Липовку осмотрѣть паркъ и пàлацъ, если молодого хозяина нѣтъ.

На полдорогѣ, между двумя усадьбами, лежитъ проклятое мѣсто. Ни одинъ хохолъ не пройдетъ ночью мимо. Это небольшая дубовая роща на кручѣ глинистаго обрыва. Когда-то тамъ нашли удавленника. Никто его не призналъ. Было ли это убійство или самоубійство, осталось тайной.

Тѣло похоронили на опушкѣ рощи. И поставили надъ безыменной могилой печальный черный крестъ.

Когда заря огнемъ охватываетъ небо, онъ—высокій и жуткій—четко рисуется на горизонтѣ. И кажется еще выше... Когда же мѣсяцъ серебритъ степь, невольно вспоминается *Страшная месть*... Вотъ-вотъ крестъ зашатается. Мертвецъ встанетъ изъ могилы. И съ воемъ подыметъ къ мѣсяцу костлявыя руки...

Подъ горой — яръ. Тоже проклятое мѣсто. Тамъ прудъ-ставокъ... Когда-то рѣка. Съ лѣсомъ камышей, съ холодными ключами, съ глубокими, предательскими ямами на днѣ... Но купаться негдѣ, кромѣ этого пруда. И потому каждый годъ тамъ тонутъ и дѣти и скотъ.

У рѣшетки парка коляска останавливается.

— Можно?—спрашиваетъ дядюшка сторожа.

Тотъ срываетъ фуражку и стремительно кидается высаживать щедраго пана.

— Хозяина нѣтъ?—спрашиваетъ дядюшка, охорашиваясь.

— Ждемъ съ минуты на минуту, ваше благородіе... Изъ Кіева ждемъ... Вы ужъ извините... Въ пàлацъ нельзя сейчасъ... Въ паркъ пожалуйте!

Маня сразу теряетъ даръ слова. Она не могла себѣ представить, чтобъ въ глуши Малороссіи были такія зданія.

— Итальянецъ архитекторомъ былъ... Это стиль XVIII-го

столѣтія,—объясняетъ дядюшка.—Помните, дѣвочки, художника Борисова-Мусатова?.. Я вамъ показывалъ въ прошломъ году, въ журналѣ. Онъ рисовалъ вотъ такіе же дворцы вдали, между двумя стѣнами столѣтнихъ аллей...

Вся широкая дорога между липами, ведущая къ дому,—сплошной коверъ изъ цвѣтовъ. Посрединѣ высоко бьетъ фонтанъ изъ рога, который держитъ мраморная улыбающаяся нимфа.

— А въ оранжерею можно?—спрашиваетъ дядюшка.

— Пожалуйте... Тамъ новый садовникъ покажетъ.

— Ахъ, дѣвочки, какія тутъ орхидеи! Покойный Штейнбахъ былъ человѣкъ со вкусомъ. Онъ любилъ все рѣдкое... Этотъ домъ онъ купилъ у Нелидовыхъ, когда тѣ разорились. Все было запущено. Здѣсь росъ бурьянъ, вмѣсто этой гвоздики и левкоевъ... А въ паркѣ теперь какія дивныя экзотическія породы! И подумать, что все это великолѣпіе досталось человѣку, который даже не живетъ здѣсь... И пріѣзжаетъ, какъ гость!

— А гдѣ же онъ живетъ? Гдѣ?

— Это космополитъ, Маничка... Нынче въ Москвѣ, завтра въ Венеціи, а тамъ въ Лондонѣ... Счастливецъ! Никому не завидую такъ, какъ ему... Ой, берегите ваши сердца, дѣвчурки, если когда-нибудь его встрѣтите! Онъ красивъ... До непріятности...

— Кра-сивъ?.. Ты развѣ его видѣлъ, дядя?

— Видѣлъ разъ. На званомъ обѣдѣ, у покойнаго старика.

— Онъ жидъ,—говоритъ Маня, морща носъ.—Жиды не могутъ быть красивы.

— Обскурантка!—смѣется дядя и грозитъ ей пальцемъ.

Въ оранжереѣ пріятный полусвѣтъ. Душно отъ запаха какихъ-то цвѣтовъ... Садовникъ возится надъ кадкой, сидя на корточкахъ.

— Эй, послушайте! Любезный!—говоритъ дядюшка тягучими барскими интонаціями.—Гдѣ у васъ тутъ орхидеи?

Садовникъ оглядывается и встаетъ. У него породистое лицо съ русой дѣвственной бородкой. Глаза поэта. Бѣлыя, маленькія руки барича, не знавшія тяжелаго труда.

У Мани большіе глаза. И зрачки разлились отъ волненія. Она локтемъ толкаетъ Соню. Та густо вспыхиваетъ. Она тоже узнаетъ незнакомца.

— Идите за мной,—говоритъ онъ мягко и властно. И самъ идетъ впереди.

Какія чудища! Безобразныя туфли дрожатъ на высокихъ стебляхъ. Разноцвѣтныя бабочки, казалось, задремали надъ цвѣточнымъ горшкомъ!.. Странныя, чуждыя гигантскія насѣкомыя прильнули къ вѣткѣ... Все что хотите, только не цвѣты!.. Самая причудливая фантазія не могла бы создать такихъ загадочныхъ контуровъ, такихъ разнообразныхъ красокъ.

Нѣжнымъ голосомъ, съ сухими жестами маленькихъ рукъ, садовникъ объясняетъ, называя каждую породу по-латыни. Онъ говоритъ такъ красиво и поэтично, описывая особенности этихъ таинственныхъ растеній, какъ бы раскрывая передъ людьми темную душу цвѣтовъ,—что дядюшка пораженъ. Дѣвушки глядятъ, не отрываясь, въ его лицо. Затихшія, взволнованныя...

— Вы говорите о цвѣтахъ, какъ о людяхъ?—тихо замѣчаетъ Соня.

Онъ смотритъ ей прямо и просто въ зрачки. И его глаза какъ будто свѣтятся.

— Да. Для меня они ближе,—отвѣчаетъ онъ.

Странная пауза, полная значенія, мгновенно наступаетъ въ душной оранжереѣ послѣ этихъ простыхъ словъ.

Дядюшка сконфуженъ. Мелочь, которую онъ приготовилъ, чтобъ дать на-чай, тихо звякаетъ, опущенная вновь на дно кармана.

— Вы... учились садоводству?—спрашиваетъ онъ.

«Фу, чортъ! Какой глупый вопросъ!» думаетъ онъ тутъ же.

— Вы здѣсь недавно?

— Да,—холодно, нехотя звучитъ отвѣтъ.

Еще секунду стоятъ они, растерянные... Потомъ дядюшка первый вѣжливо приподнимаетъ панаму.

— Благодарю васъ!—робко говоритъ Соня.

Садовникъ полнымъ достоинства жестомъ касается фуражки. И недвижно глядитъ имъ вслѣдъ.

— Миколай Сергѣичъ!.. Гдѣ вы тамъ?.. Миколай Сергѣичъ!—кричитъ какой-то мальчикъ, подбѣгая къ оранжереѣ.—Васъ въ контору просятъ... Сѣмена привезъ Хведоръ изъ города...

— Сейчасъ...

Дядюшка и дѣвушки слѣдятъ горячими глазами, пока тотъ, кого звали Яномъ и Николаемъ Сергѣевичемъ, легкой, эластичной поступью идетъ черезъ дворъ.

Маленькій, изящный, хрупкій...

— Какая прелесть!—говоритъ Маня.—Развѣ вы не видите, что это переодѣтый принцъ?

И онѣ хохочутъ, вспоминая: «Эй вы, любезный!»

— Мнѣ начинаетъ казаться иногда, что мы не живемъ, а спимъ. И видимъ сны,—говоритъ Маня въ паркѣ.—Не правда ли, дядюшка? Этотъ «принцъ»... А потомъ нашъ рабочій Искра... Вы его замѣтили? Онъ тоже, какъ переодѣтый. И не кажется ли вамъ, что это только прелюдія къ какой-то фееріи?

Дядюшка тихонько щиплетъ ее за щеку.

— Умна! Что говорить!.. Только какъ бы въ этой фееріи насъ всѣхъ черти не унесли!

Они цѣлый часъ бродятъ по парку, любуясь деревьями. Громадный склепъ съ могилой Штейнбаха поражаетъ воображеніе Мани. Это какая-то индійская пагода, облицованная мраморомъ. А внутри пирамида цвѣтовъ. На стѣнѣ вѣнки съ надписями. Серебряные, фарфоровые, лавровые, изъ вѣтокъ пальмъ, съ лентами и надписями. Въ глубинѣ портретъ покойнаго во весь ростъ. На груди его ордена, русскіе и иностранные... Надменное бритое лицо съ хищнымъ профилемъ и развитыми надбровными дугами... Зоркіе и молодые глаза слѣдятъ, какъ живые, за всѣми движеніями чужихъ.

— Хорошъ какъ портретъ!

— И лицо интересное!—говоритъ Маня.

Всѣ они невольно понижаютъ голосъ.

— Да, это былъ крупный человѣкъ. Плебей. Но талантливый плебей, всѣмъ обязанный одному себѣ. И онъ былъ недюжинной личностью. Весь край онъ держалъ въ рукахъ. И дѣлалъ много добра... Что это за похороны были! Весь уѣздъ на поминки съѣхался. Губернаторъ изъ Чернигова, многіе журналисты изъ Кіева, помѣщики... Да, онъ умѣлъ жить. И шибко жилъ... И любилъ женщинъ, дѣти мои. И зналъ въ нихъ толкъ... А въ это имѣніе онъ былъ влюбленъ... Онъ на него ухлопалъ около милліона. Эхъ, жаль! Нельзя намъ въ палацъ! Тамъ шкафчикъ у него есть рѣзного дуба. Съ изображеніемъ Благовѣщенія. Работы XIII-го столѣтія... Церковная утварь... Ему полмилліона за него предлагалъ Базилевскій. Не отдалъ.

Они медленно обходятъ громадный, какъ озеро, прудъ, съ островками, гротами, мостиками и лебедями.

— Усталъ... Сядемъ!—говоритъ дядюшка.

— Тсс!.. Кто-то поетъ!—шепчетъ Маня.—Можетъ быть, опять изъ феерiи?

Они ждутъ... По гравiю звучатъ чьи-то шаги. Легкiе, рѣшительные, полные какого-то неуловимаго ритма.

По аллеѣ, за поворотомъ, закрытымъ густыми деревьями, шагахъ въ пятидесяти отъ скамейки, идетъ женщина. Вотъ она повернула... Она поетъ звонкимъ, вѣрнымъ голоскомъ какую-то длинную любовную пѣсню.

«Сейчасъ кончитъ», думаетъ дядюшка. «Увидитъ насъ и сконфузится...»

Онъ самъ весь неуловимо подтягивается. Его глаза зорко глядятъ на незнакомку.

Но она поетъ... Она идетъ все ближе. Маленькая, худенькая, какъ дѣвочка. Съ короткими вьющимися волосами и блѣднымъ лицомъ... «Chiffonné»... мгновенно опредѣляетъ дядюшка. У нея короткая верхняя губа, и мелкiе зубы хищно блестятъ. У нея свѣтлоголубые большiе глаза, которые презрительно щурятся.

Она положительно игнорируетъ сидящихъ. И продолжаетъ пѣть, какъ будто она одна въ этомъ паркѣ. Ни одинъ мускулъ не вздрагиваетъ въ ея лицѣ, когда изъ-за поворота она выходитъ на прямую аллею. Ни на шагъ не ускоряется ея походка, пока она подходитъ къ скамьѣ. Звонко и холодно выговариваетъ она слова любви. И медленно проходитъ въ своей старенькой юбкѣ и ситцевой кофточкѣ. Задумчивая и далекая... Какъ бы отгородясь стеклянной стѣной отъ этихъ ненужныхъ ей людей. И все также тверды и ритмичны ея мелкiе шаги. Также спокойно лицо. Также вѣрно звучитъ высокiй голосокъ...

Она скрывается за слѣдующимъ поворотомъ.

— Фу ты! Ну ты!—говоритъ дядюшка, комично разводя руками. Всѣ смѣются. Но всѣ сконфужены.

Незнакомка произвела впечатлѣнiе.

— Какъ она великолѣпна!—смѣется Маня.

— Нѣтъ! Она мнѣ нравится!—говоритъ Соня.—Надо имѣть большое мужество, чтобы пройти такъ мимо чужихъ людей... Всякiй замолчалъ бы на ея мѣстѣ...

— Эге! Мы, очевидно, для нея—не люди...

Въ глубинѣ души дядюшка непрiятно пораженъ.

— Чѣмъ же мы хуже ея? Чѣмъ?—сердится Маня.

— Буржуи, ma chère! Это ясно...

Соня вспыхиваетъ. Маня хлопаетъ въ ладоши.

— Дядюшка, какъ вы думаете, кто это?

— Думаю, что это новая фельдшерица въ больницѣ Штейнбаха. Я слышалъ, что она пріѣхала... Кацапка...

— Навѣрное она,—шепчетъ Соня.

Они идутъ обратно, къ коляскѣ, которая ждетъ ихъ за чугунной рѣшеткой.

Ахъ, эта рѣшетка! Какая красота эти темныя, строгія линіи и золоченый гербъ наверху!

— Вотъ за что цѣню старика. Не польстился на моду. Не поставилъ рѣшетку въ стилѣ moderne... Знаете, дѣти мои, откуда взятъ этотъ узоръ? Всѣ старинные замки Франціи обнесены точно такой оградой. И Тюльери, и Версаль...

Сторожъ вдругъ почтительно срываетъ шапку.

Какая-то фигура выходитъ изъ нижняго этажа палаца и идетъ медленно, какъ призракъ, по цвѣтнику, залитому вечерней зарей.

Они видятъ передъ собой странное, мертвенно-блѣдное лицо, съ темной курчавой, длинной, какъ у Моисея, бородой. Сѣдина сверкаетъ въ ней серебряными нитями, какъ и на курчавыхъ вискахъ. На головѣ бархатная шапочка. Черты правильны, тонки, рѣдкой красоты. Безкровныя руки опираются на палку. Голова опущена. На высокой, костлявой и сутулой фигурѣ надѣтъ длинный черный сюртукъ, застегнутый наглухо. На ногахъ туфли.

Есть что-то неживое, что-то безстрастное и далекое во всей этой фигурѣ. Какъ будто это восковая кукла... Безцѣльность чувствуется въ этой походкѣ...

— Бенъ-Акиба?—шепчетъ Маня.

— Хуже... Вѣчный жидъ...

Маня не можетъ объяснить себѣ, какое странное предчувствіе охватываетъ ее. Эта черная фигура, безстрастно движущаяся по залитому солнцемъ цвѣтнику, подъ алыми лучами зари, среди этой сверкающей красоты... Какой жуткій контрастъ!

Вотъ онъ поровнялся съ ними и поднялъ глаза. На мгновеніе,—на одно только мгновеніе эти огромные, черные, какъ бы бездонные глаза—безъ блеска и мысли—останавливаются на лицѣ Мани... Но она вздрогнула. Она слѣдитъ за этой черной фигурой, согбенной, какъ бы раздавленной незримымъ призракомъ горя, сидящимъ на ея плечахъ... Она уже видѣла

эти глаза... Да!.. Да... Какъ это ни странно! Она уже видѣла ихъ гдѣ-то...

— Кто это? — шопотомъ спрашиваетъ Соня, садясь въ коляску.

Когда экипажъ поворачиваетъ на липовый проспектъ, черный призракъ медленно скользитъ по аллеѣ. Голова опущена попрежнему на грудь. Но сторожъ все еще стоитъ, вытянувшись... И мгновенно, какъ бы подъ палочкой волшебника, на дворѣ и близъ службъ смолкаетъ и цѣпенѣетъ многочисленная дворня. И провожаетъ призракъ застывшимъ взглядомъ.

— Кто это? — повторяетъ Соня нервнымъ напряженнымъ шопотомъ.

— Это дядя молодого Штейнбаха. Братъ его покойной матери... И племянникъ поразительно похожъ на него! Не правда ли, какая романтическая фигура?

— Дядюшка, но почему у него такіе глаза? Почему онъ такой... (Соня ищетъ слова.) Не живой, что ли? Вы замѣтили его походку?.. Онъ не такой, какъ мы.

— Немудрено... Это ты вѣрно подмѣтила... Вся семья его была убита въ Одессѣ, въ погромѣ. И онъ сошелъ съ ума...

Маня блѣднѣетъ... Она старается что-то понять. Что-то вспомнить...

Черныя крылья тоски опустились надъ ея душою...

Всю дорогу обратно они молчатъ.

## XI.

Маню съ тѣхъ поръ тянетъ къ усадьбѣ Штейнбаха неодолимая сила.

Какая-нибудь верста, не больше, отдѣляетъ Лысогоры отъ Липовки. Тамъ, гдѣ кончается лысогорскій паркъ, канавой отдѣленный отъ большой дороги, стоитъ плетень. Во многихъ мѣстахъ онъ уже обвалился. На углу видна старая, развалившаяся бесѣдка. Плакучая береза опустила свои зеленыя руки и почти закрыла въ нее ходъ.

Маня любитъ изъ этой бесѣдки глядѣть на башни бѣлаго дома, на темныя купы парка... Ихъ раздѣляетъ ровная степь.

Изъ бесѣдки виденъ также черный крестъ. Поэтому никто, ни господа ни дворня, не ходитъ въ эту сторону. И Маня чувствуетъ, что это ея царство. Она не любитъ, чтобъ даже Соня сюда заглядывала. Тутъ у нея коврикъ на мшистой скамьѣ,

табуретка для ногъ, книги. Любимые стихи Бодлэра, Верлена, Альфреда Мюссе въ подлинникѣ. Она взяла ихъ изъ библіотеки дядюшки.

Все это остается на ночь.

Въ знойный день, когда воздухъ раскалился, дрожитъ и видимо для глаза струится; въ этотъ часъ, когда весь домъ послѣ обѣда погружается въ сонъ, Маня сидитъ въ своей бесѣдкѣ и мечтаетъ.

Какіе-то шаги звучатъ за плетнемъ... Два голоса...

— Зяма,—говоритъ невидимая женщина.—Ты измѣнилъ нашей партіи. И теперь тебя ждетъ только горе...

— Молчи!.. Ты ничего не понимаешь въ моей душѣ... Я былъ дружинникомъ... Я отдавалъ вашему комитету отчетъ, когда въ N***скѣ было вооруженное возстаніе... Я ихъ всѣхъ видѣлъ вблизи. И лучше-бъ я ихъ не видалъ!.. Нельзя считать ружья, когда тебѣ стрѣляютъ въ лобъ... Тутъ нужно самому кидаться и хватать врага за горло... Такъ? Теоріи и программы безсильны, когда пожаръ охватилъ страну... А были ли вы готовы къ отпору? Гдѣ была ваша программа будущаго? Ваши лозунги? Вы шли за толпой, а не она за вами. Мало того... Вы даже не сумѣли итти съ нею вровень. И тормозили дѣло...

— Зяма, тебя ослѣпляетъ ненависть... Мнѣ больно тебя слушать...

— А! Тебѣ слушать больно... А каково мнѣ было въ тюрьмѣ, отдавъ свободу за ваше дѣло, въ такіе-то дни—биться головой о стѣны и подсчитывать ваши ошибки?

— Не ты одинъ былъ въ тюрьмѣ... И кичиться тебѣ нечѣмъ...

— Все равно!.. Но тебя и твоихъ могло утѣшить сознаніе, что вы, какъ стадо, слѣпо шли за пастухомъ и не имѣли выбора... А что утѣшитъ меня? Меня? (съ дикой страстью срывается у Зямы). Кто вернетъ мнѣ эти потерянные дни?.. Развѣ можно надѣяться, что такая эпоха повторится?.. Моя душа горѣла отъ ненависти и тоски, пока вы ссорились, итти въ думу, не итти въ думу... И сбивали и деморализовали вашими распрями простой народъ... Вы спорили изъ-за власти. Вы дѣлили шкуру медвѣдя, который гулялъ въ лѣсу... А когда я потерялъ цѣлый годъ въ этой глуши—изъ-за васъ же,—у меня вмѣсто сердца въ груди остался раскаленный уголь... А вмѣсто души горсть пеплу...

Они садятся на дорогѣ, подъ плетнемъ, на старую дубовую корягу, въ тѣни каштана.

— Ты сошелъ съ вѣрной дороги, Зяма... Я тебѣ это говорю, потому что мы были еще дѣтьми дружны. И я любила тебя... Ты знаешь, какъ я еще дѣвочкой мечтала быть твоею!

— Молчи, Роза!.. Мнѣ не нужны женщины... Я не ищу любви... И я отрицаю семью...

— Ахъ! Да развѣ теперь я жду чего-нибудь для себя? Но твоя измѣна нашему дѣлу раздираетъ мнѣ душу...

— Не смѣй такъ говорить! Какая измѣна? Передъ кѣмъ у меня обязанности? Кто смѣетъ накладывать на меня руку? Это твоя рабская душа говоритъ въ тебѣ. А я освободился... Только заблужденіе могло меня заставить служить вамъ...

— А развѣ теперь ты не рабъ Яна?

Коротенькая пауза. Маня вздрагиваетъ всѣмъ тѣломъ... Нѣтъ! Теперь она не уйдетъ... Нѣтъ!.. Теперь она будетъ слушать...

— Лжешь!.. Я не рабъ Яна... Хотя я за него готовъ отдать жизнь! Это правда...

— Ха!.. Ха!.. Видишь? Ты создалъ себѣ новаго господина. А свободы у тебя нѣтъ, какъ не было и прежде... Но не даромъ Карлъ Марксъ былъ еврей, а Бакунинъ русскій. Одинъ все созидалъ. Другой призывалъ къ разрушенію. Евреи, идущіе не за нашей партіей, идутъ противъ своей природы... Предоставь славянамъ зажигать міръ кровавымъ бредомъ! И выродившимся баричамъ служить анархизму...

— Ты сама знаешь, что Янъ заочно приговоренъ къ висѣлицѣ. И живъ только чудомъ... Какъ можешь ты говорить о немъ съ презрѣніемъ?.. Ты?!

— Я не уважаю экспропріаторовъ! Они уронили дѣло революціи...

— Ха!.. А вы ее поддерживали, провозглашая священнымъ чувство собственности? И топча насъ въ грязь?

— Довольно, Зяма!.. И ради Бога, говори тише!..

— Такъ будь послѣдовательна и отрекись отъ меня! Винная лавка въ Колтоновщинѣ—дѣло моихъ рукъ!

— О, Боже!—вырывается вопль ужаса.—И Янъ былъ съ тобой?—звучитъ черезъ секунду глухой шопотъ.

— Нѣтъ!.. Нѣтъ!.. Его не было со мною... Былъ другой...

— Это Янъ послалъ васъ?

— Рабская душа!.. Насъ никто не посылаетъ! Мы сами

идемъ, за свой страхъ и рискъ... И если гибнемъ, то гибнемъ добровольно... И безъ сожалѣній...

— Ты—убійца, Зяма?.. Что изъ тебя сдѣлали люди!.. Боже мой! Могла ли я это думать?

— И опять ты ошибаешься!.. Мы никого не убивали... Мы только защищались. Кто виноватъ, что людямъ собственная жизнь менѣе дорога, чѣмъ чужая собственность?

— Ша-а-а!.. У меня голова закружилась... Пойдемъ отсюда!.. Мнѣ страшно, Зяма, за тебя!.. И у деревьевъ, быть-можетъ, есть уши... Теперь твоя гибель—вопросъ времени. О, Боже мой!.. Какой кровавый бредъ!..

Шаги ихъ звучатъ и смолкаютъ.

Маня выходитъ изъ бесѣдки. Лицо ея блѣдно. Она глядитъ горячими глазами на дорогу къ Липовкѣ. Трагическій шопотъ Розы дрожью наполняетъ ея душу.

---

Маня исхудала за одну недѣлю. Глаза стали больше и горятъ лихорадкой. Она влюблена.

Да, да!.. Какъ это ни странно!.. Если любовь—это мечты о другомъ день и ночь... Если любовь—это жажда слышать голосъ, видѣть лицо, руки и движенія... Если любовь—это жажда быть вмѣстѣ и разорвать мракъ, ревниво прячущій отъ насъ чужую душу,—то это любовь...

Впервые лицо незнакомца, ѣхавшаго по дорогѣ, годъ назадъ, на закатѣ солнца; лицо ангела съ неумолимымъ взглядомъ—блѣднѣетъ и заслоняется другимъ лицомъ, породистымъ и тонкимъ, съ глазами поэта.

Манѣ надо теперь видѣть Яна! Во что бы то ни стало!.. Надо говорить съ нимъ!.. Она пойдетъ въ Липовку, прямо въ оранжерею... И скажетъ...

Что она скажетъ?..

А пока она сидитъ у креста, въ проклятомъ мѣстѣ, на опушкѣ рощи. Отсюда ей видны крыши дворца и всѣ, кто ѣдетъ или идетъ въ усадьбу... Съ книгой въ рукѣ она лежитъ на травѣ и внушаетъ Яну, чтобъ онъ вышелъ за ограду.

Все тихо. Только скрипятъ гуси, бѣлыми пятнами раскидавшіеся въ ярѣ, по болоту. Ярко подъ солнцемъ сверкаетъ поросшая аиромъ вода ставка. Четко чернѣетъ полусломанный крестъ на блѣдносинемъ небѣ.

Маня такъ задумывается, что не слышитъ легкихъ шаговъ въ рощѣ. Вдругъ она оглядывается и вскрикиваетъ...

Передъ нею Янъ.

— Я васъ напугалъ? Простите!—говоритъ онъ, снимая фуражку и кланяясь съ жестомъ свѣтскаго человѣка.

Она садится и натягиваетъ юбку на обнажившіяся до колѣнъ ноги въ черныхъ чулкахъ. Ярко горятъ ея щеки. Ея глаза похожи на звѣзды. И Янъ захваченъ этой красотой.

— Нѣтъ... Да... Я испугалась... Я ждала васъ оттуда!

Она киваетъ на усадьбу.

— Вы меня ждали?

Безграничное удивленіе въ дрогнувшемъ голосѣ Яна. Его глаза темнѣютъ. И легкая краска обжигаетъ скулы.

Теперь Маня не знаетъ, куда дѣться отъ стыда... Вдругъ, съ свойственной ей смѣлостью, она экспансивно смѣется. И говоритъ, глядя Яну въ глаза:

— Да... Я давно васъ жду... Сядьте!

Янъ садится, улыбаясь.

«Какая чудная, дѣтская улыбка!..» думаетъ она.

Долгая пауза. Маня жадно и наивно разсматриваетъ его лицо, руки, уши, губы, ноздри... Онъ весь нравится ей. Весь! Онъ похожъ на хрупкаго пастушка изъ севрскаго фарфора... Сначала онъ сконфуженъ ея любопытствомъ. Потомъ, съ той же улыбкой, начинаетъ разглядывать ея лицо и фигуру.

Она хохочетъ. Смѣхъ ея звонкій, сверкающій, жизнерадостный...

«Она похожа на разбитую весломъ волну въ солнечный день... Когда каждая чешуйка искрится и сверкаетъ золотомъ...» думаетъ Янъ.

— Я жду...—говоритъ онъ тихонько. И въ его голосѣ такъ много ласки, что Манѣ чудится, будто онъ коснулся ея щекъ.

— Я васъ знаю!—говоритъ она торжественно.

— Я тоже васъ знаю...

— Нѣтъ... Я не такъ... Я знаю вашу тайну...

О, какъ хорошо, что ни одинъ мускулъ не вздрагиваетъ въ его лицѣ при этихъ словахъ ея!

— Вы—переодѣтый принцъ... ха!.. ха!.. И зовутъ васъ Янъ...

Онъ продолжаетъ улыбаться. Только глаза его щурятся и становятся холодными, какъ металлъ... Браво!.. Другіе поблѣднѣли бы, но не онъ... Онъ не можетъ быть, какъ всѣ!

— Ахъ! Я еще и другое знаю о васъ... Совсѣмъ невѣроятное... Вы... атаманъ разбойниковъ... И... живы только чудомъ...

Они молчатъ, глядя въ зрачки другъ другу.

Вдругъ Маня обнимаетъ свои колѣни руками. Кладетъ на нихъ голову и умоляюще, съ погасшей разомъ душой, говоритъ, какъ провинившееся дитя:

— Не сердитесь на меня!.. Я подслушала это нечаянно... Измаилъ говорилъ съ Розой, и я не все поняла... Но, когда я услыхала ваше имя... я уже не могла не слушать... Но вы не бойтесь меня!.. Я умѣю молчать... Ни въ дѣтствѣ, ни теперь, въ гимназіи—никто не зналъ, о чемъ я мечтаю. И чего хочу... Вы не сердитесь? Вы не сердитесь?

Она протягиваетъ руку. Янъ съ прежней улыбкой даетъ ей свою.

«О, какое чудное прикосновеніе!» думаетъ она.

— Будемъ знакомы... Хотите?—спрашиваетъ она горячими звуками.—Приходите сюда каждый день!.. Я буду васъ ждать... Да?.. Ахъ, если-бъ вы знали, какъ я мечтала о встрѣчѣ съ вами! Какое счастье, что вы пришли!.. Но это все равно!.. Если-бъ нынче вы не пришли сюда, завтра я пошла бы сама въ оранжерею... Ну, сядьте!.. Ближе!.. Что вы такъ смотрите на меня, Янъ?.. Ахъ, да!.. Можно ли васъ такъ звать?

— Наединѣ,—говоритъ онъ, улыбаясь.

Ея рука, обнаженная выше локтя, въ кисейномъ рукавѣ, худенькая и смуглая дѣвичья рука, безсознательно тянется къ нему. И онъ также безсознательно, повинуясь неодолимому обаянію, беретъ эту руку, держитъ въ своей. И тихо пожимаетъ ее.

Изъ груди Мани вырывается счастливый вздохъ.

Любовь пришла внезапно, какъ весенняя гроза... Сейчасъ одинъ бѣглый взглядъ, одно робкое прикосновеніе даютъ больше счастья, чѣмъ дастъ впослѣдствіи цѣлая жизнь съ бурной гаммой ея ощущеній.

И этихъ минутъ не забыть никогда!

— А вы развѣ меня знаете?—вдругъ спрашиваетъ Маня.—Знаете?

— Знаю,—шопотомъ отвѣчаетъ онъ.

— Кто же я? Кто?

— Вы?.. Сказка...

Она смѣется съ восторгомъ.

— Я зналъ васъ еще въ дѣтствѣ, когда читалъ Андерсена... Я и теперь люблю его читать.

— Я тоже... Помните сказку о *Русалкѣ*? Вы похожи на этого переодѣтаго принца...

— У меня нѣтъ его жестокости. Я не могъ бы разбить сердца *Русалки*.

— Какъ? Вы развѣ не жестокій?.. Нѣтъ?

— Нѣтъ...

Маня немножко разочарована.

— А какъ же?.. Да... Какъ же это Измаилъ говорилъ, что васъ ждетъ висѣлица? За что же это? Значитъ, вы не убивали людей?

— Я убивалъ ихъ по необходимости. Защищаясь. Какъ убиваютъ во всякой борьбѣ...

Маня вздыхаетъ съ удовлетвореніемъ.

— А много людей вы убили? Много?

Янъ улыбается.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ... Сколько?

— Какое вы дитя!.. Я не считалъ.

Маня довольна. Передъ нею настоящій преступникъ. Безъ фальсификаціи.

— Вотъ Измаилъ жестокій!.. И я не люблю его...—говоритъ она безъ всякой логики.—Бѣдная Роза!.. (Это она уже думаетъ вслухъ. И отвѣчать ей не обязательно.)

Они долго молчатъ, глазами лаская другъ друга. Улыбаясь довѣрчиво и радостно. Кругомъ глубокая тишина, какая бываетъ только въ степи. Иногда только донесется наверхъ всплескъ воды и скрипъ гусей.

— Какъ хорошо!—срывается у Мани.

— Сколько вамъ лѣтъ?—спрашиваетъ онъ, все не выпуская ея руки.

— Скоро минетъ восемнадцать... Черезъ годъ я кончу курсъ... И пріѣду сюда... Вы будете здѣсь черезъ годъ? Будете?

— Не знаю.

Его лицо печально. И сердце Мани сжимается.

— У васъ есть мать, Янъ?—тихонько спрашиваетъ она.

— Есть.

Грусть звучитъ въ его голосѣ! О, какая грусть!

— Вы любите ее?.. Да?

— Я далъ ей много страданій. И она не вѣритъ въ мою любовь...

Маня задумывается. Ей вспоминается дѣтство. Лицо прекрасной женщины, нѣжно склонившейся надъ нею... Потомъ, по неуловимой ассоціаціи, встаетъ въ ея памяти безкровное

лицо чернаго призрака, плывшаго беззвучно по аллеѣ Липовки... Почему вспомнился онъ?.. Какъ странно!

Она проводитъ рукой по глазамъ съ невольной дрожью.

Гдѣ-то на церковной колокольнѣ бьютъ часы. Тягучіе плывутъ звуки...

Янъ встаетъ. У него уже другое лицо, другіе глаза. Робко цѣлуетъ онъ руку Мани. А у нея духъ занимается отъ счастія.

— Намъ надо разстаться, Марія... Марія...

— Нѣтъ... Нѣтъ!.. Зовите меня Маней!

— Сюда сейчасъ придетъ Измаилъ... Я не хочу, чтобъ онъ васъ видѣлъ!.. Вы пройдете вотъ этой тропой... Пойдемте, я покажу вамъ...

— А вы придете завтра? Придете? Непремѣнно? Когда?

— Въ это время,—мягко отвѣчаетъ онъ.

Взявшись за руки, они идутъ.

— До свиданья, Маня!—говоритъ онъ.

— До завтра, Янъ!.. До завтра!..

## XII.

О, какая чудная жизнь!.. Это сны наяву.

Они вмѣстѣ каждый день, съ двухъ до четырехъ. Тайна сближаетъ ихъ. Маня держитъ слово. Даже Соня не можетъ понять, чѣмъ полна ея душа и ея дни? Почему такъ измѣнилось выраженіе ея лица?

Они теперь сидятъ рядомъ, плечо къ плечу. И постоянно говорятъ о литературѣ. Янъ приноситъ книги и читаетъ вслухъ. Янъ читаетъ очень своеобразно, скандируя слова. Какъ-то ритмично и однообразно. Но получается впечатлѣніе чего-то нереальнаго. Далекаго и полнаго печали. И Маня это цѣнитъ.

Янъ любитъ только модернистовъ. А изъ поэтовъ Брюсова и Блока. Все это ново для Мани. Она теперь читаетъ *Перевалъ*, *Золотое Руно*. И ей, какъ Яну, другіе журналы кажутся скучными.

— А вы читаете *Санина*?—спрашиваетъ она разъ, прерывая чтеніе.

— О, да. Съ огромнымъ интересомъ. А вы?

— Тоже читаемъ потихоньку... Здѣсь выписываютъ этотъ журналъ. Къ счастью, большіе не добрались еще до этого романа. Имъ лѣтомъ некогда читать... А дядюшка интересуется только классиками... Знаете, я ненавижу Санина!.. Какое онъ животное!

— Въ этой книгѣ, Маня, я вижу яркій протестъ противъ

закаменѣвшихъ моральныхъ цѣнностей. И, какъ таковой, этотъ романъ имѣетъ общественное значеніе.

— Какая странная эта Соня!.. Споритъ, будто Санинъ уважалъ женщинъ!

— Это правда. Здѣсь больше сказано въ защиту личности, чѣмъ во всей западно-европейской литературѣ. Ваша Соня меня интересуетъ.

---

— Можно сѣсть такъ?—одинъ разъ спрашиваетъ Маня. И кладетъ ему голову на плечо.

Янъ робко обнимаетъ ее. И она явственно слышитъ, какъ стучитъ его сердце.

Книга лежитъ, забытая на травѣ. А они, закрывъ глаза, слушаютъ свою душу.

Одинъ разъ Маня кладетъ руку на *Золотое Руно*. Это значитъ: довольно читать!

— Мнѣ хочется васъ спросить...—шепчетъ она.

— Спрашивайте!

— Вы любили кого-нибудь, Янъ?.. Вы любили кого-нибудь такъ... какъ Фалькъ любилъ женщинъ?

— Нѣтъ,—звучитъ твердый и нѣжный голосъ.—Никогда!

— Ахъ! Какъ это хорошо! Я это чувствовала... Вы не такой, какъ онъ... Какое счастье!.. Янъ... Поцѣлуйте меня!..

Она сама въ непреодолимомъ порывѣ обхватываетъ его шею худенькими руками. И, закрывъ глаза, подставляетъ ему лицо.

Онъ нѣжно цѣлуетъ ея щеку... Но, какъ ни робко это прикосновеніе, оно обжигаетъ ее. Съ крикомъ она падаетъ ничкомъ въ траву. И слезы счастья бѣгутъ изъ ея глазъ.

— Маня... Милая Маня!.. Я... разочаровалъ васъ?—испуганно спрашиваетъ онъ.

Его тонкія брови изогнулись въ горестномъ изломѣ. Онъ насильно старается повернуть къ себѣ ея лицо.

— Нѣтъ! Нѣтъ!.. Я люблю васъ, Янъ!.. О, какъ я люблю васъ!—говоритъ она. И съ беззавѣтной страстью, наивной и примитивной, какъ пѣсня птицы, прижимается къ его груди.

---

Въ комнатѣ Яна, свѣтлой и чистой, у окна сидитъ Зяма и нервно грызетъ ногти.

Шелъ дождь, и его грязные сапоги наслѣдили на полу. И это удручаетъ его. Ему ненавистна эта чистота, среди которой онъ чувствуетъ себя чужимъ. Болѣе того... Привычки Яна,

его культурность, за которыми Зяма видитъ цѣлую полосу прошлаго, таинственную, полную невѣдомыхъ ему переживаній,—несказанно раздражаютъ его. Онъ зоветъ ихъ *панскими*. И въ это слово вкладываетъ всю желчь своей мятежной души.

Янъ запоздалъ. Самъ назначилъ ему прійти сюда... И почему его нѣтъ?

Въ углу, на шесткѣ, сидитъ молоденькая сова. Каждый разъ, какъ Зяма пошевельнется, сова начинаетъ наклонять справа налѣво и слѣва направо свою круглую головку, съ лицомъ кошки... Точно насмѣхается, подлая!.. Ея слѣпые желтые глаза упорно, не мигая, глядятъ въ лицо чужого. И Зямѣ жутко...

Вотъ входитъ Янъ. Плащъ его мокръ. Но глаза свѣтятся сосредоточенной радостью. Отъ одного взгляда на эти глаза сердце Зямы сжимается. Какая острая боль!.. Почему Янъ счастливъ?.. И почему онъ молчитъ?.. Зяма хотѣлъ бы самъ создать ему всѣ радости жизни... И теперь онъ страдаетъ.

— Я выпачкалъ вашъ полъ... Извините!—угрюмо говоритъ онъ, грызя ногти.

— Это ничего... Будемъ пить чай!—ласково отвѣчаетъ Янъ. И зоветъ подростка Гриця, который въ сѣняхъ раздуваетъ самоваръ.

Янъ подходитъ къ совѣ, гладитъ ея головку и сажаетъ птицу себѣ на плечо.

— Откуда у васъ эта дрянь?—спрашиваетъ Зяма.

— Ахъ, это цѣлая исторія!.. Я страдаю безсонницей, а въ паркѣ по ночамъ кричатъ совы... Какъ это ни странно, представьте!.. Но я боюсь ночного крика совы... Я по природѣ мистикъ... Словомъ, мнѣ такъ дѣйствовалъ на нервы этотъ крикъ, что я рѣшилъ подстрѣлить ихъ... И, дѣйствительно... попалъ вотъ въ эту бѣдняжку... Она еще совсѣмъ молоденькая... Но когда я услыхалъ, какъ она бьется на травѣ... вы не повѣрите, Измаилъ... Мнѣ стало такъ жаль ее!.. Я принесъ ее домой... У нея была прострѣлена вотъ эта лапка. Я выходилъ ее... И теперь она ручная... И не хочетъ улетать.

— Какая сантиментальность!—Губы Зямы кривятся.

— Что дѣлать! Я очень люблю животныхъ... Охота, какъ всякое безцѣльное убійство, вызываетъ во мнѣ отвращеніе.

— А людей вы любите, Янъ?—глухо спрашиваетъ Зяма.

— Да... Но не тѣхъ, которые живутъ сейчасъ. Я люблю тѣхъ, которые придутъ когда-нибудь... Смѣлые, свободные, гармоничные... Но я люблю дѣтей.

Они долго молчатъ.

— Откуда у васъ Бодлэръ?—спрашиваетъ Зяма, враждебно дотрогиваясь до книги въ роскошномъ переплетѣ, съ тиснеными золотомъ иниціалами.

— Изъ библіотеки Штейнбаха. Онъ отдалъ мнѣ ключи. Это очень цѣнная библіотека, Измаилъ. Я люблю читать въ той комнатѣ... Хотите, я покажу вамъ ее? Я тамъ въ обществѣ аристократіи духа. Единственной аристократіи, которую нельзя отрицать... Кстати, мнѣ надо перемѣнить книгу.

Зяма съ ненавистью передергиваетъ плечами.

— Вы отказываетесь итти со мною?—холодно спрашиваетъ Янъ.—Если вамъ не интересно, я не настаиваю.

— Нѣтъ, отчего же?.. Пойдемте...

---

Въ огромной, свѣтлой комнатѣ, заставленной высокими дубовыми шкафами, за стеклами дремлютъ цѣлыя толпы томовъ. Нога тонетъ въ коврахъ. Въ каминѣ пылаетъ огонь.

Зяма стоитъ у окна и грызетъ ногти. Онъ инстинктивно избѣгаетъ подойти къ этимъ глубокимъ кресламъ, манящимъ къ покою. Какъ будто его ждетъ ловушка.

Янъ погружается въ созерцаніе французскихъ книгъ XVIII-го столѣтія, въ переплетахъ изъ свиной кожи, съ тусклыми остатками позолоты на корешкахъ.

— И васъ не возмущаетъ, что этимъ владѣетъ одинъ человѣкъ?—сквозь зубы спрашиваетъ Зяма.

— О, да!.. Принципіально, конечно... Какъ всякаго коммуниста... Но я не могу подавить трепета души, когда держу въ рукахъ подлинный томъ Руссо. И оттого, что онъ еще недоступенъ массамъ, для меня онъ не теряетъ своей цѣнности. Пусть въ этомъ нѣтъ логики! Но я такъ чувствую...

— И здѣсь всегда горитъ огонь?—вдругъ, безъ всякой, казалось бы, послѣдовательности спрашиваетъ Зяма.

Но какая-то тайная мысль зажглась въ его неподвижныхъ зрачкахъ.

— Всегда... Отецъ Штейнбаха очень цѣнилъ эти сокровища. Отъ сырости книги погибаютъ.

— И отъ огня тоже...

Зяма какъ бы думаетъ вслухъ. Но Янъ быстро оборачивается и глядитъ ему въ лицо.

И, какъ бы отвѣчая на этотъ нѣмой вопросъ, Зяма поднимаетъ голову и встрѣчаетъ холодный взглядъ Яна... И содрогает-

ся отъ восторга... Да!.. Такимъ вотъ онъ любитъ Яна! Именно такимъ... Далекимъ, холоднымъ, чуждымъ людскихъ страстей и слабостей...

— Вы, Янъ, слышали, конечно, о недавнемъ пожарѣ?.. Сгорѣла клуня у Горленко со всѣмъ хлѣбомъ...—шепчетъ Зяма, весь блѣднѣя.

Зрачки Яна вспыхиваютъ.

— Это сдѣлалъ я...

— Ваше признаніе безполезно... Я и такъ это понялъ... Надо быть осторожнымъ, Измаилъ! Вы совсѣмъ не обладаете конспиративностью... Вы говорите о себѣ и о другихъ въ чужихъ домахъ... даже на улицѣ. Наши тайны должны умирать съ нами... Я давно хотѣлъ васъ предупредить...

Глаза Зямы загораются. Но онъ не рѣшается разспрашивать... Ему мгновенно вспоминается разговоръ съ Розой. И его сердце падаетъ... Не за себя. За Яна.

Теперь онъ тихъ, какъ дитя.

Когда они выходятъ изъ библіотеки, навстрѣчу имъ шагаетъ высокая согбенная фигура въ черномъ.

Неживые, бездонные глаза скользятъ безучастно по молодымъ лицамъ и устремляются вдаль. Походка и жесты полны безцѣльности.

— Какой жуткій! — говоритъ Зяма, передергивая плечами.—Еще одинъ безполезный человѣкъ!.. Янъ, знаете ли вы, что у этого маніака въ Москвѣ—магазинъ старыхъ вещей и рѣдкостей, которыя онъ копилъ всю жизнь?

И голосъ Зямы вздрагиваетъ.

Янъ молчитъ. Его лицо холодно.

---

За самоваромъ, въ своей комнатѣ, онъ говоритъ медленно и вѣско.

— Измаилъ... Я прошу васъ не касаться Штейнбаха... И всего, что ему дорого...

— Почему? Почему?—глухо вскрикиваетъ Зяма.

— Мнѣ очень нравится этотъ человѣкъ. И я цѣню его отношеніе ко мнѣ... Ему я обязанъ бѣгствомъ и тѣмъ, что я живъ еще... Такія услуги не забываются.

— Янъ, Янъ! Не говорите такъ!—страстно срывается у Зямы, и онъ прижимаетъ къ груди съ умоляющимъ жестомъ свои темныя руки.—Умоляю васъ, не говорите такъ!.. Вы не знаете...

— Я знаю, что ни одинъ человѣкъ не рискнулъ бы дать мнѣ пріютъ теперь... А онъ это сдѣлалъ... Благодаря ему, я смогу закончить мой трудъ... мою книгу... Онъ дастъ мнѣ деньги на нашу общину, о которой я такъ давно мечтаю... Онъ сдѣлаетъ еще больше. Онъ издастъ за границей мою книгу... Этотъ вѣнецъ моей жизни...

Зяма бѣгаетъ по комнатѣ, схватившись за голову. Сова съ плеча Яна тревожно слушаетъ его шаги, качая головкой, и провожаетъ незрячими глазами всѣ его движенія.

— Янъ,—глухо, задыхаясь, говоритъ Зяма. Онъ подходитъ и хватаетъ руку товарища.—Молю васъ!.. Подождите... Не унижайтесь до этой просьбы!.. Я обѣщаю достать вамъ эти деньги!.. Я уже далъ вамъ для начала... Я достану еще... Не отнимайте у меня этой радости—класть первому камни для зданія будущаго... Вы убьете меня, Янъ, если откажетесь ждать!

— Сядьте, Измаилъ! Не надо волноваться... Вы слишкомъ истерично относитесь къ тому, что требуетъ серьезнаго къ себѣ отношенія. И выслушайте меня... Я терроръ признаю, какъ крайность, какъ неизбѣжное зло. Безцѣльныя убійства мнѣ ненавистны... Не въ этомъ идея анархизма, Измаилъ... Надо бороться не съ отдѣльными людьми, а съ идеями, царящими надъ міромъ. Надо разрушать старыя догмы. Надо биться за душу человѣка. Такимъ путемъ, разрушая старое, созидаешь новое. Вотъ мой идеалъ. Я хочу творить. Хочу строить для будущаго, а не сѣять безцѣльную смерть... У васъ трагическая душа, Измаилъ. Мятежная и мрачная душа... Изъ великой философіи, полной такой лучезарной красоты и свободы, вы восприняли только призывы къ насилію и мести. Крайность жестокой необходимости вы взяли, какъ идеалъ... Мнѣ жаль васъ!

У Зямы вырывается жестъ отчаянія. Но Янъ продолжаетъ, какъ бы ничего не замѣчая:

— Я уже не разъ говорилъ вамъ, какъ я стремлюсь основать ту идеальную ячейку, ту маленькую ассоціацію людей, которая будетъ дѣломъ любви и справедливости. А ваши руки пахнутъ кровью, Измаилъ... Я не хочу для себя пролитой крови!

Зяма, какъ бы обезсиленный, садится у стола и прячетъ голову въ рукахъ.

Сова успокаивается. Ея круглые, желтые глаза мигаютъ. Она тоже слушаетъ Яна.

— Скажите, что толкнуло васъ на поджогъ у Горленко?.. Но будьте правдивы! Прошу васъ!

— Я не буду лгать... Личная месть...—отвѣчаетъ Зяма разбитымъ голосомъ.

— Месть?.. Странно... За что?

— Ахъ, не знаю!.. Это впечатлѣнія дѣтства... А ихъ не вытравишь изъ души... Паны смѣялись надъ отцомъ и обижали его. Я чувствовалъ ихъ презрѣніе еще ребенкомъ... И страдалъ... Невыносимо страдалъ, Янъ! Вы, панычъ, этого никогда не поймете... Вы не знаете, что значитъ быть паріей... Быть жидомъ...

Янъ тихонько кладетъ свои тонкіе пальцы на руку Зямы. Тотъ вздрагиваетъ и затихаетъ... Лицо у него блѣднѣетъ и становится жалкимъ.

— А пожаръ въ Дубкахъ?—послѣ долгой паузы властными звуками спрашиваетъ Янъ.

— Нѣтъ... Не я... Это былъ, какъ я думаю, стихійный взрывъ... Хотя, конечно, не обошлось безъ агитаторовъ... Одного изъ нихъ вы знаете... Это вашъ послѣдователь... Рабочій Искра... А душой поджога была *она*.

— А!..

---

Маня спрашиваетъ Яна:

— Вы вѣрите въ Бога? Вы вѣрите въ загробную жизнь?.. Ахъ, какъ я люблю быть у всенощной! Слушать пѣніе! Стоять въ полумракѣ... Такъ далеко уносишься отъ земли!.. Я никогда не молюсь, Янъ... Я только перестаю себя чувствовать...

— Это счастье,—говоритъ Янъ серьезно.

— Да!.. Особенно хорошо здѣсь, въ сельской церкви. Какія трогательныя лица у крестьянъ, когда они молятся!.. Какое должно быть наслажденіе такъ вѣрить, какъ они!

Янъ обнимаетъ ее. Его бородка касается ея щеки. И дрожь несознаннаго желанія бѣжитъ по ея тѣлу. Онъ нѣжно гладитъ ея волосы. Онъ говоритъ странно-проникновеннымъ голосомъ:

— Я вѣрю въ будущую жизнь. Но только здѣсь, на землѣ... Я вѣрю въ прекрасную, гармоничную жизнь безъ рабства. И въ человѣка, безъ повязки на глазахъ. Съ взоромъ, устремленнымъ ввысь. Съ душой, радостной, какъ это утро... Только для этой мечты, Маня, я жилъ. И творилъ...

---

Маня только что ушла изъ рощи. И въ оранжереѣ, куда прошелъ Янъ, чтобы полить цвѣты, его уже ждетъ Зяма.

— Сколько денегъ надо вамъ для коммуны?—спрашиваетъ

онъ какъ-то нехотя, прислонясь плечомъ къ двери и съ презрѣніемъ глядя на царство красокъ.

— Много, Измаилъ... Рублей пятьсотъ, я думаю, хватитъ для начала.

— Когда будутъ деньги, уѣдемте въ Америку, Янъ! Или въ Англію... Ахъ, какъ постыло мнѣ все здѣсь! Съ самаго дѣтства постыло...

— Нѣтъ, Измаилъ! Царство любви и мира я хочу основать именно здѣсь, на вашей очаровательной родинѣ. Малороссы поэтичны. И души ихъ способны быстро воспламеняться. Это будетъ мой первый опытъ... Потомъ я уйду дальше...

— Но, вѣдь, вамъ нельзя здѣсь оставаться!

— Почему? Меня здѣсь никто не знаетъ.

Они долго молчатъ. Слышно, какъ журчитъ вода изъ насоса. Какъ жадно пьютъ изнемогающіе цвѣты.

— А чѣмъ вамъ нравится Штейнбахъ?—спрашиваетъ Зяма такимъ тономъ, какъ будто они все время говорили только о Штейнбахѣ.

— У него красивая душа. Душа арійца... Я не люблю еврейскія души, Измаилъ. Ихъ много среди насъ, христіанъ. И вы должны понять, что̀ я хочу этимъ сказать.

— Душа! Ха!—злобно перебиваетъ Зяма.—Есть ли она у него? Сомнѣваюсь!.. Если душа—наличность вѣры, темперамента, убѣжденій, то у него нѣтъ души, говорю вамъ! Въ юности онъ былъ сіонистомъ. Въ дни революціи онъ примкнулъ къ с.-д...

— Онъ и теперь с.-д.

— Ха!.. Такъ почему же онъ не считаетъ васъ врагомъ?

— Поставьте этотъ вопросъ и мнѣ, Измаилъ! Будьте послѣдовательны!

— Какой с.-д. будетъ давать такія суммы на наше дѣло? А потомъ я знаю, что Надежда Петровна...

— Кто?!

— Ну, все равно!.. (Зяма ярко вспыхиваетъ и машетъ рукой.) Анна Николаевна, что ли... тоже считаетъ его своимъ... А ужъ, кажется, она-то ни съ какой стороны не примыкаетъ къ с.-д...

— Она бакунистка,—нѣжно и задумчиво бросаетъ Янъ.

— Вы смѣетесь надо мной, Янъ? Какой же с.-д. станетъ скрывать у себя бакунистку, которую ищутъ по всему уѣзду? Рискуя за это собственной шкурой?

— Вы и это, кажется, ставите ему въ вину?

Зяма вспыхиваетъ и теряется на мгновеніе.

— Я не люблю людей, которые не знаютъ, чего хотятъ... И куда идутъ...

Янъ поднимаетъ голову. Онъ стоитъ теперь подъ роскошнымъ панданусомъ и вдумчиво глядитъ на его странные листья.

— Цѣльные люди цѣнны, Измаилъ. Вы правы. У нихъ не дрогнетъ рука передъ местью. Они не знаютъ колебаній передъ труднѣйшимъ подвигомъ самоотреченія. Они умираютъ, улыбаясь... Да, они цѣнны... И замѣтили вы, Измаилъ? Такіе люди, съ низкими лбами, съ твердо-сжатыми губами, никогда не смотрятъ вверхъ. Здѣсь, на землѣ ихъ миссія... Это ангелы смерти.

Онъ смолкаетъ, задумавшись. Подавшись впередъ, полуоткрывъ губы, трепетно внимаетъ ему Измаилъ. Онъ ждетъ. Отъ напряженія мысли капли пота выступаютъ на его лбу.

— Но только въ двойственныхъ, тоскующихъ и жадныхъ душахъ... въ людяхъ, чьи взоры устремлены по ту сторону горизонта,—заложены всѣ возможности. Только въ нихъ дремлетъ сила творчества. Жизнь—это броженіе... Вотъ почему, когда человѣкъ кристаллизовался, я уже ничего не жду отъ него. Я теряю къ нему интересъ...

Зяма вздрагиваетъ внезапно. Какъ будто невидимая рука дернула внутри его пружину.

— Понялъ... Понялъ теперь!.. Вы надѣетесь завербовать Штейнбаха?

Янъ подымаетъ голову. Глаза его жестки.

— Я этого не говорилъ.

Мучительная боль искажаетъ черты Зямы. Безсознательно онъ берется за голову.

— Почему вы думаете, Измаилъ, что я разсматриваю міръ сквозь призму какихъ-то обязательныхъ догмъ?.. Какъ сильна еще въ васъ старая закваска!

Зяма поворачивается, чтобы уходить.

— У него пустая душа!—говоритъ онъ сквозь зубы.— Пустая, какъ мѣшокъ, изъ котораго высыпали жито... Онъ отдалъ женщинамъ свои силы. Онъ былъ съ юности развратникомъ. А теперь онъ банкротъ...

Янъ молчитъ... Вода ласково журчитъ, стекая ручейками на полъ. Цвѣты тяжело дышатъ въ влажномъ, неподвижномъ воздухѣ...

Зяма хлопаетъ дверью. Въ его душѣ ночь.

## XIII.

Маня говоритъ:

— Вы любите Гамсуна?

— Очень...

— Знаете, Янъ? Когда я прочла *Пана*, мнѣ не хотѣлось жить... Какое животное этотъ Гланъ!

— Почему?

— Если онъ любитъ Эдварду, зачѣмъ онъ цѣлуетъ и зоветъ къ себѣ эту Эву, жену кузнеца? Развѣ можно любить двухъ въ одно и то же время?.. Онъ даже хуже Санина. Тотъ, дѣйствительно, никого не любилъ... Янъ... Охъ! Мнѣ страшно... Я сейчасъ задамъ одинъ вопросъ... Дайте руку! Слышите, какъ бьется мое сердце?

— Я жду,—глухо говоритъ онъ. И глаза его загораются.

— Янъ.. Неужели *всѣ* вы... такіе, какъ Гланъ?

— Нѣтъ, Маня... Не всѣ.

— Ахъ, Янъ!.. Милый Янъ! Какъ хорошо!.. Моя душа была такъ отравлена!.. Что можетъ быть хуже сомнѣній! Я съ дѣтства мечтала о вѣчной любви. Я плакала надъ стихами о Тоггенбургѣ... Я обожаю Данте за его чувство къ Беатриче. И вдругъ Гланъ, Фалькъ... Эта противная Карсавина, которую берутъ, какъ вещь... И она не возмущается, не протестуетъ? Любя другого!.. Другого, Янъ! Я чувствовала, что меня окунули въ грязь... Если *это* любовь, то жить не стоитъ!

Онъ долго молчитъ, задумавшись. И тонкія брови его сдвинуты. И такъ много значенія въ этомъ лицѣ и въ этомъ молчаніи, что сердце Мани падаетъ отъ предчувствія.

— Слушайте меня внимательно, Маня!.. Человѣчество заблудилось въ густомъ туманѣ. Оно такъ привыкло къ сумраку, что боится солнца. Оно трусливо прячется въ стѣнахъ храма, затхлаго и мрачнаго. И по инерціи молится старымъ богамъ... И вотъ родятся великіе художники. Часто безсознательно, однимъ образомъ они свергаютъ кумировъ. Они разрушаютъ стѣны стараго храма... И вотъ вы уже видите тамъ, вверху, клочокъ голубого неба! Да, Маня... Ихъ заслуга въ томъ, что они смѣло рвутъ туманъ, въ которомъ блуждаютъ наши души, и кричатъ намъ: «Вотъ солнце! Глядите!.. Пусть ваши очи слѣпнутъ отъ боли! Все же имѣйте мужество жить съ открытыми глазами!..» Да... Зачастую самъ не вѣдая, художникъ

одной яркой книгой разрушаетъ законы ходячей морали вѣрнѣе, чѣмъ философы и соціологи. Онъ говоритъ съ толпой...

Янъ тихонько цѣлуетъ руку Мани. Ея огромные, тревожные глаза глядятъ ему въ душу. Ея собственная душа раскрыта передъ нимъ, какъ свѣжая чаша цвѣтка.

— Мы переживаемъ странную эпоху освобожденія плоти. Это заря идущаго дня. Это несомнѣнно революціонное движеніе... Высоко поднялась волна мятежнаго духа. Пусть на волнѣ вскипаетъ гребень пѣны! Пусть все уродливое и фальшивое ринулось за высокой идеей и хватается за ея знамя!.. Пѣна исчезнетъ. Уродливое отпадетъ. И упавшая волна вынесетъ на берегъ свѣтлый жемчугъ... Не всѣ, Маня, поступаютъ, какъ Гланъ. Но разница лишь въ темпераментѣ и міросозерцаніи. Инстинкты одинаковы. И инстинкты не лгутъ. И... приготовьтесь къ удару, моя маленькая Маня!.. Вѣчной любви нѣтъ.

— О, Янъ!.. Зачѣмъ? Зачѣмъ?

— Ея нѣтъ, если любовь понимать, какъ страсть, какъ желаніе... Не даромъ греки изображали Эроса крылатымъ. Глубокій смыслъ въ этомъ миѳѣ... Привязанность остается. Страсть уходитъ. Наши желанія священны, но у нихъ нѣтъ *завтра*... Любовь, потерявъ желанія, можетъ жить годы, можетъ жить вѣчно, эволюціонируя и измѣняясь. Но то, что давало ей краски,—исчезаетъ, повинуясь загадочнымъ, неуловимымъ законамъ. Гланъ любитъ одну, желаетъ другую. И въ этомъ нѣтъ ни измѣны, ни пошлости, ни грязи... Жизнь, Маня, можетъ поставить предъ вами ту же дилемму. И если вы будете правдивы и смѣлы, вы поступите такъ же...

— Нѣтъ! Нѣтъ!.. Что вы говорите, Янъ?

— Откройте глазки, Маня! Глядите вверхъ!.. Въ васъ говоритъ сейчасъ сектантка и рабыня, которой страшно даже имя свободы... Ахъ, если-бъ у меня была дочь, какъ вы! Я устранилъ бы отъ нея всю современную сантиментальную и лживую литературу мѣщанъ. Я далъ бы ей Кнута Гамсуна, Гейерстама, Мопассана, Боккачіо и наивную литературу среднихъ вѣковъ. Однимъ ударомъ я отнялъ бы у нея всѣ иллюзіи въ самомъ зародышѣ. И этимъ путемъ я повелъ бы ее къ освобожденію... Да, Маня, это тернистый путь! Но это единственный выходъ изъ рабства!

Онъ долго молчитъ. Она шепчетъ, заглядывая въ его лицо.

— О чемъ вы думаете, Янъ?

— Я чувствую вѣяніе грядущей морали... Гдѣ-то въ дремлющихъ глубинахъ человѣческаго духа зарождается эта сила... Новый міръ рѣетъ передо мною... Надо создать этотъ міръ!

## XIV.

Уже близокъ августъ. Скоро надо возвращаться въ Москву.

Каждый день, отъ двухъ до четырехъ, Маня видится съ Яномъ въ рощѣ. Если идетъ дождь, она приходитъ въ его комнату.

Они сидятъ рядомъ, обмѣниваясь нѣжными, робкими ласками. Онъ сдержанъ. Она экспансивна. Она первая цѣлуетъ его и проситъ обнять ее. И ему стоитъ огромнаго труда держать на цѣпи стихійную страсть, толкающую его къ этой дѣвушкѣ.

Они часто читаютъ стихи. А еще чаще молчатъ, наслаждаясь собственными ощущеніями.

— Я всю эту зиму буду мечтать о васъ... Вы будете мнѣ писать?.. Будете?.. Постарайтесь пріѣхать въ Москву!.. Пріѣдете?

— Да. Непремѣнно. Хотя климатъ Москвы мнѣ вреденъ.

— Почему?.. Почему?.. Это не Петербургъ. Тамъ сухо... Тамъ солнце...

Янъ молча улыбается.

---

Янъ сіяетъ. Штейнбахъ далъ деньги. Теперь надо кое-куда съѣздить, кое съ кѣмъ повидаться. Но это потомъ... Когда уѣдетъ Маня. Теперь же дорога каждая минута.

Одинъ разъ, когда Маня выходитъ изъ комнаты Яна, она лицомъ къ лицу сталкивается съ Зямой.

— Что надо здѣсь этой дѣвчонкѣ?—грубо спрашиваетъ онъ Яна, когда тотъ возвращается, проводивъ свою даму.

Запавшіе глаза Зямы сверкаютъ мрачнымъ огнемъ.

— Марія Сергѣевна изучаетъ со мной современную литературу.

Хриплый смѣхъ срывается у Зямы.

— Что ей литература?.. Взгляните на ея губы! На эти чувственныя и грубыя линіи... На эту безстыдную улыбку... Она—женщина... Какое дѣло женщинѣ до творчества и души другого? Царство высшихъ цѣлей ей недоступно... Это самка, которая весной ищетъ свою пару!

Высоко подымаются тонкія брови Яна. И присталенъ его тихій взглядъ.

— Вы, какъ семитъ, презираете женщину и видите въ ней грѣхъ... Вамъ трудно побороть себя. Вамъ трудно дорасти до уваженія къ личности, Измаилъ. А, вѣдь, это фундаментъ будущаго зданія! Какъ же безъ него вы хотите строить?

— Я ничего не хочу строить! Я хочу только разрушать!.. Слышите, Янъ? Только разрушать хочу я! Стройте вы!.. А я очищу вамъ мѣсто на землѣ... Въ этомъ мое призваніе!

Дикимъ вдохновеніемъ горитъ его лицо. И въ это короткое мгновеніе, когда обнажается загадочная сущность души, это лицо становится прекраснымъ.

Но это только мигъ...

Онъ уже опять сидитъ, понурившись, и грызетъ ногти. Глаза его угрюмы.

— Когда эта дѣвушка рядомъ со мною,—задумчиво говоритъ Янъ,—вся моя душа вибрируетъ. Ея мышленіе—это яркій гимнъ жизни... Въ ней такъ много возможностей и обѣщаній!.. Совѣтую вамъ взглянуть въ ея глаза, Измаилъ!.. А потомъ... замѣтили ли вы, что у нея капризныя брови? И лѣвая бровь выше правой?

Янъ мечтательно улыбается, краснѣетъ... И самъ становится похожъ на дѣвушку.

Зяма встаетъ съ потемнѣвшимъ лицомъ.

— Эта дѣвушка будетъ вашей гибелью, Янъ!—говоритъ онъ, выходя.

---

— Отчего вы такъ печальны, Янъ?

— Маленькая Маня... Я только-что шелъ по старымъ, покинутымъ тропамъ... Тяжело возвращаться назадъ, въ густую чащу тому, кто уже вышелъ на опушку... предъ кѣмъ блеснули звѣзды... предъ кѣмъ раскинулась даль...

— Милый Янъ, зачѣмъ же вы туда ходили?

— Я писалъ моей матери, Маня. Она долго считала меня погибшимъ. Быть-можетъ, такъ было лучше для нея? Смерть примиряетъ съ прошлымъ.

— Янъ, что вы говорите! Развѣ ваша мать не любитъ васъ?

— Она думаетъ, что любитъ... Она хотѣла взять мою жизнь и сдѣлать меня рабомъ жалости!.. О, эта жалость! Маня, никогда не давайте этому чужеядному растенію вырасти въ вашемъ сердцѣ!.. Это сорныя травы души! Это плевелы, которые губятъ золотую ниву... Нѣтъ предѣла ея царству! Если-бъ подвести статистику, сколько людей погибло, сколько

возможностей исчезло изъ міра изъ-за этого мертвящаго чувства,—міръ содрогнулся бы отъ ужаса!.. Слабые цѣпляются за ноги сильныхъ и тащатъ ихъ назадъ. Слабые и жалкіе, какъ гиря на ногѣ каторжника, волокутся за нами, тормозя полетъ души, ломая тяжестью своей любви и требованіемъ состраданія—крылья нашей мечты... И сколькіе падаютъ въ изнеможеніи! И умираютъ, не увидавъ земли обѣтованной!.. Не жалость должна двигать міромъ, а справедливость.

— А все-таки вамъ ее жаль, Янъ!.. Я это чувствую.

— Нѣтъ!.. Я проклялъ это чувство. Я вырвалъ его изъ моей груди. Да... Рана до сихъ поръ горитъ. Но это ничего... Кто хочетъ быть свободнымъ, тотъ долженъ рвать всѣ узы! И не глядѣть назадъ!

— Это трудно, Янъ?

— Да, маленькая Маня. Это нелегко... Обнимите меня! Положите вашу ручку на глаза мои... Они горятъ отъ безсонной ночи. Вотъ такъ... Благодарю васъ!.. Какъ хорошо!

---

— О, Янъ! Какъ сіяетъ ваше лицо! Какой вы новый нынче! Вы похожи на зарю...

— Поздравьте меня, Маня!.. Нынче великій день въ моей жизни... Я кончилъ мою книгу.

— Вы пишете книгу?

— Я ее кончилъ... Я почти годъ жилъ ею, радуясь тишинѣ и забвенію... Я отдалъ ей лучшее, что есть въ моей душѣ!.. Знаете ли вы, Маня, власть идеи? Власть книги?.. Нѣтъ границъ ея царству! Нѣтъ предѣла ея дерзновенію... Я умру. Моя мысль будетъ жить... Я бросилъ сѣмя въ землю... И оно будетъ зрѣть въ тиши, пока не пробьетъ его часъ... И даже смерть безсильна теперь прервать мою связь съ міромъ!.. Я побѣдилъ смерть...

## XV.

Идетъ дождь. Маня сидитъ за столомъ, въ комнатѣ Яна. Бѣлоголовый, босой Гриць подалъ самоваръ.

Онъ любитъ Яна, этотъ ребенокъ. И за это Маня любитъ его. Янъ учитъ его грамотѣ и счету. Когда Янъ идетъ по селу, ребята толпой кидаются къ нему и просятъ разсказать сказки.

Зяму всѣ боятся и ненавидятъ.

У Мани на вискахъ и затылкѣ кудри завились еще круче

отъ сырости. Но нѣтъ румянца на щекахъ. И даже глаза потускнѣли.

Грицъ выходитъ, подавъ хлѣбъ и молоко.

— Моя фея плакала?—говоритъ Янъ, прижимая къ своей груди руки Мани. — Развѣ феи знаютъ, что такое слезы? Раутенделейнъ не умѣла плакать, пока не узнала любви.

— Ахъ, Янъ, мнѣ тяжело! Я не спала эту ночь... Мы опять говорили съ Соней о любви... И Соня думаетъ и чувствуетъ, какъ я... Конечно, вы умнѣй... Конечно, вы правы... Но... я не могу чувствовать иначе... Я жажду вѣчной и нераздѣльной любви. Я умру, если разочаруюсь въ васъ, милый Янъ... Если-бъ я узнала, что сюда... приходитъ ночью... какая-нибудь красавица Ганна... Ахъ!.. Я никогда не встрѣтила бы васъ больше!

— Сюда никто не ходитъ, Маня. До встрѣчи съ вами женщины не имѣли мѣста въ моей жизни.

— Да?.. Да?.. О, Янъ!.. Взгляните? Развѣ мои глаза не сіяютъ опять? Точно камень падаетъ съ груди отъ вашей улыбки...

— Женщинѣ трудно освободиться, Маня!—говоритъ онъ съ грустью.

Но она не слушаетъ. Она слишкомъ полна собой. Прижавшись къ его груди, она спрашиваетъ шопотомъ:

— А что такое... развратъ?

— Купля и продажа тѣла и ласки... Какую бы санкцію ни давало общество этой сдѣлкѣ...

— А измѣна, Янъ?

— Есть только одна измѣна, Маня. Измѣна самому себѣ. Какъ есть только одна добродѣтель—не причинять другому зла... Но что такое зло? Если вы нынче разлюбите меня, а завтра полюбите другого, не считайтесь съ моими страданіями! Это не будетъ зло по отношенію ко мнѣ. Отказавшись отъ своего влеченія, вы совершаете зло по отношенію къ себѣ... Маня, все, что я вамъ говорю, это только азбука, которая должна бы стать ходячей истиной. Какъ то, что земля движется, и что мы смертны... Но весь ужасъ въ томъ, что, зная и чувствуя эту истину, люди отъ нея отрекаются... Никто не смѣетъ стать господиномъ своей жизни! Люди бьются за власть, за деньги, за политическія права, за захватъ земли. Женщины добиваются права на трудъ, голоса въ парламентѣ... Никто не думаетъ о томъ, чтобъ стряхнуть цѣпи съ своей

души, чтобъ сорвать путы съ своей жизни. Тысячу лѣтъ жрецы ковали эту цѣпь, чтобъ сдѣлать рабомъ свободно-рожденнаго человѣка. А вы, женщины, покорно цѣлуете и любите ваши цѣпи. Маня... Хотите быть госпожой своей жизни?

— О, да, Янъ!.. Научите меня!.. Я такъ хочу быть счастливой!

— Хорошо... Я дамъ вамъ ключи счастья... Оно лежитъ за семью замками. И бѣдное человѣчество давно потеряло къ нему пути... Слушайте, Маня... Самое цѣнное въ насъ— наши страсти, наши мечты... Жалокъ тотъ, кто отрекается отъ нихъ!.. Изъ страха общественнаго мнѣнія, т.-е. мнѣнія людей, далекихъ и чужихъ намъ; изъ чувства долга передъ близкими, изъ любви къ дѣтямъ и семьѣ—мы всѣ топчемъ и уродуемъ наши души, вѣчно юныя, вѣчно измѣнчивыя, гдѣ звучатъ таинственные и зовущіе голоса... Только эти голоса надо слушать. Только имъ надо вѣрить. *Надо быть самимъ собой!*.. О, не думайте, что это такъ просто! Съ первыхъ шаговъ вашей жизни, завернувъ въ пеленки ваше маленькое тѣльце, любящіе люди уже кутаютъ въ пеленки и вашу пробуждающуюся душу... Индѣйцы уродуютъ новорожденному черепъ повязкой, чтобъ придать ему идеальную форму. Китайцы уродуютъ ступни женщинъ. Мы—культурные люди—продѣлываемъ то же съ душой ребенка... Съ первыхъ дней желѣзная рука ложится на вашу грудь. И до смертнаго часа вы не можете ее сбросить. Вы не смѣете уйти отъ этой опеки. Все за васъ разсчитано, предусмотрѣно, заранѣе рѣшено и втиснуто въ опредѣленныя рамки... Вамъ дано имя, выбрано училище, угадано призваніе, навязаны убѣжденія, намѣченъ путь. Это большая торная дорога. Это путь *всѣхъ*... И когда вы поняли себя, когда вы сами разгадали свое призваніе, поздно!.. Начинать сызнова нельзя! И вы апатично идете по проложеннымъ тропинкамъ, фатально повторяя чужія ошибки... А когда оглянетесь внезапно, молодости нѣтъ. Силы исчезли... Такова жизнь...

— Янъ!.. Это ужасно! Я не хочу такой жизни!.. Это рабство...

— Маленькая Маня, вы это почувствовали... Берегите же этотъ протестъ! Уважайте это возмущеніе!.. Въ немъ все!.. Вотъ ключъ къ освобожденію!.. Не поступайтесь своей мечтой и желаніемъ ни изъ страха, ни изъ долга, ни изъ состраданія! Пусть камни летятъ въ вашу голову за то, что вы имѣете смѣлость говорить, чувствовать и поступать внѣ шаблона!.. Пусть грязью закидаютъ ваше имя! Идите дорогой, которую

вы выбрали! Не бойтесь быть одинокой!.. Пусть гибнетъ изъ-за любви къ вамъ тотъ, кого вы разлюбили! Все равно! Идите дальше, къ завѣтной цѣли: творчеству, искусству, наукѣ, красотѣ... Пусть не дрогнетъ ваша душа отъ стыда или раскаянія!.. Помните: это все звенья старой цѣпи... Если вы утромъ цѣловали меня, а вечеромъ желаніе толкнетъ васъ въ объятія другого, повинуйтесь вашему желанію!.. Знайте, что освобожденіе плоти—это дверь въ храмъ свободы, гдѣ ждутъ васъ иные боги, иные идеалы—выше культа любви!.. Боги свѣтлые и радостные, которыхъ не знаетъ женщина, порабощенная своей страстью... Помните главное: ваше тѣло, ваши чувства, ваша жизнь принадлежатъ вамъ одной... И вы властны сдѣлать съ ними, что хотите... *Но не отдавайте вашу душу любви*! Вотъ вамъ мое завѣщаніе! Изъ вашей жизни сдѣлайте поэму! Пусть она будетъ полна лиризма!.. Или же пусть, какъ стихи Данта, она будетъ гимномъ свободы! Сумѣйте ее красиво прожить!. Поднимитесь на вершины, недоступныя трусливымъ душамъ... И если медленный спускъ въ долину вамъ покажется унылымъ и долгимъ, не забывайте, что смерть въ вашихъ рукахъ... Мы всѣ умираемъ, какъ жалкія животныя, безсмысленно, случайно. Или послѣ долгой болѣзни и агоніи, съ ужасомъ и тоской. А развѣ смерть — не дивная тайна, полная обѣщаній?.. Какъ хорошо уйти изъ міра добровольно, въ зенитѣ жизни! Съ восторгомъ жертвуя ею высшей цѣли... Да, надо умѣть жить красиво. Но еще важнѣе умереть прекрасно... Моя милая Маня! Какими большими, наивными глазами глядите вы на меня! Ваша душа чиста, какъ душа ребенка или дикарки. Васъ не успѣли развратить и изуродовать. Какое наслажденіе сѣять въ этой душѣ! Поцѣлуйте меня, Маня! Я подарилъ вамъ кладъ...

— О, Янъ!.. Если я буду поступать, какъ вы меня учите, буду ли я счастлива?

— Наврядъ ли!.. Но есть цѣль выше, Маня... Вы будете свободны!

## XVI.

Они читаютъ стихи Гиппіусъ:

Улыбь меня тронулъ крыломъ своимъ влажнымъ...

Янъ вдругъ смолкаетъ, блѣднѣетъ и глядитъ въ горячее небо, синѣющее между дубовыми вѣтками.

— Что съ вами?—хочетъ спросить Маня. Но заглядываетъ въ его лицо. И слова замираютъ на ея губахъ.

О, какое дивное, какое странное выраженіе!.. Что видятъ тамъ, высоко, между вѣтками, эти вдохновенные, далекіе глаза?.. Такіе далекіе отъ міра, какъ будто душа Яна слушаетъ звуки небесъ... Какъ будто загадочныя завѣсы пали предъ его мыслью... И онъ постигъ тайну, недоступную землѣ...

Она молчитъ благоговѣйно...

Вдругъ топотъ лошади доносится снизу... Свистъ бича, крикъ мальчика...

Содрогнувшись, Янъ вздыхаетъ... Онъ опять на землѣ.

— Гдѣ вы были, Янъ?—шопотомъ спрашиваетъ Маня.

Онъ глядитъ грустно... О, какъ грустно!

— Я былъ за гранью міра...

Они читаютъ опять. О смерти, о рѣкѣ Стиксѣ... Тѣнью и холодомъ вѣетъ отъ книги въ душу Мани.

— Довольно!—говоритъ она.—Не надо о смерти... Жизнь такъ прекрасна!

Но и въ ея голосѣ скользитъ и прячется тоска.

Въ порывѣ Богъ вѣсть откуда налетѣвшей жалости она цѣлуетъ его глаза, его вѣки... Ей хочется плакать.

— Нынче ночью совы кричали въ паркѣ. И я не могъ заснуть. И... знаете, какъ странно! Моя сова билась крыльями о стекла. Она тоже не спала... Она рвалась на свободу. Я ее выпустилъ... Она улетѣла. И нынче утромъ она уже не вернулась.

— Ну, такъ что же?.. Янъ... Отчего вы... такой... странный?

— Ничего, Маня... Не обращайте на меня вниманія!.. Это пройдетъ... Это нервы...

---

Янъ ждетъ Маню. Она что-то опоздала...

Онъ пришелъ безъ книги. Онъ выспался въ эту ночь и чувствуетъ себя бодрымъ и «гармоничнымъ», какъ всегда. Ему совѣстно, что вчера онъ впалъ въ малодушіе и огорчилъ бѣдную дѣвочку. Что значитъ нервы! Что значитъ вырожденіе!

О, какъ страстно ждетъ онъ ее, чтобъ сказать ей, что онъ любитъ до безумія жизнь! Что онъ пламенно любитъ свою маленькую Маню...

Онъ сидитъ надъ кручей, обнявъ колѣни руками, и глядитъ внизъ, на дорогу. Ослѣпительно сіяетъ солнце въ небѣ и ослѣпительно отражается въ ставкѣ. Звонкіе крики купающихся ребятишекъ доносятся снизу...

Какое нынче небо! Какой воздухъ!.. Откуда этотъ дивный, могучій приливъ жизнерадости и любви?.. Даже сердце трепещетъ отъ счастья! Трепещетъ до боли...

Хочется вскинуть вверхъ руки къ ласковому небу... Громко запѣть... Поцѣловать весь міръ... Этого бѣднаго Зяму, съ его мятежной, трепетной душой... Скорѣе разрядить на что-нибудь эту накопившуюся энергію... Этотъ избытокъ радости и желаній...

Янъ думаетъ: «Обыватели не могутъ любить жизнь, какъ любимъ ее *мы*... Каждая радость въ ней можетъ быть послѣдней. И это сознаніе повышаетъ ея цѣнность. И необычайно обостряетъ жажду счастья...»

«Ахъ, отчего она не идетъ!..»

Онъ весь обращается въ ожиданіе.

Внизу раздаются испуганные крики и вопли:

— Ратуйте!.. Ратуйте!..

«Я не успѣлъ насладиться всѣмъ, что жизнь даетъ человѣку,—думаетъ онъ чрезъ мгновеніе.—Я былъ слишкомъ одностороненъ. И не имѣлъ времени... Конечно, я былъ счастливъ по-своему... Но это уродливо. Надо создавать себѣ красивую и гармоничную жизнь...»

«Черезъ недѣлю Маня уѣдетъ...» Эта мысль вдругъ пронзаетъ его мозгъ и заполняетъ сознаніе.

А крики растутъ. Полуголые ребятишки мечутся на берегу... Кто-то бѣжитъ въ село...

Янъ встаетъ. Точно сила какая-то подняла его съ земли. Прикрывъ ладонью брови, онъ всматривается въ картину суеты. Губы его стиснуты. Взглядъ холоденъ... Уже другой человѣкъ... «Ратуйте!..» вспоминается ему вдругъ недолетѣвшій тогда до сознанія крикъ... Его мускулы напрягаются и дѣлаются стальными.

«Кто-то тонетъ...»

Онъ бѣжитъ внизъ.

---

Маня спѣшитъ на свиданье!.. Какая обида! Пришли сосѣди и задержали съ обѣдомъ. Она сидѣла, какъ на иголкахъ, все время.

У ставка она останавливается, непріятно пораженная.

Какая толпа!.. Зачѣмъ это? Люди нелѣпо галдятъ, размахивая руками. Всѣ глядятъ на воду... Гуси, встревоженные въ своемъ одиночествѣ, обиженно переговариваются скрипу-

чими голосами и толпятся на берегу, за болотомъ. «Ахъ... ахъ... ахъ... ахъ!..» кричатъ утки, хлопая крыльями.

Какая-то баба воетъ, лежа ничкомъ на землѣ...

Маня останавливается внезапно.

— Что такое?—спрашиваетъ она. И зрачки ея разливаются.

— Утонули двое... Найти не могутъ...

— Гдѣ утонули?.. Здѣсь?.. Когда же?

— Сейчасъ... Хведько Одаркинъ и Миколай Сергѣичъ.

Маня не вслушалась... Перекрестившись невольно, она бѣжитъ дальше... Боже мой, какъ она запоздала!

Она поднимается въ рощу.

Какъ странно!.. Яна нѣтъ!..

Почему его нѣтъ?..

Сверху она глядитъ на толпу въ ярѣ. На неподвижную, сіяющую воду ставка... Потомъ идетъ въ усадьбу. Медленно, выжидая...

Когда она подходитъ къ флигелю, навстрѣчу ей бѣжитъ докторъ. Онъ безъ шапки... За нимъ сторожъ.

Люди мечутся по двору и кричатъ что-то, маша руками... Потомъ тоже бѣгутъ въ степь, за ограду...

Далеко гдѣ-то звучатъ крики...

Она отворяетъ незапертую дверь и входитъ въ комнату.

— Янъ?—шепчетъ она, вытягивая шейку...

Все пусто.

Сова глядитъ на нее желтыми глазами.

— Ахъ, она вернулась! Милая!—говоритъ Маня. Она гладитъ сову, потомъ беретъ ее къ себѣ на плечо.

Минуты бѣгутъ... Который же это часъ?

Она встаетъ, оглядываясь. Книга на тумбочкѣ, у постели, лежитъ, раскрытая... Ахъ, это тѣ же стихи...

Упырь меня тронулъ крыломъ своимъ влажнымъ...

И вдругъ вспоминается вчерашній разговоръ... И въ сердце крадется холодъ... «Тамъ утонули дѣти...»

Тоска растетъ, какъ тѣнь на полѣ, когда вѣтеръ гонитъ грозовую тучу. А она ползетъ, поглощая свѣтъ лохматыми лапами.

«Можетъ-быть, онъ уже тамъ?.. Какое безуміе сидѣть здѣсь и ждать!..»

Она спѣшитъ въ рощу.

Но и тамъ его нѣтъ...

А внизу толпа все стоитъ...

И вдругъ инстинктъ толкаетъ ее внизъ... Она спѣшитъ къ пруду... Но сознаніе еще дремлетъ... «Упырь меня тронулъ...» звучитъ въ ея ушахъ.

Эта толпа, безтолково галдѣвшая и метавшаяся полчаса назадъ, теперь угрюма и молчалива... И это страшно.

Но сознаніе еще дремлетъ.

Вдругъ она видитъ лодку. А въ лодкѣ Искру и еще кого-то...

Ахъ, это Зяма!.. Но какой страшный!.. Волосы всклокочены. Разомъ провалились щеки. Глаза сумасшедшіе...

Они плывутъ на середину пруда и погружаютъ багры въ дрогнувшую воду...

Сердце Мани толкнулось въ груди, словно спрашиваетъ: «Поняла?..»

Но мозгъ ея не можетъ принять этого ужаса. Ея мозгъ протестуетъ противъ жестокости и безсмыслицы совершившагося

— Что?. Что?..—вдругъ потерявъ дыханіе, одними глазами, однимъ движеніемъ губъ спрашиваетъ она парубка. И хватаетъ его за рукавъ.

— Утонули...—отвѣчаетъ онъ безстрастно.

Но теперь она даже не спрашиваетъ кто... Все освѣщается разомъ...

Она кричитъ, какъ человѣкъ, сорвавшійся съ крыши. И падаетъ ничкомъ...

---

Она приходитъ въ себя уже дома, на своей постели.

Соня сидитъ въ изголовьѣ. Рядомъ голоса Вѣры Филипповны и дядюшки. Докторъ самъ встревоженъ продолжительностью обморока. Онъ разспрашиваетъ о семьѣ Мани.

— Наконецъ-то!—вскрикиваетъ Соня. И заливается слезами.

Но Маня отталкиваетъ ее и поднимается на постели съ лицомъ маніака.

— Онъ умеръ... Онъ умеръ!—кричитъ она.

— Бѣдное дитя! Какъ она впечатлительна! — говоритъ докторъ.

Маня въ рубашкѣ хочетъ бѣжать изъ дому.

— Я должна его видѣть!.. Пустите меня!.. Я умру!.. Я убью себя... если вы не пустите!

Ее одѣваютъ. Соня и дядюшка въ коляскѣ везутъ ее въ усадьбу Штейнбаха.

Соня начинаетъ догадываться...

---

О, эта сцена въ часовнѣ! Какъ долго будетъ помнить ее Соня!

Какъ часто этотъ крикъ Мани, когда она увидала два трупа,—этотъ истерическій крикъ, полный мистическаго ужаса, будетъ звенѣть въ ушахъ Сони, будя ее ночью, разбивая ея нервы!

Янъ словно спитъ и улыбается... Прекрасно его лицо. И загадочна его улыбка... Въ бѣломъ, грубомъ саванѣ, какъ и маленькій покойникъ, сгубившій его; въ саванѣ, сшитомъ наскоро неумѣлой рукой; съ ступнями, обернутыми въ бѣлый коленкоръ, покорно сложивъ на груди руки, онъ лежитъ на столѣ, подъ образомъ, въ полумракѣ. И красные блики лампадки трепещутъ на его рѣсницахъ и бровяхъ.

Кажется, вотъ-вотъ дрогнутъ вѣки и поднимутся...

Кто-то глухо рыдаетъ въ углу. Какіе раздирающіе звуки!

Это Зяма... Спрятавъ лицо въ рукахъ, судорожно передергивая плечами, никого не видя и не слыша кругомъ, онъ плачетъ такъ, словно погасло солнце, и въ вѣчной ночи утонулъ гибнущій міръ.

Но Маня не плачетъ... Вытянувъ шею, уцѣпившись за руку Сони, застывъ на мѣстѣ, широко открытыми глазами она глядитъ на мертвеца. И дрожь сотрясаетъ все ея тѣло.

*Этотъ* тамъ, съ восковымъ лицомъ—не Янъ...

Не ея Янъ, который вчера цѣловалъ ея волосы... чье сердце билось подъ ея рукой. Вчера онъ улыбался ей, какъ дитя. И, провожая ее, шепнулъ: «До завтра!..»

И это *завтра* никогда не придетъ?.. Никогда?

Да гдѣ же онъ?.. Гдѣ его улыбка? Блескъ глазъ?.. Біеніе сердца?.. Его любовь?

Соня тихонько плачетъ. Она подходитъ къ столу и робко цѣлуетъ тонкую восковую руку.

Маня дрожитъ еще сильнѣе и отодвигается дальше, цѣпляясь за рукавъ дядюшки.

Вдругъ отворяется дверь часовни. Всѣ разступаются.

Высокая согбенная фигура, въ черномъ длинномъ сюртукѣ и съ бархатной шапочкой на сѣдѣющихъ кудряхъ, останавливается на порогѣ. Бездонные зрачки немигающихъ глазъ скользятъ по лицамъ живыхъ... Потомъ замираютъ на профилѣ Яна.

Тихо и глухо стукнуло сердце Мани. И безконечнымъ кажется ей мгновеніе.

Вдругъ мысль зажигается въ бездонныхъ зрачкахъ... Без-

кровное лицо вздрагиваетъ. Онъ подходитъ беззвучно. И торжественно кладетъ руку на голову покойника.

Маня вскрикиваетъ въ неописуемомъ ужасѣ и кидается къ дядюшкѣ.—Уйдемъ!.. Уйдемъ!..

Ея страхъ какъ будто заражаетъ присутствующихъ. Безтолково толкаясь и суетясь, всѣ поспѣшно покидаютъ часовню.

У ложа мертваго остается одинокій старикъ съ угасшей душой.

Оба молчатъ...

Но имъ обоимъ все ясно.

---

О, зачѣмъ опять пробужденіе?.. Вставать, одѣваться, двигаться, говорить?

Яна нѣтъ... Янъ исчезъ...

Куда?..

— Соня... Милая... Закрой ставни!.. Я не хочу жить... Зачѣмъ ты меня разбудила?.. Какой ужасъ—жизнь!.. Какой ужасъ!..

Его схоронили рядомъ съ маленькимъ Хведько, въ паркѣ Штейнбаха. Таково было желаніе хозяина, котораго извѣстили телеграммой.

Похороны были торжественныя, съ пѣвчими и съ поминками. Штейнбахъ пріѣхалъ изъ Москвы, бросивъ всѣ дѣла. И это глубоко поразило обывателей.

Гробъ и ризы на духовенствѣ были бѣлые. И всѣ цвѣты изъ сада и оранжереи легли на грудь того, кто такъ любилъ ихъ...

Дядюшка и Вѣра Филипповна поѣхали въ церковь. Соня осталась съ Маней. Ее, вѣдь, нельзя ни на минуту оставить одну... Ужасъ потрясъ всю ея нервную систему. Ни днемъ ни ночью она не спитъ...

## XVII.

Дядюшка съѣздилъ въ имѣніе Штейнбаха и предложилъ фельдшерицѣ подежурить недѣлю ночью у постели Мани.

И вотъ они стоятъ другъ передъ другомъ... Этотъ сѣдѣющій баричъ и молодая дѣвушка, хрупкая и блѣдная, которая такъ недавно еще пѣла на дорожкѣ парка слова любви.

«Но она навѣрно никогда не знала ея», думаетъ дядюшка, глядя на ея тонкія губы и свѣтлые, холодные глаза. «У нея душа мужчины, несмотря на прелестную ножку и дѣвичій обликъ».

— А чѣмъ больна эта... ваша барышня?

Дядюшка вспыхиваетъ отъ ея тона.

— Если у нея дифтеритъ или скарлатина, я не возьмусь... На мнѣ цѣлая палата дѣтей... Кромѣ амбулаторныхъ.

«Да, она кацапка. Какой у нея пѣвучій голосъ!»

— У Мани нервное разстройство...

— Нервы?..

Нѣтъ, надо видѣть, какъ она усмѣхается! Надо слышать ея голосъ!.. Этого не передашь.

Ноздри дядюшки вздрагиваютъ, и глаза темнѣютъ.

— Да-съ, сударыня... Нервы... Или вы это называете панской блажью? И не считаетесь съ такими сантиментальностями?

Фельдшерица вспыхиваетъ въ свою очередь. Она становится юной, какъ дѣвочка, и удивительно-женственной... И замѣтно, что ей досадно на свое смущеніе.

— Мнѣ некогда было болѣть нервами... Вы меня извините! Это мнѣ дико слушать... Сколько лѣтъ вашей больной?

— Восемнадцатый годъ...

Дѣвушка вдругъ громко и весело смѣется. Безъ малѣйшей злобы... И смѣхъ этотъ такъ звонокъ, что дядюшка самъ смѣялся бы, если-бъ не досада за Маню.

— Ахъ! Я послала бы ее въ поле, на жнитво, вашу больную! Все какъ рукой сняло бы... А чѣмъ же я могу ей помочь?

Дядюшка объясняетъ смущенно... Маня спитъ только, если кто-нибудь сидитъ рядомъ. Стоитъ прислугѣ задремать, она вскакиваетъ, точно отъ толчка, съ крикомъ: «Не спите!.. Ради Бога, не спите! Я сойду съ ума!..»

— Вырожденіе,—роняетъ дѣвушка однимъ уголкомъ губъ. Дядюшка вздрагиваетъ и хмурится.

— Когда имѣешь дѣло съ живымъ человѣкомъ, эти фразы не могутъ утѣшить,—сухо обрываетъ онъ.—Дѣло въ томъ, что мы сбились съ ногъ. И некому теперь глядѣть за Маней! Всѣ измучены...

— Какая распущенность!..

Дѣвушка передергиваетъ худенькими плечами.

— Надѣюсь, вы ей этого не скажете въ лицо?.. Если возьметесь?—вдругъ спохватывается дядюшка, мгновенно понижая тонъ.

— Непремѣнно скажу... если только возьмусь... Это будетъ лучше брома и вашего баловства... Но, откровенно вамъ го-

воря, въ этомъ есть что-то унизительное для меня... И... я... должно-быть...

Дядюшка мгновенно хватаетъ ея руки и покрываетъ поцѣлуями.

— Милая, милая!.. Не отказывайтесь! Слѣдуйте первому движенію души!.. Оно всегда лучшее. Это еще Богъ вѣсть когда Граммонъ сказалъ... Браните Маню! Дѣйствуйте на ея самолюбіе! Быть-можетъ, вы правы. И мы ее губимъ баловствомъ. Не отказывайте!.. Я оплачу по-княжески вашъ трудъ...

Она смущена. Никто до сихъ поръ не цѣловалъ ея рукъ, маленькихъ, загорѣлыхъ, черствыхъ, которыя знаютъ и стирку, и стряпню, и тяжелые массажи... Но при послѣднихъ словахъ она гордо подымаетъ голову.

— Почему вы думаете, что деньги для меня имѣютъ такое значеніе? Я получаю достаточно, чтобы жить безъ нужды...

— А развѣ у васъ нѣтъ... несбыточныхъ желаній?

Онъ, кажется, поймалъ ее врасплохъ.

Она теряется. На одно мгновеніе, правда... Но дядюшка торжествуетъ... Онъ разбудилъ въ ней женщину.

Однако, съ свойственнымъ ему тактомъ и знаніемъ женской души, онъ торопится сохранить это мгновеніе отъ ироніи... Онъ опять почтительно, какъ предъ принцессой, склоняется предъ этой дѣвушкой въ поношенномъ сѣромъ платьицѣ. Небрежно и смѣло беретъ онъ ея дрогнувшую руку и подноситъ къ своимъ губамъ.

— Я жду васъ нынче, Лидія Яковлевна... Я пріѣду за вами въ десять вечера...

И, прежде чѣмъ она успѣваетъ отвѣтить что-нибудь опредѣленное, онъ выходитъ, слегка прихрамывая... Изящный, вкрадчивый, обаятельный... Послѣ него остается въ комнатѣ тонкій запахъ духовъ.

Она невольно подходитъ къ открытому окну и видитъ, какъ онъ садится въ кабріолетъ. Горячая лошадь тронула съ мѣста. Онъ оборачивается и красивымъ жестомъ высоко поднимаетъ шляпу надъ сѣдѣющими кудрями.

— Баринъ!—шепчетъ она. И ея губы кривятся.

А щеки алѣютъ. И взглядъ сталъ далекимъ...

Она не встрѣчала такихъ...

---

Маня хотѣла бы взглянуть на могилу Яна. Но ее умоляютъ остаться. И она подчиняется.

У нея нѣтъ желаній. Ея душа раздавлена.

Зяма пропалъ безъ вѣсти. Его даже не видѣли на похоронахъ. Бѣдная мать его плачетъ, не осушая глазъ.

Плачетъ и Роза. Каждый вечеръ выходитъ она за околицу, гдѣ печально высятся кресты сельскаго кладбища...

И часами глядитъ она на старый трактъ, тянущійся до Кіева.

---

Каждый вечеръ, въ десять часовъ, дядюшка въ кабріолетѣ заѣзжаетъ за Лидіей Яковлевной, въ усадьбу Штейнбаха. Южныя ночи темны. Но дядюшка знаетъ свою лошадь. И знаетъ каждую выбоину въ дорогѣ.

Онъ словно помолодѣлъ. Хрупкая, блѣдная дѣвушка внесла новый интересъ въ однообразную сельскую жизнь. Дядюшка чувствуетъ, что произвелъ впечатлѣніе. И счастливъ этой побѣдой... Что ему—казалось бы—вниманіе какой-то фельдшерицы въ поношенной сѣрой юбкѣ и батистовой кофточкѣ! Развѣ не зналъ онъ любовь красивыхъ, изящныхъ женщинъ, о которыхъ, захлебываясь отъ восторга, пишетъ Поль Бурже?.. Но дядюшкѣ скучно... Теперь же онъ чувствуетъ себя, какъ въ молодости, фехтующимся на рапирахъ съ неопытнымъ, но дерзкимъ и полнымъ темперамента противникомъ. Мускулы напряглись. Рука—какъ сталь. Взглядъ полонъ вызова. Но не упускаетъ ни одной мелочи... Ну-ка! Чья возьметъ?

Но есть еще одна тайная мысль...

Старость...

Она надвигается незамѣтно...

Но, вѣдь, она надвигается.

И такъ жалко жизни!.. Жалко порывовъ, которые еще врываются въ душу... какъ весенній предутренній вѣтеръ въ раскрытое окно.

Онъ никому не сознался бы, что иногда, ночью, сонъ далекъ отъ него. И глаза его влажны...

«Блаженъ, кто смолоду былъ молодъ!»... Да, да, такъ... Но какъ безконечно счастливѣе тотъ, «кто во-время созрѣлъ»...

Кто постепенно жизни холодъ
Съ годами вытерпѣть сумѣлъ...

---

Въ комнатѣ Мани раскрыто окно. Оно заставлено кисейной рамой. Бѣдная дѣвочка крѣпко спитъ, опершись на руку стаявшей щечкой. Наконецъ-то!.. Сколько усталости въ этомъ юномъ личикѣ!

Дядюшка счастливъ. Въ розовую комнатку онъ перетащилъ всѣ журналы, свои гравюры, свою кушетку, пропитанную запахомъ сигаръ. И цѣлую банку варенья изъ персиковъ. Все это для *Лики*... Такъ зоветъ онъ фельдшерицу за-глаза. У него была въ прошломъ любовница, Лидія. И онъ ее звалъ Ликой.

— Ты уже, кажется, увлекся?—смѣется Вѣра Филипповна.

Дядюшка горячо отрицаетъ. Съ какой стати?.. Неужели нельзя оказать бѣдной дѣвушкѣ простого вниманія? Ради Мани она не спитъ ночами. А днемъ работаетъ... Деньгами не вознаградишь за такую услугу. Что деньги!..

— Н-ну!.. Для твоей Лики, я думаю, деньги все!—презрительно обрываетъ Вѣра Филипповна.—Удивительно она противная, надо сознаться! Точно булавка... Такъ и колетъ...

— Кацапка!—коротко и сильно говоритъ Горленко. И въ это маленькое словцо онъ вкладываетъ все презрѣніе хохла къ великоруссу. Всю органическую враждебность двухъ чуждыхъ народностей.

— Мнѣ она нравится,—роняетъ Соня.

— Еще бы! Кто въ этомъ сомнѣвается?—съ вызовомъ подхватываетъ мать. — Чтобъ тебѣ понравиться, нужно только, чтобъ я кого-нибудь назвала антипатичнымъ...

---

Дядюшка немножко разочарованъ.

Онъ узналъ отъ Лики, что она—дочь прачки. И что фамилія ея—Сыромятникова...

— Aflreux, ma chère!—уныло говоритъ онъ Сонѣ.

Та смѣется... Не все ли равно, какая фамилія?.. А что она—дочь прачки, она этимъ въ глазахъ Сони поднялась недосягаемо высоко.

— Сколько надо было характера, чтобъ попасть въ гимназію, кончить съ медалью и стать на ноги!.. Сколько униженій и обиды натерпѣлась она уже съ дѣтства! Не правда ли, Маничка!

Они оба все время стараются втянуть ее въ разговоръ. И никогда не оставляютъ одну.

— Ахъ, теперь все такъ понятно!—говоритъ Соня.—И ея колющій, какъ булавка, взглядъ. И ея презрѣніе къ панамъ. И эта вѣра въ себя... («Она навѣрно с.-д...»)

Это Соня уже думаетъ про себя. Она положительно увлечена. Она грезитъ о дружбѣ съ фельдшерицей. И дядюшка часами говоритъ теперь съ Соней. И слушаетъ ее.

— Есть въ ней что-то, дядюшка... Что-то, не допускающее до сближенія... Вы замѣтили?

— Н-нѣтъ... Н-не думаю... (Дядюшка самъ не чувствуетъ фатовской интонаціи.) Ты сама очень застѣнчива... Это потому... Дѣвушка, какъ дѣвушка... Немножко съ коготкомъ...

Но Соня машетъ на него руками и смѣется.

— Ахъ, дядюшка! Фатишка!.. Какъ вы сами-то подтягиваетесь при ней!.. Вы чувствуете ея силу...

Дядюшка молчитъ, улыбаясь и выпуская кольцами синій дымъ сигары.

— Если-бъ только она не была Кожевниковой!—мечтательно шепчетъ онъ.

Соня хохочетъ и толкаетъ Маню локтемъ. Дядюшка никогда не можетъ запомнить именъ. Это у него пунктикъ.

— Ну, Сапожниковой...—поправляется онъ, краснѣя.

— Сыромятниковой, дядюшка...

— Ахъ, все равно!.. Какая-то пахучая фамилія... Пахнетъ кожею, сапогами... Фи!.. Какъ это грустно! Нѣтъ, ты молода. Ты этого еще не понимаешь... Когда мнѣ было 25 лѣтъ, по дорогѣ за границу я увлекся одной незнакомкой. Она упорно скрывала свое имя... Я почувствовалъ тайну. Кто она? Замужемъ? Вдова? Дѣвушка? Эта тайна сдѣлала то, что мое увлеченіе перешло въ настоящую страсть. Въ какое-то безуміе... Въ Вѣнѣ мы остановились въ одной гостиницѣ... На другое утро я кинулся въ контору навести справки. Увы!.. Это была купчиха... Пятиносова...

— Ха!.. Ха!.. Ха!..—звонко смѣется Соня. И даже на блѣдномъ, апатичномъ личикѣ Мани скользитъ что-то въ родѣ улыбки.

— Не правда ли, какъ возмутительно?.. Ну, пусть Курносова! Безносова даже... Я допускаю... Какъ это ни тривіально. Но Пятиносова?.. Нѣтъ! Я не могъ съ этимъ помириться... Я уѣхалъ въ Венецію въ то же утро. Мы не свидѣлись...

— Бѣдная барынька!—серьезно говоритъ Соня.—Какой вы противный, дядюшка! Не вздумайте этого разсказывать Ликѣ! Она вамъ не проститъ.

Дядюшка не слышитъ. Онъ грызетъ трость и задумчиво щурится вдаль.

Ахъ, теперь онъ не такъ нетерпимъ!.. Жизни осталось такъ мало!.. Старость такъ близка!

---

— Скажите откровенно, Лидія Яковлевна... Вы не очень тяготитесь этими дежурствами?

Онъ спрашиваетъ это, сидя съ Ликой за чашками ароматнаго дымящагося кофе, который онъ самъ искусно варитъ для нея каждый вечеръ. Столикъ красиво убранъ ослѣпительной скатертью, цѣннымъ фарфоромъ. Вкусныя лепешки и домашнія булочки лежатъ въ корзинѣ. Букетъ цвѣтовъ красуется на окнѣ, рядомъ съ журналами. Отъ матоваго шелковаго абажура свѣтъ такъ мягко падаетъ на лица...

Дядюшка тоже не спитъ полночи, стараясь развлечь фельдшерицу. На зарѣ онъ уходитъ. И тогда Лика сладко засыпаетъ на кушеткѣ. А въ восемь дядюшка, свѣжій и элегантный, везетъ ее въ кабріолетѣ, въ Липовку.

— Мы мѣшаемъ ей спать,—въ первый разъ сухимъ шопотомъ сказала она ему, взглянувъ на Маню.

Та неожиданно открыла глаза.

— Нѣтъ, пожалуйста!.. Мнѣ лучше, когда вы говорите...

И отвернулась къ стѣнѣ.

Теперь они не стѣсняются. Они читаютъ вслухъ журналы. Спорятъ... Дѣйствительно, при шумѣ сонъ Мани лучше. Тишина пробуждаетъ ее. Внушаетъ ей ужасъ.

Дядюшка кокетничаетъ своимъ вопросомъ. Можетъ ли дѣвушка, какъ бы ни была сурова и закалена ея душа, чувствовать себя плохо тамъ, гдѣ угадываютъ ея малѣйшее желаніе? Гдѣ такъ краснорѣчиво интересуются ею?

— Здѣсь слишкомъ хорошо,—говоритъ Лика съ странной интонаціей. И передергиваетъ узенькими плечиками.—Когда вспомнишь все пережитое, особенно тюрьму...

— Тюрьму?—Дядюшка хватаетъ ея руки.—Вы были въ тюрьмѣ?

Она вспыхиваетъ и теряется. Даже ея тоненькая, нѣжная шейка заливается кровью.

— Что васъ такъ удивляетъ?

— Дитя мое... Простите! Я слишкомъ взволнованъ... И... я, должно-быть, отсталъ отъ вѣка. Я не чувствую ни зависти ни гордости оттого, что вы уже были въ тюрьмѣ. Къ женщинѣ это не идетъ...

Она задумывается надъ его словами. Она перестала слѣдить за собой. И ласка, которую она чувствуетъ въ его голосѣ и въ непонятныхъ ей рѣчахъ его, волнуетъ и трогаетъ ее. Это такъ ново! Такъ непривычно!..

— Нѣтъ, право, тамъ было хорошо... Даже очень хорошо. Голодно немножко. Но... я съ дѣтства привыкла къ голоду...

Онъ глядитъ на нее молча и нѣжно гладитъ ея руку.

«Какіе у него красивые глаза!» думаетъ она, не отнимая пальцевъ.

— Я помню въ гимназіи одну сценку... Мнѣ было одиннадцать лѣтъ. Тамъ, въ большую перемѣну, учителя и классныя дамы пили чай, а гимназистки завтракали. Нѣкоторыя приносили завтракъ съ собою. Многимъ подавали судки съ горячими котлетами. Это была гимназія для богатыхъ. За всѣми являлась прислуга: няньки, лакеи... За многими гувернантки или матери. Экипажи и свои лошади ждали у дверей... Я училась безплатно... Моя мать стирала на начальницу... Каждый годъ давался балъ и концертъ въ пользу бѣдныхъ ученицъ. Такихъ, какъ я... Изъ этихъ денегъ платили за наше ученіе... О, какъ рано научилась я понимать слово *благодѣтельница!* Какъ всѣ кругомъ старались, чтобы я не забыла о своей бѣдности... что я—нищая... что я—дочь прачки... Особенно старалась начальница, которая меня опредѣлила...

Она передохнула, стиснувъ тонкія губы.

Дядюшка затихъ, боясь шевельнуться.

— Скоро я стала гордостью класса... Къ общему удивленію, я добилась мѣста второй ученицы. Первой мнѣ трудно было сдѣлаться... Я плохо знала языки... Но чего мнѣ стоило учиться!.. Ежегодно учителя печатали учебники. Каждый свой... И стоили они по два, по три рубля... На этомъ они богатѣли. Это была ихъ монополія... Я никогда не имѣла денегъ на учебники. Чтобы учиться, я бѣгала ежедневно на Пятницкую, гдѣ жила богатая и недалекая дѣвочка, преклонявшаяся передо мной. Я ей безплатно помогала заниматься... За это меня кормили вечеромъ. Давали чаю съ булками, и я имѣла учебники. Въ десять вечера я бѣжала домой, въ Грузины... Вы имѣете понятіе, какое это разстояніе?

— Н-нѣтъ...

— Почти что отсюда до Колтоновщины.

— Боже мой!.. Бѣдное дитя!

— Нѣтъ, не жалѣйте меня! Я этого не люблю. Не для того разсказываю я вамъ все это... Если бы не эти ужины и не дружба Кати, я, можетъ-быть, захирѣла бы. Не выдержала. Я хронически голодала... Когда лѣтомъ другія дѣти купались, гуляли, бѣгали въ деревнѣ или на дачахъ, я въ подвалѣ, среди

мыльныхъ паровъ, заткнувъ себѣ уши, учила французскія и нѣмецкія слова... Я хотѣла быть первой. У меня не было тогда другого честолюбія...

— И долго длилась такая жизнь?

— Семь лѣтъ... Я, конечно, никогда не завтракала. Но вотъ мать простудилась и слегла. И мы всѣ—дѣти (насъ было пятеро)—питались однимъ чернымъ хлѣбомъ... И вотъ... не помню ужъ какъ... въ большую перемѣну... я безъ памяти грохнулась на паркетъ, въ залѣ... Очнулась я уже въ учительской. Я лежала на диванѣ... На столѣ стоялъ остывшій самоваръ. Валялись куски калача, остатки ветчины на тарелкѣ, сальная бумага... Мой мозгъ, очевидно, дремалъ еще... Работали одни инстинкты. Я схватила кусокъ калача... И слезы брызнули изъ моихъ глазъ. Тогда... О, какое униженіе!.. До сихъ поръ не могу вспомнить эту минуту!.. Ко мнѣ кинулись съ возгласомъ: «Бѣдняжка!.. Да, вѣдь, это съ нею отъ голода...» Это была учительница географіи... Тутъ же моя классная дама, добрая Ольга Карловна... И нянька... Онѣ ахали, причитали... Я швырнула наземь калачъ и встала... Откуда силы взялись?.. Какъ ни уговаривали меня выпить чаю, я не разжала губъ...

Лика долго молчитъ, щурясь на шелковый абажуръ. Вѣки ея вздрагиваютъ.

Дядюшка даже дышать боится.

— Одинъ разъ, въ перемѣну, ко мнѣ подходитъ учительница географіи... Та самая. Она была строгая, но справедливая и гуманная. И мы, дѣти, презиравшія всѣхъ учителей, боялись ее и уважали. Какъ сейчасъ помню ея лицо... «Милая Сыромятникова», говоритъ она мнѣ... такимъ виноватымъ голосомъ. «Я вамъ принесла мою теплую жакетку... Такіе морозы, а вы ходите въ драповой кофточкѣ!.. Вы простудитесь насмерть... Пожалуйста, возьмите ее! Она мнѣ не нужна...» Вы понимаете меня?

Глаза Лики вдругъ темнѣютъ и загораются... Они какъ бы насквозь пронзаютъ смущенные глаза дядюшки.

— Вы понимаете, что я должна была при этомъ почувствовать?.. Хоть я была ребенокъ и... нищая?.. Отъ оскорбленія у меня духъ захватило... И... со мной сдѣлалась истерика... Разъ въ жизни... Въ первый и въ послѣдній разъ... А она не поняла!.. Да... Да!.. Добрая, умная, гуманная... Она меня не поняла... Она обидѣлась на меня за то, что мнѣ было слаще мерзнуть въ моей драповой кофтѣ, чѣмъ грѣться въ жакеткѣ

съ чужого плеча... Она удивлялась!.. Громко удивлялась тому, что у нищей такъ много гордости... Развѣ мы можемъ быть гордыми? Это привилегія обезпеченныхъ...

— Бѣдное дитя!—лепечетъ дядюшка.—Какъ много вы пережили!

— Ахъ! Ради Бога, не говорите общихъ мѣстъ!.. Я не знаю, въ сущности, зачѣмъ я вамъ все это разсказываю!.. Можете ли вы, баричъ, понять меня?.. Меня поймутъ Роза, Зяма... Но не вы...

Она долго молчитъ, опустивъ голову на руки, тяжело дыша... переживая съ жгучей болью то, что, казалось, давно умерло... Нѣтъ! Если есть что-либо безсмертное и вѣчное въ нашихъ чувствахъ,—то это, конечно, обида. И память о первыхъ ударахъ жизни.

— Я любила одного только учителя... Соколова... Онъ тоже, по примѣру другихъ, издалъ свою русскую хрестоматію, которая стоила три рубля... Не знаю, какъ до него дошли всѣ эти исторіи съ обморокомъ и съ жакеткой?.. Самъ онъ, пожалуй, не догадался бы. Онъ былъ такой разсѣянный, вялый... Такъ заработался... Одинъ разъ онъ подстерегъ меня въ пустомъ коридорѣ и подалъ мнѣ свою хрестоматію. Я какъ сейчасъ слышу его добрый, слабый голосъ. Вижу его усталые глаза... «Сыромятникова Лидія... Примите отъ меня въ подарокъ эту книгу... Вы такъ прекрасно учитесь! И мнѣ пріятно подарить вамъ мой трудъ...» Ахъ, это была хорошая минута!.. Скажи онъ это иначе, я отказалась бы отъ книги, какъ и отъ кофточки... И бѣгала бы по-старому на Пятницкую изъ Грузинъ, чтобы готовиться по его предмету. Онъ нашелъ слова, которыми смягчилъ мою душу... Если-бъ вы знали, сколько злобы и горечи было въ ней уже тогда!

Они долго молчатъ.

Маня проснулась. Она лежитъ, отвернувшись къ стѣнѣ. И слушаетъ въ безмѣрномъ удивленіи. Неужели это все та же противная колючая Лика?.. Соня была права...

— Вы кончили съ золотой медалью, Лик... Лидія Яковлевна?

— Наивный человѣкъ!.. Конечно, мнѣ ее не дали... Наравнѣ со мной шла племянница одного извѣстнаго и вліятельнаго въ Москвѣ профессора. Она поступила прямо во II-й классъ и училась только два года. А я пять лѣтъ была первой ученицей... Нѣтъ! Медаль досталась ей. А меня только записали золотыми

буквами на мраморную доску, въ актовомъ залѣ. Я получила серебряную... Я не удивилась... Развѣ я могла ждать справедливости? Но мать была наивна... какъ и вы... На эту медаль она уже нашла покупателя. Заказала мнѣ бѣлье и платье... Я этотъ долгъ выплачивала цѣлый годъ...

Она вдругъ смѣется колючимъ, какъ ея глаза, словно стеклянным смѣхомъ. Такимъ недобрымъ, что у дядюшки сжимается сердце.

— О, какъ охотно милое начальство стерло бы теперь мое имя съ мраморной доски! Говорятъ, начальница чуть не умерла, когда я очутилась въ тюрьмѣ. Они готовы были отъ меня отречься... Навѣрно говорили: «Что значитъ дочь прачки!.. Какіе могутъ быть у нея устои?..»

— За что вы были въ тюрьмѣ? Это не секретъ?

— Ничуть... Объ этомъ въ газетахъ писали. Я принадлежу къ партіи с.-р. Я была отвѣтственнымъ агитаторомъ... Впрочемъ... это не доказано... А иначе Штейнбаху не удалось бы спасти меня отъ ссылки въ Нарымскій край.

— Штейнбахъ?.. Откуда онъ зналъ о васъ?

— Мы съ Розой были въ тюрьмѣ въ одной камерѣ... Вы Розу знаете?

— Такая ... интересная, рыжеватая блондинка?.. Съ ослѣпительной кожей?

— Меня ея кожа ничуть не интересовала... Мы съ нею противники по убѣжденіямъ. Но это не помѣшало намъ... плебейкамъ... сблизиться... Понимаете, какъ это вышло? Мать Розы просила Штейнбаха за дочь, когда старикъ умиралъ. А сынъ пріѣхалъ его навѣстить... Она и старика просила раньше, но тотъ былъ черносотенецъ, другъ губернатора... чуть ли не на «ты» съ нимъ. Онъ отказалъ наотрѣзъ. Штейнбахъ-сынъ пустилъ въ ходъ всѣ связи, и Розу выпустили на поруки сюда. И Зяму тоже... Вмѣсто ссылки въ Сибирь его выпустили съ тѣмъ, чтобъ онъ годъ пробылъ здѣсь подъ надзоромъ. Штейнбахъ его защищалъ. Онъ же взялся и за мое дѣло... И, въ результатѣ, я свободна. Безъ права въѣзда въ столицу на два года...

— Такъ...—съ безграничнымъ удивленіемъ срывается у дядюшки.—Но сюда-то вы какъ попали, милая Лидія Яковлевна?

— Очень просто. Мнѣ и моей семьѣ грозила голодная смерть, если я не достану мѣста... Мать обезножила... (Дядюшка нервно морщится.) И не можетъ уже работать попрежнему. А вы понимаете, надѣюсь, что послѣ тюрьмы ни одно земство не согла-

сится взять меня на службу... Я пришла къ Штейнбаху, въ Москвѣ...

— Развѣ онъ такъ доступенъ?

— Не знаю, право... Къ нему всѣ идутъ. Мнѣ такъ сказала Роза... И съ двухъ словъ онъ понялъ, что мнѣ нужно. Мѣсто чудное, это правда... Шестьсотъ рублей въ годъ. Квартира, отопленіе, освѣщеніе, прислуга—все готовое... И работы такъ много! Интересной работы... Я половины не проживаю. И отсылаю своимъ... Сейчасъ я довольна судьбой. И могла бы обойтись безъ этихъ дежурствъ...

Она вдругъ смолкаетъ, что-то не договаривая. И задумывается...

«Какая она милая и женственная въ эти минуты!..» думаетъ дядюшка. И самъ слышитъ, какъ стучитъ его сердце.

— А скажите, Лика... Простите! (Онъ вспыхиваетъ подъ ея удивленнымъ взглядомъ.) Скажите, Лидія Яковлевна... Вамъ очень нравится Штейнбахъ?

— Мнѣ?

Какъ равнодушно звучитъ ея голосъ!

— Вѣдь онъ поразительно-красивъ!

— Да?.. Я, право, объ этомъ не думала... Мнѣ было не до того...—Она опять задумывается на мгновеніе.

— Здѣсь былъ... въ Липовкѣ... человѣкъ... Гораздо интереснѣе, если хотите, всѣхъ красавцевъ въ мірѣ,—говоритъ она страннымъ тономъ, медленно и значительно.

— Кто же это?—Дядюшка не можетъ удержаться отъ враждебной интонаціи.

— Онъ уже умеръ...

— Кто?.. Гдѣ?..

— И потому я имѣю право раскрыть эту тайну... Его звали Янъ... Онъ утонулъ.

Все тѣло Мани вздрагиваетъ, какъ отъ электрическаго тока. Глаза ея широко раскрываются.

Тѣ двое такъ заняты собой, что ничего не видятъ.

— Ахъ, да... Этотъ? Садовникъ Штейнбаха?

Лика молча, въ замѣтномъ волненіи, киваетъ головой.

— Скажите пожалуйста!.. Я съ первой минуты почувствовалъ здѣсь... тайну...

— Это былъ самый сильный... самый крупный человѣкъ изъ всѣхъ, кого я видѣла. Съ желѣзной волей... Мы такъ много спорили съ нимъ! Такъ ярко говорили!.. Съ Зямой совсѣмъ

нельзя было говорить... Выходила одна ругань. *Этотъ* былъ такъ ясенъ!.. Какъ жаль, что я такъ мало знала его! Подумайте, какая обида его смерть!.. Какая безсмыслица!

— Его смерть была прекрасна,—серьезно и взволнованно говоритъ дядюшка.—Онъ отдалъ жизнь за другого... Это былъ поступокъ героя...

— Ахъ! Опять общія мѣста! Не повторяйте, ради Бога, избитыхъ фразъ!.. Развѣ у насъ двѣ жизни, чтобъ можно было жертвовать ею для какого-то мальчишки?.. Развѣ мало этихъ Хведько и Грицей? И что изъ нихъ выйдетъ?.. Та же тупоголовая, инертная масса? Терпѣливая, какъ ихъ волы!.. Какъ они, созданные для ярма... Неспособные къ ненависти и протесту...

«Лика!.. Лика!..» чуть не плачетъ мягкая душа дядюшки. «Какъ можетъ женщина... дѣвушка быть такой жестокой?..» Но онъ молчитъ, сморщившись, словно у него во рту лимонъ.

— И отдать такую яркую жизнь... такую многообѣщавшую богатую душу за деревенскаго мальчишку?!

Она молчитъ съ мгновеніе, сжимая виски.

— Простите... Вы, быть-можетъ, правы... Я не думала объ этомъ... И онъ былъ, должно-быть, тоже правъ, съ своей точки зрѣнія. Онъ былъ послѣдователенъ... Но я?.. Я слишкомъ дорожу своей шкурой (дядюшка вздрагиваетъ, какъ отъ укола), чтобъ отдать ее по первому порыву за перваго встрѣчнаго... Подвигъ? О! (Ея голосъ вдругъ загорается.) Быть-можетъ, и я его жду... И мечтаю о немъ, какъ всѣ *они*... Но я дорого продамъ свою жизнь! И кто знаетъ?.. Быть-можетъ, вы еще... услышите обо мнѣ...

И въ ея сразу поблѣднѣвшемъ лицѣ, въ ея ярко сверкнувшихъ глазахъ, въ ея трепетномъ и на этотъ разъ горячемъ голосѣ—столько силы и значенія, что дядюшка забываетъ мгновенно всѣ приличія, всю выдержку, всю деликатность, врожденную и привитую воспитаніемъ...

Онъ хватаетъ ея руки, безсознательно притягиваетъ къ себѣ и шепчетъ, какъ въ бреду:

— Лика!.. Лика!.. Чудная... Дорогая!.. Какъ вы хороши!

По лицу Мани бѣгутъ слезы... Первыя свѣтлыя, жаркія слезы...

О, какъ отрадно плакать!.. Какъ таетъ отъ этихъ слезъ ледъ, убившій въ ея душѣ, казалось навсегда, всѣ ростки, всѣ побѣги!..

---

Когда наступаетъ 15-е августа, послѣдній день каникулъ, отъ Мани остаются одни глаза.

— А тѣла нѣту,—грустно говоритъ дядюшка.

Но, благодаря Ликѣ, силы вернулись къ Манѣ. Она спала сномъ камней цѣлую недѣлю.

## XVIII.

И вотъ дѣвочки ѣдутъ въ Москву. Съ ними дядюшка. Онъ радъ встряхнуться въ столицѣ. Лика дала ему столько порученій! Деликатныхъ и интимныхъ... Къ семьѣ... Къ партійнымъ... Дядюшка чувствуетъ себя молодымъ и влюбленнымъ. Онъ гордится довѣріемъ Лики. За эту дружбу онъ готовъ теперь заплатить не только свободой, но и жизнью.

Помахивая тросточкой и слегка прихрамывая, ходитъ онъ по открытой платформѣ.

Солнце заливаетъ маленькую станцію. Но подъ могучими тополями въ садикѣ тѣнь. Дѣвочки сидятъ на скамьѣ, поджидая поѣзда, и глядятъ въ далекую степь.

— Штейнбахъ!—вдругъ говоритъ дядюшка, подходя ковыляющими движеніями къ скамейкѣ.

— Гдѣ? Гдѣ?—Соня вскакиваетъ.

— Сейчасъ подъѣхалъ въ ландо. Съ нами въ одномъ поѣздѣ ѣдетъ.

— Маня, Маня, очнись же! Пойдемъ скорѣе!.. Ахъ, я такъ много слыхала о немъ отъ Лики!

— Дѣти мои! Берегите ваши сердца!.. Настоящій царь Соломонъ...

Соня радостно смѣется.

Вотъ онъ... Начальникъ станціи, почтительно склонившись, объясняетъ ему что-то. Сторожа и буфетчикъ вытянулись у входа на станцію.

Онъ слушаетъ. И какъ будто не слышитъ. И думаетъ о чемъ-то своемъ...

Какой онъ высокій! На немъ темный плащъ и панама съ живописно изогнутыми линіями. Маня видитъ его гордый профиль, матово-блѣдную кожу, цвѣта слоновой кости. И острую, черную модную бородку, какъ у дядюшки.

Онъ разсѣянно щурится въ золотую даль, откуда долженъ прійти поѣздъ.

— Какая красота!—шепчетъ Соня, сжимая до боли руку Мани.

«На кого онъ похожъ?» думаетъ та. «Гдѣ я его видѣла? На картинѣ?.. Во снѣ?.. Въ толпѣ, на улицѣ?..»

Вотъ онъ повернулся, и Маня замерла, полуоткрывъ ротъ...

Да, у него царственная наружность... Но въ чемъ его обаяніе? Чѣмъ онъ разнится отъ другихъ?

— Смотри, какія брови!—шепчетъ Соня.

Ну, да, конечно... Это и есть самое поразительное въ его лицѣ. То, что даетъ ему значеніе, индивидуальность. То, что даетъ ему душу. Почти сливаясь въ одну линію на переносицѣ, широкимъ, смѣлымъ взмахомъ раскинулись брови на блѣдномъ лбу. Какъ будто невидимая рука провела на этомъ лицѣ загадочную арабеску. И въ ней скрыта неясная угроза.

«Роковая красота...» думаетъ Маня.

Дядюшка подходитъ, ковыляя, взволнованный. Ему обидно, что Штейнбахъ не узналъ его. А кланяться первому не хочется.

— Рембрандтъ! Не правда ли?—говоритъ онъ дѣвушкамъ, стараясь быть развязнымъ.

— О! Я съ ума сошла!—какъ во снѣ говоритъ Соня. И хватаетъ себя со смѣхомъ за лицо.

Поѣздъ мчится...

На всѣхъ большихъ станціяхъ, когда поѣздъ стоитъ восемь минутъ, Соня торопливо выходитъ на платформу. За нею Маня и дядюшка. Соня ищетъ глазами wagon-lit I-го класса... Если бы онъ вышелъ погулять!

Нѣтъ!.. Онъ не показывается.

Вечеромъ, когда всходитъ красная, огромная луна, на горизонтѣ, и вѣтеръ подымается по степи, послѣ заката солнца,— поѣздъ стоитъ у какой-то большой станціи съ электричествомъ и буфетомъ. Огромная толпа мѣстныхъ жителей пришла изъ городка взглянуть на курьерскій поѣздъ. Молодежь флиртуетъ. Барышни звонко смѣются. Малороссійскій говоръ звучитъ, какъ музыка, для уха Мани... Она стоитъ рядомъ съ Соней. Та словно ворожитъ, прислонясь къ стѣнѣ, не сводя глазъ съ оконъ вагона, внушая Штейнбаху выйти.

Наконецъ-то!.. Медленно, лѣниво спускается онъ со ступеней и безцѣльно идетъ среди толпы.

Взгляды восторга, удивленные возгласы и шопотъ провожаютъ его. Передъ нимъ разступаются. Останавливаются... Глядятъ ему вслѣдъ.

«Какое холодное лицо! Какія усталыя движенія!.. Такой

человѣкъ не можетъ быть счастливъ...» думаетъ Маня. «Но почему онъ несчастливъ?.. Такъ богатъ? Такъ красивъ?»

И въ душѣ ея разгорается любопытство... Проникнуть бы въ тайну этого равнодушія, этой усталости!.. Ахъ! И подумать только, что все это недоступно! Такая неизмѣримая пропасть раздѣляетъ ихъ! Какъ будто передъ нею житель другого міра!..

Чувство обиды и отчужденности сжимаетъ сердце Мани.

— Пойдемъ за нимъ!—шепчетъ Соня.—Мнѣ хочется разглядѣть и понять выраженіе его глазъ.

Тамъ, гдѣ кончается бѣлый свѣтъ электричества, станція кажется другимъ міромъ... Темно и загадочно подъ тополями садика. Опять вѣетъ степью, безлюдіемъ и тишиной пустыни. Дивнымъ одиночествомъ... Вонъ луна подымается, багровая и жуткая, изъ сизой мари, залегшей на горизонтѣ. И у нея еще нѣтъ лучей.

Дѣвушки замедляютъ шаги. Беззвучно крадутся онѣ за высокой фигурой... Здѣсь тихо. Паровозъ остался позади.

Штейнбахъ остановился и смотритъ на луну.

«Да, смотритъ... Но видитъ ли?» думаетъ Маня, жадно вглядываясь въ этотъ профиль. «О чемъ думаетъ онъ? О чемъ тоскуетъ?..»

Штейнбахъ недвиженъ, какъ темное изваяніе.

«Теперь понимаю. Онъ влюбленъ...» думаетъ Маня. «И влюбленъ безнадежно. Иначе о чемъ бы ему грустить?.. Но хотѣла бы я видѣть женщину, которая его плѣнила! Какая она? Высокая?.. Темноглазая? Брюнетка?.. Нѣтъ. Скорѣе блондинка... И замужемъ за другимъ...»

И Маня рада, что онъ страдаетъ, что его отвергли. Это даетъ ей какое-то странное удовлетвореніе.

Второй звонокъ. Дѣвочки вскрикиваютъ и бѣгутъ со смѣхомъ, сконфуженныя тѣмъ, что Штейнбахъ оглянулся...

Уже поздно ночью, когда дядюшка велитъ поднять постели въ ихъ купэ, онѣ выходятъ на большой станціи съ буфетомъ—купить cartes postales. Втайнѣ обѣ надѣются еще разъ увидать Штейнбаха.

Какое счастье!.. Вотъ и онъ стоитъ у кіоска съ книгами и разсѣянно смотритъ заглавія. Продавщица, наивно открывъ ротъ, глядитъ на его брови.

Соня толкаетъ Маню. И обѣ замерли въ нѣсколькихъ шагахъ. Но... забыты приличія. Забыты гордость и стыдъ... Хочется наглядѣться на этотъ профиль, на эти трагически

сросшіяся, точно нарисованныя брови, на эту экзотическую, матовую кожу.

«Какія дивныя руки!» думаетъ Маня.

— Вамъ что угодно?—спрашиваетъ продавщица, вдругъ замѣчая дѣвушекъ.

Въ эту минуту Штейнбахъ оглядывается. Его взоръ, безстрастный и усталый, равнодушно скользитъ по юнымъ дѣвичьимъ лицамъ.

Но Маня вздрагиваетъ всѣмъ тѣломъ.

— Я беру это,—говоритъ онъ, указывая на книгу. И уходитъ, расплатившись.

Второй звонокъ... Ничего не купивъ, дѣвушки бѣгутъ изъ залы.

Въ дверяхъ онѣ почти толкаютъ Штейнбаха. Плащъ его задѣваетъ Маню по плечу.

— Извините!—говоритъ онъ. И опять его взглядъ на мгновеніе останавливается на ея лицѣ. Такъ мимолетно... Такъ поверхностно...

Но кровь кидается въ лицо Мани. И она бѣжитъ съ затуманенной головой... Вся трепещущая отъ страннаго, новаго и сладкаго до боли чувства.

— Ты видѣла? У него въ глазахъ нѣтъ дна!—говоритъ Маня, задыхаясь, когда поѣздъ трогается и ныряетъ въ черную ночь.—Вотъ совсѣмъ, какъ у этого мрака... Какой жуткій!

Соня блаженно улыбается. Онѣ долго молчатъ.

Когда уже дядюшка всхрапываетъ слегка, и спитъ толстая дама-сосѣдка,—дѣвушки наверху еще говорятъ.

— Я хочу его видѣть у насъ,—шепчетъ Соня.—Пусть мама познакомится и позоветъ его!

— Не надо! Не стоитъ унижаться!.. Не зови его! Зачѣмъ?.. Что общаго между имъ и вами?—вдругъ страстно перебиваетъ Маня.

— Что такое?.. Ничего не понимаю!—сердится Соня.

— Ахъ, Боже мой!.. Какъ у тебя мало чутья! Ты видѣла, какъ онъ взглянулъ на насъ?.. Я такъ гляжу на мухъ... Да, да!.. На мухъ... на букашекъ, которыхъ топчу ногой, не замѣчая... Мы для него не люди, а тѣ же мухи...

И, задыхаясь отъ ненависти, она падаетъ на подушки лицомъ внизъ. Она готова плакать...

Но Соня улыбается въ полумракѣ.

Наконецъ-то!.. Вотъ она, прежняя Маня!.. Проснулась...

Стряхнула съ души это страшное оцѣпенѣніе... Смѣется, сердится...

«Спасибо тебѣ, милый, чудный Штейнбахъ!..»

---

Поѣздъ мчится. Уже два часа. Онѣ не спятъ. Стоя въ коридорѣ, онѣ глядятъ въ черную ночь. То тутъ, то тамъ полыхаетъ небо. То тутъ, то тамъ зловѣщій алый свѣтъ разрываетъ тьму южной ночи. Словно смутное, далекое обѣщаніе...

Вечерняя ли заря забылась на небѣ и медлитъ погаснуть?.. Зарево ли это луны?

— Пожары,—говоритъ Соня, вспоминая все, о чемъ говорила съ Ликой.—Это горятъ помѣщичьи усадьбы...

И въ глубокихъ глазахъ Сони—сосредоточенная дума.

— Какая красота!—ахаетъ Маня, бѣгая отъ окна къ окну.—Ахъ, какая красота!..

## XIX.

Молодость и жизнь берутъ свое. Молодость и жизнь побѣждаютъ печаль...

Лицо Яна глядитъ на Маню какъ бы изъ густого тумана. И онъ уже не снится ей по ночамъ.

Забытъ и всадникъ съ гордымъ профилемъ, котораго, сама не зная, она такъ долго и пламенно любила всѣ эти годы...

Читая романы, она въ каждомъ героѣ видитъ теперь черты Штейнбаха. Его брови. Его глаза... Она грезитъ о немъ. И эти грезы знойны... Онѣ не тѣ свѣтлыя, пронизанныя солнцемъ мечты, что прилетали къ ней когда-то. Ласковыя и освѣжавшія, какъ вѣтерокъ въ степи... Эти грезы отравляютъ. Она мучительно ждетъ ласки. Она мечтаетъ о поцѣлуяхъ и близости къ кому-то, похожему на Штейнбаха...

Но не къ нему... Нѣтъ! Она ненавидитъ его за равнодушіе, за недоступность... Какъ часто, закрывъ глаза, она представляетъ себя нѣжной блондинкой! Маленькой и хрупкой, которую любитъ Штейнбахъ... Она видитъ его страдающимъ, униженнымъ, у своихъ ногъ. И Маня хохочетъ презрительно и звонко.

Но часто слезы бѣгутъ изъ ея глазъ... О, какъ мучительно хочется быть опять въ объятіяхъ Яна! Цѣловать его пушистыя щеки, его гордыя губы... Зачѣмъ она такъ мало, такъ робко ласкалась къ нему? Зачѣмъ не излила на него всю нѣжность, которая горитъ въ ея душѣ?

Она рыдаетъ по ночамъ...

А во снѣ она видитъ Штейнбаха.

— Мы вмѣстѣ поступимъ на высшіе курсы,—твердо и важно говоритъ Соня.

— Кур-сы?—спрашиваетъ Маня. Она стоитъ, закинувъ руки за голову и глядя вдаль полузакрытыми глазами.

— Я поступлю на медицинскій, а ты на историческій. Съ твоими способностями ты выдѣлишься сразу...

— Исто-ри-ческій?—какъ во снѣ переспрашиваетъ Маня.

Соня сердится.—Ну, да!.. Что ты, какъ попугай, повторяешь слова? Опять размечталась? Фу ты, Господи!.. Какая невозможная голова!

Маня тянется всѣмъ тѣломъ, съ какой-то истомой. Улыбка раскрываетъ ея губы.

— Нѣтъ!—вдругъ твердо и сознательно говоритъ она, опуская руки и глядя на подругу.—Я не хочу учиться!.. Надоѣло.

— Вотъ-те разъ!.. А чего же ты хочешь?

Маня долго молчитъ, глядя вдаль.

— Я хочу... жить...

И въ это коротенькое слово она вкладываетъ столько значенія!.. Такими таинственными обѣщаніями вѣетъ отъ ея голоса и лица, что Соня мгновенно смолкаетъ. Задумывается и... вспоминаетъ Штейнбаха.

Маня «отъ скуки» учится запоемъ. И, шутя, становится третьей ученицей. Соня кончаетъ на золотую медаль.

Два раза въ недѣлю то Аня, то Петя навѣщаютъ сестренку. И для всѣхъ это праздникъ. Какъ хорошо быть любимой, быть *всѣмъ* для людей!.. Маня не знаетъ, кого она любитъ больше: родныхъ или милую фрау Кеслеръ...

## XX.

И для обитателей дома № 8-й шли годы незамѣтно, унося день за днемъ... И такъ прошло семь лѣтъ.

Хозяинъ облысѣлъ и сгорбился. Сталъ припадать на палочку. Генералъ изъ квартиры № 1-й уѣхалъ за границу лѣчить подагру оставивъ, впрочемъ, квартиру за собой. Офицерша стала замѣтно полнѣть. Это приводитъ ее въ хорошее настроеніе духа. Но волнуется она попрежнему изъ-за всякаго пустяка.

Студентъ Ельцовъ кончилъ курсъ. Изъ-за революціи онъ потерялъ два года. Онъ обросъ бородою. Лицо его пожелтѣло, на головѣ обозначилась ранняя лысина. Глаза запали еще глубже... Онъ усиленно работаетъ надъ диссертаціей.

— Не захворай, Петенька! Береги себя!—молитъ его сестра.

— Пустяки, Аня! Скоро возьму первое попавшееся мѣсто въ земствѣ, и уѣдемъ въ провинцію. Тамъ жизнь дешевле...

Анна Сергѣевна начала носить очки. И ея миловидное личико сразу стало суше и старше. Она теперь кажется старой дѣвой.

---

Весной, въ концѣ мая, Анна Сергѣевна вдругъ выказываетъ необыкновенную суетность. Два дня подъ рядъ отправляется она къ портнихѣ, живущей черезъ улицу. Потомъ офицерша встрѣчаетъ ее въ городѣ, въ рядахъ. Наконецъ Анна Сергѣевна проходитъ черезъ дворъ съ картонкой въ рукѣ... Это уже слишкомъ!

Офицерша подсылаетъ няньку къ кухаркѣ Ельцовыхъ вызнать, въ чемъ дѣло. Оказывается, сестра младшая кончаетъ въ гимназіи, и ей шьютъ обновы.

Офицерша снисходительно улыбается.—Вотъ какъ!.. Уже кончаетъ?.. Ну, что же?.. Поглядимъ сестру!..

Но «сестру» такъ никто и не видалъ.

20-го мая Анна Сергѣевна уѣзжаетъ съ утра, взволнованная и принаряженная... А возвращается только къ вечеру. И когда она идетъ по двору, всѣ видятъ, несмотря на опущенный вуаль, что глаза у нея заплаканы.

Ей отпираетъ братъ. Онъ ждалъ ее, сидя въ сумеркахъ у открытаго окна.

— Ну?.. Ну, что же?—отрывисто спрашиваетъ онъ.

Анна Сергѣевна поднимаетъ вуалетку, глядитъ въ глаза брату. И вдругъ кидается ему на грудь.

— Аня... Аня... Полно!—Его руки трясутся, когда онъ неловко гладитъ ея плечи, поминутно задѣвая о сбившуюся шляпу.

Прислуга стучится... Самоваръ готовъ. Петръ Сергѣевичъ выходитъ въ сѣни, беретъ самоваръ, запираетъ дверь на крючокъ и самъ завариваетъ чай. Потомъ зажигаетъ лампу и достаетъ изъ буфета бутылку наливки и коробку конфетъ. Анна Сергѣевна, сидя у стола, тихо всхлипываетъ. Постепенно успокаивается...

— Ну, полно, Аня!.. Ты точно хоронишь ее... Все-таки—день этотъ надо отпраздновать... Вотъ я, видишь?.. И конфетъ купилъ и наливки... Выпьемъ за счастье Манички!

— Счастье!..—Губы Анны Сергѣевны дрожатъ. Она опять всхлипываетъ, закрывъ платкомъ лицо.

Онъ молчитъ, жалобно сморщившись.

— А почемъ мы знаемъ?.. Очень возможно и настоящее счастье... Это ужъ во многомъ будетъ отъ насъ зависѣть... Какъ мы за дѣло возьмемся... Она—еще дитя... Она, какъ воскъ... Лѣпи изъ нея новую форму!.. Не одна же любовь въ самомъ дѣлѣ!.. Это теперь-то! Не въ семьѣ только свѣтъ въ окошкѣ!.. Вотъ тебѣ, бѣднягѣ, некуда было итти... А передъ ней-то? Господи Боже мой!.. Всѣ дороги открыты...

Анна Сергѣевна перестаетъ плакать. Опершись локтями на столъ, она горестно качаетъ головой. И Петръ Сергѣевичъ угадываетъ грустную иронію этого жеста... «Нѣтъ жизни безъ личнаго счастья!.. И нѣтъ удовлетворенія!..»

Онъ встаетъ и ходитъ по комнатѣ.

Сѣрые глаза его свѣтятся... Но онъ не хочетъ спорить... Ахъ, видно женщины всѣ таковы!

Наконецъ лицо его смягчается. Онъ присаживается къ столу.—Разскажи по порядку,—говоритъ онъ ласково.

Анна Сергѣевна разсказываетъ.

Она поспѣла къ началу молебна. Какъ это было торжественно! Всѣ въ бѣломъ, въ собственныхъ платьяхъ. Маня лучше всѣхъ... Боже мой, какая она прелестная! Какой румянецъ! Какой блескъ въ глазахъ!

Петръ Сергѣевичъ добродушно смѣется и становится похожъ на старичка. Столько морщинъ появляется у него разомъ на впалыхъ щекахъ и около глазъ!

— Ахъ ты, славная моя!—шепчетъ онъ, гладя руку сестры.—Да, глаза у Мани хороши... *Ея* глаза...

Оба задумываются.

— И веселая она нынче?—спрашиваетъ онъ, наконецъ, подавляя вздохъ.

— Ахъ, удивительно! Просто—птичка. Щебечетъ, смѣется. Все время смѣется... Эти ямочки ея на щекахъ...

— Какъ у *нея*!..—задумчиво говоритъ онъ.

— Удивительно похожа! Помнишь?.. На тотъ портретъ, въ бальномъ платьѣ?

— Ну, что ты? Куда ей?.. А ротъ? А носъ?.. Нѣтъ!.. Ей далеко до матери!—съ гордостью говоритъ Петръ Сергѣевичъ.

— А зато фигура какая, Петя! Головой выше меня... Вообще, удивительно развита физически... Помнишь? Я въ ея

годы казалась дѣвочкой... Я глядѣла на нее и думала: «Вотъ кому Богъ все далъ! Вотъ кому судьба сулила счастье...» А потомъ... я вспоминала себя...

Она смолкаетъ. Братъ не глядитъ на нее. Онъ насупился и энергично болтаетъ ложкой въ остывшемъ стаканѣ.

— На! Выпей!—вдругъ вспоминаетъ онъ и протягиваетъ сестрѣ налитую рюмку.—Тебя это возбудитъ. У тебя нервы упали...

Онъ самъ выпиваетъ залпомъ свою.

Анна Сергѣевна долго молчитъ. Она водитъ рукой по скатерти. Ея глаза слегка затуманились. Пріятное тепло разливается по жиламъ.

— Итакъ, она опять къ Горленко ѣдетъ? Прекрасно... Ты, конечно, нынче ей ничего не сказала?—вдругъ шопотомъ спрашиваетъ онъ.

— Ничего... Не могла, Петя. Это выше моихъ силъ... Скажи ей самъ...

— Да, да, конечно... Я бы давно сказалъ...

— Нѣтъ, Петя... Надо осторожно... За что было ей испортить первый день свободы?.. Ея лучшій день?

— Въ письмѣ этого не скажешь... Теперь до осени, значитъ?—И въ голосѣ его звучитъ облегченіе.

— Да... Вообще, чѣмъ позже она узнаетъ, тѣмъ лучше! Надо исподволь подходить съ такими жестокими разоблаченіями. Вспомни!.. Ты меня не щадилъ... Ты мнѣ глаза открылъ безъ единой минуты колебаній...

— Иначе нельзя, Аня!.. Полумѣры невозможны... Это преступно...

— Ахъ, знаю!.. Но что я пережила тогда?.. Я думала, что умру...

— Отъ любви не умираютъ,—угрюмо бросаетъ онъ.

Она дѣлаетъ страстный жестъ.

— Полно!.. Жить изо дня въ день, какъ я... еще не значитъ не быть *мертвой*... Я долго душила въ себѣ все.... Всѣ лучшія стороны... законныя потребности... Ты ду... думаешь, мнѣ было... легко?..

— Выпей!—Онъ подвигаетъ ей другую рюмку.

Она покорно пьетъ, запрокидывая высоко голову. И съ размаха тяжело опускаетъ рюмку на столъ.

— Не всякая поступила бы такъ, Петя... Не всякая...

— Но *ты*... не могла поступить иначе?

— Я?.. Да... Но почемъ мы знаемъ, какъ *она* поступитъ?

— Какъ велитъ ей ея совѣсть... ея разумъ... Какъ долженъ поступить честный человѣкъ, сознающій свои обязанности передъ обществомъ...

Анна Сергѣевна съеживается отъ этого голоса. Голова ея покорно опускается на столъ.

Братъ тихонько, нѣжно гладитъ ея пальцы, безпомощно распростертые на скатерти.

Выходитъ долгая-долгая и грустная пауза.

— Она обѣщала писать оттуда?

Анна Сергѣевна молчитъ.

— Какъ ты думаешь, Аня?.. Любитъ ли она насъ хоть немножко?.. Вотъ она даже не огорчилась, что нельзя сюда пріѣхать... Нельзя видѣть мать... А, можетъ-быть, ей этого хотѣлось?..

Робкой надеждой дрожитъ его голосъ...

Онъ тщетно ждетъ отвѣта.

Тогда онъ заглядываетъ въ блѣдное, измученное лицо сестры.

Она спитъ...

Иваница, Полтавской губ. Августъ 1908 г.

# ЧАСТЬ II.

## I.

«Что мнѣ шумитъ?.. Что мнѣ звенитъ рано предъ зарею?..»

«— Ахъ! Это ты, Янъ?! Какъ ты пришелъ сюда?.. Всѣ двери заперты...

«— Я влетѣлъ въ окно... Здравствуй, маленькая Маня!.. Темноглазая моя фея!.. Дай, я поцѣлую твои глазки!..

«— О, рай какой Янъ!.. Какъ я давно ждала тебя!.. Душа моя состарилась отъ тоски... Я твоя, Янъ... Цѣлуй меня страстно! Обними меня крѣпко!.. Унеси меня съ собою за грани этого міра... За тѣ грани, куда глядѣли твои очи въ тотъ день... Помнишь?

„Упырь меня тронулъ крыломъ своимъ влажнымъ“...

«— Янъ! Куда ты?.. Не уходи-и!..»

. . . . . .

Она такъ кричитъ, что этотъ крикъ ее будитъ...

Она поднимается, озираясь.

Алая заря глядитъ въ окно розовой комнатки. Птицы щебечутъ въ саду...

Подушка ея залита слезами...

---

Она въ паркѣ, на могилѣ Яна.

Опять нахлынуло прошлое. И затопила ея душу высоко поднявшаяся волна печали.

Какое чудное мѣсто! Подъ каштанами, на зеленой лужайкѣ—два могильные холма. Большой и маленькій... Чудныя розы, лучшія розы сіяютъ вокругъ праха того, кто ихъ любилъ когда-то...

На мраморной плитѣ нѣтъ ни имени ни молитвы...

Только крупная надпись золотомъ:

А внизу помельче:

*«Я люблю того, Кто строитъ высшее надъ собой. И такъ погибаетъ...»*

Это сдѣлалъ Штейнбахъ.

И темное чувство злобы противъ него таетъ въ сердцѣ Мани.

---

Она приходитъ сюда каждый день отъ двухъ до четырехъ. Иногда съ книгой... Какъ приходила раньше на свиданіе... Она вѣритъ, что Янъ позвалъ ее. У нея нѣтъ уже страха. Одно счастье отъ общенія съ его безсмертной душой.

Она сидитъ на скамьѣ, у могилы, съ закрытыми глазами. Книга лежитъ на травѣ. Розы благоухаютъ. Тишина кругомъ звенитъ и дышитъ... И ей кажется, что голосъ Яна скоро зазвучитъ въ ея душѣ...

«Если утромъ вы цѣловали одного, а вечеромъ желаніе толкнетъ васъ въ объятія другого, повинуйтесь вашему желанію!.. Это путь къ свободѣ души!..»

---

По гравію дорожки звучатъ шаги... Маня открываетъ глаза.

Передъ нею Штейнбахъ...

Она такъ растерялась, что забываетъ отвѣтить на его поклонъ.

Онъ медленно проходитъ дальше. Голова его опущена. Шаги вкрадчиво звучатъ...

И стихаютъ за поворотомъ.

А она глядитъ вслѣдъ. И сердце ея стучитъ... Такъ бурно... Такъ тревожно...

«Отчего ты такъ стучишь, мое сердце?..»

---

— Я не помѣшаю, если сяду подлѣ?—спрашиваетъ онъ, чуть-чуть улыбаясь... Однимъ уголкомъ губъ.

Она киваетъ головой. Говорить отъ волненія она не можетъ.

Она ждетъ его у могилы уже третій день...

И она знала, что онъ нынче придетъ!!

Онъ сбоку, полузакрытыми глазами глядитъ на ея опущенную голову и бурно вздымающуюся грудь.

«Какая хорошенькая головка!» холодно думаетъ онъ.

— Вамъ нравится этотъ паркъ?—спрашиваетъ онъ съ невольнымъ оттѣнкомъ снисхожденія.

Ея рѣсницы вдругъ взмахиваютъ. И взглядъ ея обжигаетъ Штейнбаха.

— Зачѣмъ вы говорите со мной?.. Зачѣмъ вы сѣли тутъ? Какое вамъ до меня дѣло?.. Неужели вы думаете, что я пришла для васъ?.. Почему вы вообразили, что осчастливите меня... снизойдя до разговора?.. Развѣ я васъ просила подойти?.. Просила?

Она вскочила и стоитъ передъ нимъ, топая ногой. Лицо ея пылаетъ. Глаза искрятся...

— Пожалуйста, оставьте меня въ покоѣ и проходите своей дорогой!.. Ахъ, да!.. Это *вашъ* паркъ... Я забыла... Ну, да все равно!.. Публикѣ не возбраняется его посѣщать... А вы не обязаны развлекать публику... Можете уходить!

— Почему вы меня гоните?

Штейнбахъ улыбается. Въ первый разъ въ жизни на него кричатъ. Это ему нравится. Будитъ его любопытство... Дурно воспитанная, но очаровательная дѣвочка... Сама жизнь!

Не отвѣчая, Маня глядитъ на него пристально и съ наивной безцеремонностью. Такъ глядятъ на портретъ.

Боже! Какія чудныя брови!.. Но улыбка у него непріятная... Губы кривятся. А глаза остаются мрачными. Точно на другомъ лицѣ.

Она вдругъ падаетъ духомъ и садится далеко отъ него, на кончикѣ скамьи.

— Можете оставаться!.. Мнѣ все равно, — говоритъ она двумя тонами ниже, съ преувеличенной холодностью, избѣгая его упорнаго взгляда. Она беретъ книгу и держитъ ее кверху ногами. Всѣ артеріи ея бурно пульсируютъ. Кажется, что сердце стучитъ въ горлѣ, и вѣки жжетъ что-то... Лишь бы не разрюмиться! Вотъ будетъ скандалъ!

Штейнбахъ смотритъ на книгу. Потомъ на рдѣющія щечки.

— Что вы читаете?—спрашиваетъ онъ вкрадчиво.—Какая странная печать!

Маня расширяетъ глаза. Замѣчаетъ, что книга перевернута. И вдругъ звонко, неудержимо хохочетъ... Надо бы разсердиться... Но смѣхъ душитъ ее.

— Вы не сердитесь?—подхватываетъ Штейнбахъ. И, выждавъ паузу, когда Маня перестаетъ смѣяться, онъ говоритъ робко и нѣжно... Такъ робко, что гнѣвъ Мани испаряется:

— Давайте познакомимся!.. Хотите?

Она молчитъ, чутко насторожившись, слушая всей душой.

— Я давно хотѣлъ подойти къ вамъ и... не рѣшался... Вы напрасно обвиняете меня въ высокомѣріи... Я боюсь людей... Я очень... застѣнчивъ...

Маня порывисто оборачивается всѣмъ корпусомъ. Книга падаетъ на дорожку... Маня вѣритъ сразу. Не столько словамъ, сколько звукамъ.

— Вы?.. Застѣнчивы?..

— Да... Почему это васъ удивляетъ?

Маня заглядѣлась и забыла вопросъ.

— Какія брови!—говоритъ она вслухъ.

Онъ улыбается опять своей недоброй улыбкой.

— Онѣ вамъ нравятся?

Маня вспыхиваетъ. «Что я надѣлала!..» Но... мигъ... И она уже смѣло встряхиваетъ кудрями.

— Да!—гордо говоритъ она.—Нравятся... Очень... Я ихъ постоянно вижу передъ собой...

Онъ хочетъ насмѣшливо поклониться. Но она быстро поднимаетъ руку.

— Ради Христа, не будьте банальны!.. Не благодарите «за комплиментъ...» Вы разобьете мои иллюзіи... И я вамъ этого никогда не прощу!

Съ возрастающимъ интересомъ онъ глядитъ на нее.

Она его сбиваетъ съ толку... Всѣ трафаретные пріемы въ обращеніи съ женщинами, которые не мѣняешь изъ лѣни, оказываются здѣсь лишними.

И потомъ это *никогда*... Оно полно обѣщаній... Значитъ эта дѣвочка, безъ его вѣдома, включила его въ кругъ своей жизни?

Она говоритъ:

— Вотъ я сижу рядомъ съ вами... И мнѣ кажется, что это только продолженіе моихъ сновъ. У меня бываютъ чудные сны... Гораздо красивѣе, чѣмъ сама жизнь. И я часто говорю съ вами... А вы?.. Любите вы ваши сны?

— Н-нѣтъ... Они скучны, какъ моя жизнь.

Маня опять молчитъ, пораженная... Какая правда въ этомъ голосѣ!.. Какая тоска!

— Неужели вы можете скучать?.. Вы такъ богаты!.. Если бы я была богата, я путешествовала бы безъ конца!.. Изъ одной страны въ другую... Какое счастье видѣть Индію, факировъ, змѣй!.. Египетъ, пирамиды... Іерусалимъ, гору Синай и Голгоѳу... Видѣть Мексику, дѣвственные лѣса, Амазонку...

Ея голосъ искрится, какъ шампанское. Онъ слушаетъ и наслаждается этой чуждой ему, бурной и свѣтлой жаждой жизни.

— Я все это видѣлъ!—говоритъ онъ, подавляя вздохъ.

Она всплескиваетъ руками и подвигается къ нему.

— Видѣли?.. Боже мой!.. Какой же вы счастливецъ! Чего бы я ни дала, чтобъ видѣть Востокъ!

Онъ молчитъ, глядя въ ея глаза. Невыразимымъ обаяніемъ вѣетъ на него отъ этого довѣрчиваго и наивнаго взгляда. Сердце его вдругъ начинаетъ биться... Онъ невольно опускаетъ рѣсницы, длинныя, бросающія тѣнь на щеки. И чертитъ что-то тростью по землѣ.

— Мнѣ не хочется васъ разочаровать,—говоритъ онъ печально.—Быть-можетъ, ваша богатая юность нашла бы волшебныя ткани, которыя набросила бы, какъ вуаль, на все уродливое, безвкусное, низменное и банальное, что преслѣдуетъ насъ, туристовъ, и смѣется надъ нашими мечтами... Но я, искавшій одиночества и созерцанія, нигдѣ не нашелъ его... кромѣ этого парка... И за это, должно-быть, я теперь люблю его...

— А въ пустынѣ? У пирамидъ?..

Штейнбахъ смѣется. Ахъ, какъ портитъ его смѣхъ! Недобрый, ѣдкій смѣхъ... И зубы такіе мелкіе и острые. Какъ у хищника...

Какая-то тяжесть ложится на грудь Мани.

— Я ѣхалъ въ Египетъ на кораблѣ, полномъ туристовъ. Англичанъ было больше всего. Это проклятіе... Туристы отравили мнѣ всѣ красоты искусства и природы въ Европѣ. Нельзя быть одному ни въ музеѣ, ни на кладбищѣ, ни въ горахъ... Всюду кишитъ толпа, съ плоской, ненасытной душой. Она кричитъ въ склепѣ Медичи, передъ *Ночью* Микель-Анджело. Она свиститъ въ Колизеѣ, озаренномъ луною, въ тѣ часы, когда ждешь, что изъ темной пасти вотъ-вотъ вырвутся на арену голодные львы и растерзаютъ колыхающіеся въ лунномъ блескѣ призраки... Она хохочетъ на дивномъ кладбищѣ *Campo santo*, въ Генуѣ... Она аукается на форумѣ Рима и на улицахъ Помпеи. Для нея нѣтъ святынь. Ей страшна тишина. Ей понятны лишь стадныя движенія, стадныя чувства... Она оскверняетъ всѣ дороги и храмы. И говоритъ, говоритъ, говоритъ... И ѣстъ, ѣстъ, ѣстъ...

— О, какое отвращеніе!

— Вы меня понимаете? — подхватываетъ Штейнбахъ. — Хоть вы дитя, но я чувствую, что вы меня понимаете... И когда я думалъ о Востокѣ, — думалъ съ той же страстной тоской, какая сейчасъ звучитъ въ вашемъ голосѣ, — я жаждалъ одного: быть лицомъ къ лицу съ природой... Слышать тишину и біеніе собственнаго сердца... Пережить мои грезы наяву. И быть счастливымъ въ забвеніи... Я этого не узналъ... Когда желѣзная дорога привезла меня къ пирамидамъ...

— Желѣзная дорога?

— Увы, да!.. Весь поѣздъ былъ полонъ англичанами. Они везли съ собой ножи, тарелки, стаканы, бутылки, цѣлыя корзины провизіи... И говорили, говорили, говорили... И ѣли, ѣли, ѣли... Насъ встрѣтили гиды... (Еще неизбѣжное проклятіе!) Они встрѣтили насъ, какъ своихъ жертвъ. И въ ихъ манерахъ сквозило превосходство посвященныхъ, стоящихъ у источника тайны, надъ невѣжественной толпой... Они насъ повели, какъ стадо. Грубые, небрежные, алчные... Всѣ должны были слушать, что они объясняли... Ходили стадомъ, смотрѣли стадомъ... Потомъ это людское стадо, шумно смѣясь, полѣзло на пирамиды. Разсѣлось... Пришелъ неизбѣжный фотографъ... Потомъ вынули провизію изъ корзинъ. Защелкали бутылки. И ѣли, ѣли, ѣли... пока гиды съ лицами преступниковъ хищно ругались между собою... Это они дѣлили ожидаемую добычу...

— О!..—срывается у Мани. Она закрываетъ лицо руками.

— Я вернулся въ отель. Вы должны понять, какъ я ждалъ минуты, когда взгляну въ лицо Сфинкса! Я сказалъ себѣ: «Пусть придетъ ночь, и туристы погрузятся въ сонъ!..» Когда луна поднялась высоко надъ пустыней, я пошелъ... Моя душа была полна трепета. Такъ идутъ на свиданіе... Было холодно. Я застылъ бы въ своемъ плащѣ, если-бъ вся моя кровь не горѣла отъ страсти... И вотъ, я увидѣлъ его издали... Мое сердце забилось... Огромная тѣнь падала на остывающій песокъ... Я видѣлъ профиль Сфинкса, обезображенный людской низостью... Вдругъ я разслыхалъ голоса, смѣхъ... «Иллюзія», подумалъ я.... Увы, нѣтъ! Группа туристовъ сидѣла на выступахъ. Какъ мухи копошились люди у подножія колосса. Они говорили, говорили, говорили... И ѣли, ѣли, ѣли... Окурки сигаръ, пустыя бутылки, корки апельсинъ валялись кругомъ... Гиды играли на какомъ-то восточномъ инструментѣ. Это было безсмысленное, примитивное и унылое жуж-

жаніе, напоминавшее осеннихъ мухъ... Я чуть не закричалъ отъ обиды... отъ боли за поруганную тишину, за оскверненнаго Сфинкса... На другое утро я уѣхалъ.

Маня долго молчитъ.

— Зачѣмъ вы мнѣ это разсказали?—горестно восклицаетъ она, наконецъ.

— Такова жизнь.

— Нѣтъ!.. Вы не должны были мнѣ это говорить!.. Вы отняли у меня красивыя грезы...

— Вы любите грезить?—подхватываетъ Штейнбахъ.

— Да. Я въ жизни цѣню не то, что она мнѣ даетъ. А то, что она мнѣ обѣщаетъ... И въ книгахъ тоже... Если сердце мое не забилось отъ страха или восторга, книга мнѣ не нужна...

— Вы романтикъ?.. Вамъ чуждъ реализмъ?

— Должно-быть... Я не люблю, чтобъ на картинѣ цвѣты походили на обыкновенные цвѣты. Пусть будутъ странные!.. Я люблю, чтобъ у кустовъ и деревьевъ была душа. Чтобъ у стѣнъ и домовъ были лица и голоса... Вы видѣли картины Борисова-Мусатова?

— У меня онѣ есть.

— Да?.. Тогда вы должны меня понять...

— Вы любите читать?—вкрадчиво спрашиваетъ Штейнбахъ, кусая трость и не сводя глазъ съ профиля Мани.

— Люблю. Но только не о мужикахъ, не о погромахъ, не о современной жизни... Это такъ сѣро, такъ плоско! Отъ этого не бьется сердце. Я не хочу въ романахъ встрѣчать и своихъ знакомыхъ! Хуже ли, лучше ли, пусть только герои будутъ иные! Я прощаю книгамъ все, кромѣ бѣдности вымысла...

«У этой дѣвочки яркій темпераментъ», думаетъ Штейнбахъ.

— Вы требовательны... Насколько я понимаю, вамъ должны нравиться модернисты.

— Да... Мнѣ не нужны яркія краски, опредѣленность контуровъ и выраженій. Я люблю сама искать и волноваться, когда читаю. Случалось вамъ, напримѣръ, задумываться надъ узоромъ какого-нибудь балкона или рѣшетки на улицѣ? Нѣтъ?... А я въ этихъ странныхъ линіяхъ *moderne* всегда ищу разгадку какой-то забытой мысли....

— Къ сожалѣнію, вѣкъ модернизма конченъ. За границей уже возвращаются къ реализму. Это особенно замѣтно на картинныхъ выставкахъ въ Парижѣ.

Маня горестно всплескиваетъ руками.

— Это ужасно!.. Знаете? Это Янъ научилъ меня любить эту школу...

— Кто?—быстро перебиваетъ Штейнбахъ.

— Янъ... Онъ никого не цѣнилъ, кромѣ модернистовъ.

Пристально глядитъ на нее Штейнбахъ. Его брови сливаются въ одну линію.

— О комъ вы говорите?

Маня показываетъ на могилу.

Молчаніе длится секунду. И Маня съеживается подъ взглядомъ этихъ глазъ, въ которыхъ нѣтъ ни блеска ни дна.

— Вы его знали?—тихо спрашиваетъ онъ.

Она гордо подымаетъ голову.

— Онъ меня любилъ...

— А!..

«Какъ хорошо! Гляди, гляди!.. Удивляйся!.. Теперь не будешь меня игнорировать!»

— Простите... Вы меня... необычайно удивили этимъ признаніемъ... Знали вы, что этимъ именемъ называть его нельзя?

— Да... Но, вѣдь, онъ уже умеръ!

О, какъ онъ глядитъ!.. Точно пронзить ее хочетъ глазами!.. «То-то!.. Будешь со мной теперь считаться!..»

— Вы можете мнѣ разсказать о вашемъ знакомствѣ?—спрашиваетъ онъ вкрадчиво, съ новымъ оттѣнкомъ почтительности.

И Маня разсказываетъ. Ей такъ пріятно говорить о Янѣ! Здѣсь, въ двухъ шагахъ отъ могилы!.. Пока она говоритъ, обхвативъ колѣни руками, глядя въ небо передъ собою, голубѣющее между густыми липами,—прошлое, такое свѣтлое, такое прекрасное, встаетъ передъ нею, какъ будто все это было вчера... Ей сладко говорить этому чужому человѣку то, что она скрыла отъ Сони, что она хранитъ въ душѣ, глубоко и ревниво, какъ Скупой Рыцарь свое золото... Какая-то необъяснимая сила толкаетъ ее говорить о любви... о томъ, какъ цѣловала она Яна, какъ они сидѣли, обнявшись... какъ голова ея лежала на груди его... И какъ она слышала біеніе его сердца...

Ея голосъ дрожитъ отъ нѣжности, отъ охватившей ее жажды любви... Поблѣднѣвшее лицо теперь уже повернуто къ Штейнбаху и договариваетъ безъ словъ то, что она не рѣшается сказать...

Когда она говоритъ объ его смерти, о послѣднемъ свида-

ніи,—вдругъ спазмъ хватаетъ ее за горло... Она вскрикиваетъ. И, уронивъ голову на спинку скамьи, рыдаетъ отчаянно... Какъ будто только сейчасъ, черезъ годъ, она осмыслила въ полной мѣрѣ, какое сокровище отняла у нея жизнь.

— Дитя мое... Бѣдное дитя мое!—шепчетъ Штейнбахъ, потрясенный непосредственностью и свѣжестью этого горя. Ахъ, онъ такъ давно не встрѣчалъ ни бурныхъ слезъ, ни искренней радости!

Его рука невольно ложится на головку съ непокорными кудрями и гладитъ ихъ. Забытое волненіе согрѣваетъ его душу... Хотѣлось бы что-нибудь сдѣлать для нея... Что? Что?.. Всѣ его милліоны безсильны вознаградить ее за такую утрату.

Она вдругъ встаетъ. Носъ, вѣки и губы у нея моментально распухли. Слезы портятъ ее, и она не любитъ плакать. Но теперь ей все равно!.. Эти слезы были такъ сладки!

Съ благодарностью глядитъ она на этого чужого человѣка, неожиданно давшаго ей такъ много... И глаза ея такъ прекрасны, что только ихъ видитъ Штейнбахъ въ этомъ подурнѣвшемъ лицѣ.

— Извините... Не смѣйтесь надо мною!.. До свиданія!..

— Постойте! Когда же я васъ увижу?

— Завтра... Нѣтъ! Не ходите за мной!.. Не надо!..

Она быстро-быстро, упругой, молодой, порывистой походкой идетъ, не оглядываясь. Почти бѣжитъ по аллеѣ.

Штейнбахъ глядитъ ей вслѣдъ. Задумчивый и тревожный...

«Если-бъ я былъ художникомъ, я написалъ бы съ нея картину, полную движенія. И назвалъ бы ее *Весенній Вѣтеръ*... Какъ этотъ вѣтеръ, она несетъ съ собой обѣщанія, тревогу... какія-то смутныя возможности...»

Онъ долго сидитъ у могилы Яна, приглядываясь къ охватившему его настроенію.

Какъ давно, какъ безконечно давно ушли изъ его жизни такія минуты!

## II.

— А!.. Вы уже здѣсь?

— Давно... Я жду васъ больше часу.

Она смѣется, сверкая зубами, глазами, ямочками на щекахъ. Какъ будто искрится вся... Она подаетъ ему руку, какъ знакомому.

— Я не могла прійти раньше... Тамъ гости... Пріѣхала эта

глупая Катя Лизогубъ... Она говоритъ, о чемъ хотите. И смѣется рѣшительно всему... Я не выношу такихъ людей! Вы ее знаете?

— Не-множ-ко...

— Она вамъ нравится? Скажите... Нравится?

— Я не помню ея лица.

Маня зло и весело смѣется.

— Я не хочу, чтобъ знали о нашихъ встрѣчахъ!—говоритъ она серьезно. — Тогда пропадетъ вся ихъ прелесть... Правда?.. Правда?

Отъ нея вѣетъ въ его усталую душу такими весенними настроеніями, что онъ, какъ вчера, чувствуетъ себя молодымъ.

— Вы — маленькая волшебница! — говоритъ онъ. — Нынче, просыпаясь, еще не придя въ себя, я почувствовалъ радость... Я почувствовалъ, что въ мою жизнь вошло что-то... Новое и свѣтлое.

— Я тоже!—говоритъ она наивно и восторженно.

— Но вы молоды... У васъ это чувство естественно. А я уже забылъ его.

— А вы развѣ стары?—спрашиваетъ Маня. Она садится, наклонивъ на бокъ голову, и внимательно его разглядываетъ.

«Какъ птичка!..» думаетъ онъ съ грустью. «Зачѣмъ, глупецъ, я говорю ей о годахъ и самъ себѣ рою яму?..»

— Мнѣ подъ сорокъ лѣтъ...

— Со-рокъ?..

— Ахъ, какое разочарованіе!.. Не правда ли?.. Да, я безъ натяжки могъ бы назваться вашимъ отцомъ... А Янъ былъ такъ молодъ!.. Такъ свѣтелъ и гармониченъ!

— Какъ? Какъ вы сказали?.. Повторите!

Она вся насторожилась.

О, какіе глаза у этой дѣвочки!.. Штейнбахъ безъ волненія не можетъ глядѣть въ эти знойные и такіе невинные глаза.

— Я очень любилъ Яна... При всей его сложности онъ былъ необычайно гармониченъ. Онъ дѣйствовалъ на меня, какъ горы. Вы удивлены?.. Я люблю горы. Больше чѣмъ море... Море волнуетъ меня, раздражаетъ. Оно такъ похоже на нашу душу! Мятежное, измѣнчивое, предательское... А горы молчатъ... Онѣ полны тайны и величія. Это ступени боговъ.

Маня вздыхаетъ всей грудью, и ему пріятно. Онъ чувствуетъ, что настроеніе создано.

— Я всегда отъ людей уходилъ въ горы. Только тамъ понимаешь, что значитъ тишина и воздухъ. Я подымался такъ высоко, что даже пчелы не жужжали внизу, подъ ногами. И, лежа тамъ часами, я забывалъ объ обидахъ, о разочарованіяхъ... Я цѣлый годъ прожилъ въ шалашѣ, въ горахъ Кавказа.

— Вы, значитъ, людей не любите? Нѣтъ?

— Нѣтъ... Янъ любилъ будущаго человѣка. Свободнаго, смѣлаго и прекраснаго... Я въ такого не вѣрю. Изъ всѣхъ существъ въ мірѣ человѣкъ наиболѣе жестокое и себялюбивое животное. И если тысячелѣтія не сдѣлали его инымъ, разсчитывать не на что. Я чудеса отрицаю... Только вѣками родятся такіе, какъ Янъ... Для того, должно-быть, чтобъ показать намъ, какимъ могъ быть идеальный человѣкъ... Но міръ этого идеала не пріемлетъ.

— Ради Бога!.. Не говорите такъ! Я заплачу...

Онъ тихонько беретъ ея руку. И тихонько подноситъ къ своимъ губамъ.

Она вздрагиваетъ. Это прикосновеніе нѣжно. Но ей кажется, что это ожогъ. Она вырываетъ руку. И, потрясенная своими ощущеніями, глядитъ на него испуганно, почти враждебно.

— Простите!.. Я не хотѣлъ васъ обидѣть,—робко говоритъ онъ.

«Какіе зрачки!.. Какіе жуткіе, мрачные глаза!»

— Послушайте... Можно?.. Вы не обидитесь?

— Что такое?

Она подвигается къ нему.

— Меня ужасно тянетъ посмотрѣть въ ваши глаза...

— Смотрите...

Его губы кривятся въ улыбкѣ. Хищная, саркастическая улыбка... Пусть! Все равно!.. Она кладетъ ему руки на плечи и снизу вверхъ глядитъ ему въ зрачки... Ихъ лица близки. Дыханіе смѣшивается...

Ноздри Штейнбаха вздрагиваютъ. И сердце его начинаетъ стучать. О, какое наслажденіе!.. Давно забытое...

«Неужели я еще способенъ увлекаться?..»

— У васъ совсѣмъ не видно зрачковъ... Точно изъ окна освѣщеннаго дома смотришь въ темную ночь, прильнувъ лицомъ къ стеклу...

Онъ глядитъ, какъ шевелятся ея губы... «Она навѣрно чувственна. Это такая рѣдкость! Такъ цѣнно въ женщинѣ!.. Если бы...»

Ему страшно, что она замѣтитъ его волненіе. Желаніе дѣлаетъ лицо старымъ и неэстетичнымъ. А ему хочется нравиться....

«Почему она такъ поблѣднѣла? Такъ тяжело дышитъ?..»

Она отодвигается. Печальная, подавленная... «Какая роковая, какая страшная красота!» не думаетъ, а какъ-то чувствуетъ она всѣми фибрами.

Что-то пошатнулось и погасло, словно, въ ея собственной душѣ... Родилось ли новое? Умерло ли старое? Ахъ, она ничего не знаетъ! Она словно утонула во мракѣ его глазъ въ это коротенькое мгновеніе. Словно заглянула въ бездну. Заманчивую и страшную...

Онъ молчитъ, выжидая.

— Да... Вы совсѣмъ другой,—говоритъ она какимъ-то разбитымъ голосомъ.—Янъ былъ, какъ весенній день...

— А я, какъ осенняя ночь?

— Да... Вы не сердитесь? Не сердитесь?

— Нѣтъ... Я это знаю самъ.

Теперь Манѣ его жаль. Она безсознательно придвигается ближе. Когда онъ такой, у нея къ нему другія чувства. Простыя и нѣжныя...

Онъ точно читаетъ въ ея душѣ.

— Сядьте со мной, какъ вы сидѣли съ Яномъ!—шепчетъ онъ робко, какъ мальчикъ.—Если я не противенъ вамъ, сдѣлайте такъ!

Она колеблется мгновеніе... Потомъ ложится головой на его плечо. Онъ тихонько обнимаетъ ее.

Ея глаза закрыты. Она не разберетъ, чье сердце стучитъ такъ, что оглушаетъ. Голова кружится... Нѣтъ дыханія...

Она рѣзко отодвигается.

— Нѣтъ! Не могу!.. Вы не Янъ... Не могу!.. Не сердитесь, пожалуйста!.. Но... у меня къ вамъ... совсѣмъ другое чувство...

— Отвращеніе?—подсказываетъ онъ. И его верхняя губа приподнимается, показывая зубы.

«Не думаетъ ли онъ, что это улыбка?..» Она внимательно и уже холодно разсматриваетъ его лицо. Да... Вонъ у него уже сѣдѣютъ виски. И волосы курчавые, какъ у страшнаго дяди...

Лѣтъ черезъ десять-пятнадцать онъ будетъ такой же жуткій. Какое сходство!.. И какъ она сразу не замѣтила этого сходства?

Очарованіе исчезаетъ... Какъ жаль!.. Нѣтъ... Это даже хорошо... Слишкомъ сильно очарованіе! Надо взять себя въ руки... «Господи, помоги мнѣ!.. А то влюблюсь безъ памяти и начну бѣгать за нимъ, какъ гимназистки за учителями. А онъ будетъ опять говорить съ снисхожденіемъ и втайнѣ презирать меня, какъ другихъ... Но брови... брови!.. Онѣ меня сводятъ съ ума!»

Штейнбахъ съеживается отъ ея взгляда и невольно опускаетъ рѣсницы.

Теперь она видитъ его въ профиль... Ничего въ немъ хищнаго, ничего типично-еврейскаго. Какая чудная матовая кожа безъ блеска и румянца!.. Какія ноздри!

Вдругъ...

Маня сама не знаетъ... Огорчена она или рада?.. Она видитъ изъяны этого лица... Уши... Маленькія, красивыя, но блѣдныя. Мертвенно-блѣдныя и прозрачныя, какъ будто... О, какое отвращеніе!... И синеватыя вѣки... Какія-то мертвыя.. Она вздрагиваетъ невольно. Ей вспоминаются вѣки и уши маленькаго Познанскаго... «Жидъ!» громко говоритъ кто-то въ душѣ Мани... Какъ она могла объ этомъ забыть?!

Когда она встаетъ, холодная и далекая, Штейнбахъ чувствуетъ, что все потеряно.

Онъ уничтоженъ. Спрашивать нечего. У нея слишкомъ выразительное лицо.

«Я старъ для нея», думаетъ онъ. И сердце его сжимается. Въ первый разъ онъ встрѣчаетъ пренебреженіе женщины.

Это конецъ!

Онъ даже не проситъ ее вернуться завтра, когда она идетъ по аллеѣ, чужая ему и равнодушная... Она жестока, какъ можетъ быть жестока только молодость. И вся власть его милліоновъ безсильна покорить фантазію этой дѣвочки, купить ея ласку.

Онъ сидитъ, сгорбившись, на скамьѣ... Чувствуя на своихъ плечахъ мертвую тяжесть прожитой жизни.

Онъ прислушивается съ какой-то фаталистической покорностью къ ея легкимъ замирающимъ шагамъ.

Пришла, какъ весна... И ушла, какъ юность...

Все кончено.

## III.

— Здравствуйте, Штейнбахъ!.. Ха!.. Ха!.. Что вы вздрогнули? Неужели вы такъ задумались, что не слыхали моихъ шаговъ?.. О чемъ же вы думали? Вы можете мнѣ отвѣтить? Или вы меня не ждали?.. Или вы меня забыли?

Какъ всегда цѣлый каскадъ смѣха и словъ!.. И не знаешь, на что отвѣчать...

Онъ вскочилъ, забывъ тоску вчерашняго вечера, эту безсонную ночь, свои горькія думы сейчасъ... Онъ стоитъ, сжимая ея ручки. Всю ее обнимая жаднымъ взглядомъ!

О, какъ она ему нужна, эта дѣвочка! Съ ея смѣхомъ, юностью, жаждой жизни! Какъ свѣжій оазисъ въ палящей пустынѣ... Какъ сонъ послѣ утомительной дороги... Какъ вино, когда жаждешь забвенія... Нынче сѣрый день. Собирается дождь. Но она пришла и принесла съ собой солнце.

— Я думалъ, что вы не вернетесь.

Она съ восторгомъ глядитъ на его брови.

— Ха!.. Ха!.. Вы думаете, я ужъ такъ богата впечатлѣніями, что не стану дорожить встрѣчей съ вами?.. Я такъ много мечтала о васъ, что не скоро буду сыта... Вы можете не опасаться.

«У нея нѣтъ ни тѣни кокетства! Это страшно».

— Я боюсь вамъ вѣрить. Неужели вы обо мнѣ... думали?

— О!.. И я и Соня... Мы о васъ говорили цѣлый годъ. И я васъ видѣла во снѣ... Почти каждую ночь!

Она разсказываетъ ему о встрѣчѣ на станціи.

— Вы помните?.. Я васъ толкнула... Вы меня задѣли плащомъ и сказали: «Извините!..»

— Н-нѣтъ... Простите... Какъ это было?.. Постойте...

Ея лицо вытягивается и блѣднѣетъ. Она видитъ опять ярко и отчетливо всю разницу ихъ общественнаго положенія, эту глубокую пропасть, раздѣляющую ихъ жизни. И черезъ которую только фантазія ея перекинула воздушный мостикъ...

Она отымаетъ руку, которую онъ все время пожималъ.

— Вы не помните?.. Я это вижу... Ахъ, пожалуйста!.. Ваша деликатность не при чемъ... Я чувствую, что вы не помните... Да и что тутъ страннаго?.. Что мы съ Соней для васъ?.. Эта встрѣча... Мы жили ею цѣлый годъ... А вы?.. Оставьте мою руку!.. Оставьте!

— Вы сердитесь?

— Ахъ, это слишкомъ мало!.. «Сердитесь!» Я васъ ненавижу!.. Я цѣлый мѣсяцъ тогда васъ ненавидѣла...

Онъ вдругъ смѣется.

— Какая вы милая!—говоритъ онъ неожиданно и мягко.— Какъ я счастливъ, что вы меня ненавидѣли!

Все разомъ мѣшается въ ея душѣ. Надъ хаосомъ словно выглянуло солнце. Она смѣется всѣми ямочками. Зубы сверкаютъ. Сіяютъ глаза... Они опять, какъ товарищи, въ эту минуту. Равные и близкіе.

— Какъ странно!—говоритъ она, отдавая ему опять свою руку.—Тотъ Штейнбахъ, котораго я видѣла на станціи, и вы... совсѣмъ разные... Это два лица... Замѣтили вы, что такъ бываетъ всегда?.. Ни одинъ человѣкъ непохожъ на то, что̀ мы о немъ думаемъ и чего мы отъ него ждемъ, когда мы видимъ его въ первый разъ... Поэтому я не люблю знакомиться... Я люблю только мечтать о людяхъ...

— Да будетъ благословенна на этотъ разъ ваша ошибка!— шепчетъ онъ, жадно любуясь ею.

Но она не замѣчаетъ своей власти надъ нимъ. Она полна только собой.

«Какая сила!» думаетъ онъ. «Она взяла мое сердце въ свои руки. Она держитъ мою жизнь... И я не знаю, я ничего не знаю, что она сдѣлаетъ изъ нея? Уронитъ ли, какъ этотъ платочекъ, на дорогу? Растопчетъ ли, уходя, равнодушная и жестокая... какъ вчера?.. Или позоветъ за собою... Боже! Я даже не знаю, кто она?.. Какъ ея имя?.. Я встрѣтилъ ее на этой скамьѣ въ одно утро. Загадочную, внезапную, какъ мою судьбу... И изъ рукъ ея я готовъ принять горе, счастье... Даже смерть! Безъ ропота и сожалѣній...»

Она говоритъ задумчиво:

— Иногда мнѣ жалко, зачѣмъ мы познакомились?.. Какія-то чары исчезли... Греза умерла... Теперь я знаю, какъ вы говорите, смѣетесь... Какъ отъ васъ пахнетъ... Ну да, конечно.. Что вы удивляетесь? Ха!.. Ха!.. У всякаго человѣка свой запахъ. Надо только умѣть его слышать. А у меня обоняніе тонкое... Знаете? У Яна лицо такъ чудно пахло весенней свѣжестью! Яблоками... Я любила наклониться къ его бородкѣ и нюхать... Опьяняло такъ... А отъ вашего лица... когда я вчера положила вамъ на плечо голову... отъ вашей бороды пахнетъ совсѣмъ не такъ...

Штейнбахъ замираетъ отъ ужаса. Пальцы его разомъ цѣпенѣютъ.

— Тоже опьяняюще... Только... у меня голова кружится. И сердце стучитъ... Точно дурманъ нюхаешь... Вы видѣли цвѣтокъ дурмана?.. Вы такой же... ядовитый...

— Противный?

— Д-да... Прекрасный. Но... противный.

Они оба смѣются. Онъ съ облегченіемъ.

— Я боюсь, что была когда-то собакой... Въ другомъ мірѣ, въ прошлой жизни... Вы вѣрите въ переселеніе душъ? Я вѣрю. Ха!.. Ха!.. У меня такъ развито обоняніе! Оттого я такъ люблю цвѣты, мѣха... Я не знаю цвѣтка безъ запаха. У всѣхъ есть, самый тонкій. И у людей тоже. У Сони одинъ, у дядюшки другой. У однихъ милый, у другихъ противный...

Шелестящіе звуки и шорохи наполняютъ паркъ.

— Дождь идетъ,—говоритъ Штейнбахъ огорченно.—Какъ быть? Гдѣ вашъ зонтикъ?

— Ахъ, онъ весь въ дырочкахъ! Я всегда безъ зонтика. Я не боюсь дождя...

— Но вы промокнете. Простудитесь... Хотите?.. (Онъ замираетъ на мгновеніе, испуганный своей смѣлостью и радостью, которая его охватываетъ.) Хотите вы... переждать въ домѣ?

— Гдѣ?.. Гдѣ?..

— У меня въ домѣ...

— Ахъ, какъ это хорошо!.. Я давно хотѣла его видѣть... Это далеко отсюда? Пойдемте скорѣй!.. Скорѣй..

---

— Какое великолѣпіе!—говоритъ Маня, останавливаясь въ кабинетѣ, передъ оригиналами Рембрандта, Дюрера и Ванъ-Дика.

— Отецъ особенно любилъ этихъ художниковъ. Моя мать родомъ изъ Голландіи. Это въ ея память. Вообще, здѣсь нѣтъ ничего моего. Все это вкусы и страсти отца... На всемъ остался отпечатокъ его крупной души. Я здѣсь такой же гость, какъ и вы...

Онъ садится на мягкій пуфъ, у ея ногъ. И беретъ въ свои ея руки.

Она молчитъ, подавленная впечатлѣніями. Никогда издали даже не видала она такого богатства. Обстановка Горленко и Лизогубовъ такъ мизерна кажется теперь! И какъ свободно движется и дышитъ здѣсь этотъ *жидъ*... какъ сказала бы Вѣра Филипповна. «Есть лица, созданныя для богатства. А я Золушка-

замарашка», говоритъ она себѣ. «Мои юбка и туфли здѣсь ужасны... Какъ онъ этого не замѣчаетъ?»

Она грезитъ наяву. Какъ странно ей сидѣть здѣсь, на этой тахтѣ, крытой персидскими коврами! Точно во снѣ...

Нѣтъ, она не Золушка. Она принцесса... А вотъ ея вассалъ, у ея ногъ. Красивый. Немножко страшный. Но покорный... Точно коршунъ на цѣпи, готовый выпустить свои когти.

— Какъ ваше имя?—словно въ пьесѣ спрашиваетъ онъ ее.

— Вербена...

— Н-нѣтъ... Серьезно... Скажите, кто вы?

— Зачѣмъ? Такъ лучше... У меня вульгарное имя. И такъ хорошо, что мы ничего не знаемъ другъ о другѣ! Ни о прошломъ, ни о чемъ...

Онъ улыбается.

— Вы думаете, у меня нѣтъ прошлаго?.. Вы такъ думаете?.. А Янъ?

Ея лѣвая бровь поднята выше правой... Такое капризное личико!

— О, да!.. Это страшно много!—говоритъ онъ серьезно.— Онъ обогатилъ вашу душу. Онъ умѣлъ дарить.

— Объясните!—Она придвигается къ нему. Ея пыльныя старыя туфельки пачкаютъ его колѣни. Но эта близость не тревожитъ ее теперь. Когда они говорятъ о Янѣ, онъ словно тутъ, съ ними. Любовь къ нему сближаетъ ихъ души. Создаетъ атмосферу свѣта и довѣрія.

— Есть люди, которые всю жизнь обречены давать окружающимъ свою душу. Ихъ мало. Есть такіе, что умѣютъ только брать у другихъ. Ихъ милліоны... Янъ былъ щедръ, какъ князь. Его натура была сокровищницей, откуда всѣ черпали пригоршнями. И уходили счастливые... Поэтому его нельзя забыть.

— А вы?..

— Что я?

— Вы... даете? Или только берете у другихъ?

— Моя жизнь—это сплошная иронія... Мнѣ было мало отпущено судьбой талантовъ, энергіи, жизнерадости, желаній... Я—потомокъ вырождающейся семьи. Я послѣдній въ своемъ родѣ. Мы—евреи—быстро вырождаемся. Быть-можетъ, потому, что борьба за жизнь слишкомъ тяжело дается. Впрочемъ, о моей семьѣ этого нельзя сказать... Еще въ XII-мъ вѣкѣ предки матери моей, Девидсоны, ссужали деньгами королей и лордовъ.

А при Елисаветѣ англійской они были въ почетѣ при дворѣ... Мы никогда не знали униженій и нужды, этихъ проклятій, тяготѣющихъ надъ еврействомъ... Тѣмъ не менѣе, ядъ вырожденія отравилъ нашу кровь. И я обреченъ съ колыбели.

Онъ смолкаетъ, опустивъ синеватыя вѣки. Горестно изогнулись черныя брови.

О, какъ больно! Какъ жалко его слушать!.. Какимъ предчувствіемъ томится ея душа! Какъ ей хочется поцѣловать этотъ блѣдный лобъ, эти трагическія брови!

— Вы не похожи на отца!.. Вы удивительно похожи на вашего дядю!

— Какъ?.. Вы развѣ его знаете?

Тѣнь проходитъ по его чертамъ. И какъ бы падаетъ на щеки Мани. Онѣ блѣднѣютъ. Блескъ ея глазъ меркнетъ внезапно. И онъ это видитъ.

Маня закрываетъ глаза. Ей хочется плакать... Отчего это такъ холодно стало вдругъ?.. Хорошо бы согрѣться! Спрятать голову на его груди. Почувствовать себя любимой... Вспоминается Янъ...

Вдругъ горячая слеза капаетъ на руки Штейнбаха. Онъ вздрагиваетъ и поднимаетъ голову.

— Вы плачете?.. О чемъ вы плачете?

— Мнѣ васъ жалко... не знаю... отчего... И себя жалко... И васъ... Нѣтъ, не глядите на меня!.. У меня сейчасъ распухнетъ носъ, и я буду страшная... Ну, скорѣе! Говорите что-нибудь еще!

— Вербена, какъ васъ зовутъ люди?

Она смѣется.

— Маней... Видите, какъ просто!.. Зовите и вы меня Маней!.. Все-таки это не такъ ужасно, какъ Марья Сергѣевна... Фи!.. Вообще, до чего возмутительно, что родители сами выбираютъ намъ имена! Почему бы не крестить насъ, когда мы вырастемъ? Если бы меня звали Прасковья или Настасья, я лишила бы себя жизни... А васъ какъ зовутъ?

— Маркъ.

— Маркъ... Маркъ...—повторяетъ она, прислушиваясь и, какъ птичка, качая головой.—Это хорошо звучитъ. Напоминаетъ Римъ... А дальше? Нѣтъ, нѣтъ, молчите! (Она кладетъ ему руку на губы.) Я боюсь, что дальше будетъ Миронычъ, Львовичъ, Борисычъ... что-нибудь невозможно еврейское. Ха!.. Ха!.. (Она вспыхиваетъ.) Вы не обижаетесь? Вы не сердитесь?

— Вы не любите евреевъ?.. Не отвѣчайте и вы... Я это чувствую.

— Ради Бога, не сердитесь!.. Но это правда... Я все время стараюсь забыть, что вы—еврей. И мнѣ это удается... Вы такъ прекрасны! Такъ аристократичны... Знаете? Здѣсь на селѣ былъ студентъ съ чуднымъ именемъ Измаилъ... А эти безвкусные жж. .

— Жиды,—подсказываетъ Штейнбахъ.

Маня опять вспыхиваетъ и теряется.

— Простите! Это дурная привычка... У Горленко всѣ такъ говорятъ... А эти евреи зовутъ его *Зяма*... Они лишены чутья. И зачѣмъ они всѣхъ называютъ уменьшительными именами? Саша Шнейдеръ... Какъ это нелѣпо!.. *Зяма*... Это напоминаетъ что-то плоское, ползучее... вродѣ червяка... А у него была такая огненная душа!.. А какъ жаль, что именно васъ не зовутъ Измаилъ!

Она задумывается на мгновеніе.

— Кстати, я слышала, что каждый человѣкъ напоминаетъ какое-нибудь животное... Я сама среди гимназистокъ встрѣчала кошекъ, коровъ, овецъ и крысъ. Это самые распространенные типы... А вы похожи на коршуна. Видѣли вы въ Зоологическомъ саду, въ клѣткѣ, этихъ трехъ хищниковъ? Когда подходишь, они зорко и надменно глядятъ тебѣ въ лицо... У нихъ глаза такъ близко-близко поставлены! И какъ будто брови взмахнули надъ ними, хотя и нѣтъ бровей... Какіе они красивые и гордые!.. И какой позоръ для человѣка, что онъ заперъ ихъ въ клѣтку!

Вдругъ она вспоминаетъ.

— Постойте!.. Вы говорили мнѣ о себѣ и о Янѣ. Не можете ли вы докончить? Я васъ прервала...

«Она не такъ непосредственна, какъ я полагалъ», удивленно думаетъ Штейнбахъ.

— Я вамъ напомню. Почему вы не любите людей?

— Они ко мнѣ безжалостны... У меня въ дѣтствѣ была робкая и нѣжная душа. Они сдѣлали изъ меня циника. Самая грубая лесть, самое грубое игнорированіе моей собственной личности... Ненасытная алчность... Ничѣмъ неприкрытый расчетъ... Вотъ, что я видѣлъ кругомъ себя въ тѣ годы, когда ищешь друга, когда вѣришь въ человѣка, когда ждешь любви... Если-бъ я былъ бѣденъ, я нашелъ бы, быть-можетъ, друзей, любовь, интересъ къ себѣ... Но я былъ мѣшокъ съ деньгами. Отъ меня

ничего не ждали. У меня ничего не просили, кромѣ золота... Отдѣльные люди и цѣлыя партіи—бились изъ-за меня, какъ будто я былъ высшій призъ въ жизни! Всѣ добивались власти надо мной... Но искали не меня... Даже женщины любили меня сквозь призму моихъ милліоновъ. Во всѣ эти долгіе годы я не встрѣтилъ человѣка, который подошелъ бы ко мнѣ безъ расчета, съ глубокимъ интересомъ къ моей душѣ. Меня всюду встрѣчаютъ восхищенные взгляды и провожаетъ шопотъ... Но я знаю цѣну этому вниманію... «Вотъ идетъ Штейнбахъ... Милліонеръ Штейнбахъ...» говорятъ на моемъ пути. Если-бъ вы знали, какъ мучительно цѣпляться за иллюзіи! И терять ихъ внезапно... Изъ-за одного случайно сорвавшагося слова, изъ-за блеска глазъ, безсознательной мимики!.. Если-бъ вы знали, что значитъ цѣловать прелестное лицо въ безумной жаждѣ забвенія! Слышать слова любви и... ничему не вѣрить!.. Моя жизнь—иронія... Я ничего не значу безъ богатства. И это богатство я проклинаю. Мой отецъ находилъ удовлетвореніе въ власти надъ людьми. Онъ упивался ею... Но развѣ *это* власть?.. Янъ—бѣдный, оборванный, не имѣвшій крова надъ головою—царилъ въ душахъ людей. И даже изъ могилы его завѣты звучатъ въ сердцѣ тѣхъ, кто принялъ его вѣру... Я—нищій предъ Яномъ. И... я давно банкротъ... Какъ охотно сбросилъ бы я съ себя всѣ эти золотыя цѣпи! Но развѣ я—господинъ своей жизни? Нѣтъ рабства ужаснѣе моего!.. Каждый вправѣ прійти ко мнѣ въ любой часъ, когда я хочу быть одинъ, когда я хочу помечтать, когда я хочу отдохнуть... Каждый вправѣ нарушить съ грубой безцеремонностью мое настроеніе и изложить мнѣ свои просьбы... Нѣтъ! Свои требованія... У меня всѣ требуютъ. А я долженъ выслушивать каждаго... видѣть плоскія лица, пожимать ненужныя руки... Положеніе обязываетъ! Такъ началось еще съ университета... Сколько разъ я мечталъ за этотъ годъ развязаться съ заводомъ! Продать его, передать... Нѣтъ! Волосъ встаетъ дыбомъ на головѣ, когда вспомнишь, какая гора обязанностей лежитъ на моихъ плечахъ! Обязанностей передъ обществомъ, передъ народомъ, передъ уѣздомъ, передъ властями... Какой гулъ и ропотъ! Увѣщанія губернатора... Ахи, удивленные взгляды... «Конечно, я боленъ? Все это нервы... Надо отдохнуть... Благосостояніе края!..» О, Боже мой! Я связанъ по рукамъ и ногамъ всевозможными обязательствами... Куда бы я ни ѣхалъ, меня преслѣдуютъ телеграммы, срочные отвѣты, дѣловыя письма... Сколько надо про-

честь ежедневно! Сколько отвѣтить!.. Всюду управляющіе. Но у нихъ нѣтъ иниціативы. Отецъ желѣзной рукой держалъ всѣ нити. Всѣ привыкли только къ подчиненію. Я былъ счастливѣе при отцѣ... Я могъ уѣзжать и жить инкогнито за границей... Ахъ, я усталъ!..

Не выпуская рукъ Мани, онъ притягиваетъ ее къ себѣ ближе. И голосъ его дрожитъ и крадется въ ея душу.

— Маленькая фея!.. Вы не знаете, какой жалкій нищій сидитъ передъ вами! Вы не знаете, какъ голодна его душа! Какъ убога жизнь!.. Вы не понимаете, какъ онъ мучительно завидуетъ вашей непосредственности и вѣрѣ въ себя!.. Вы такъ богаты! Вы такъ щедры! Люди ничего не дали мнѣ, кромѣ глубокой усталости и отвращенія!.. Вы подарили мнѣ мои красивые сны. Мои робкія и блѣдныя надежды... Пусть я обманулся! И снова проснусь завтра такимъ же одинокимъ и нищимъ, какимъ былъ до встрѣчи съ вами! Я все-таки былъ счастливъ этимъ обманомъ... Взамѣнъ требуйте отъ меня всего, включая и мою жизнь!.. И я съ радостью положу ее къ вашимъ ногамъ!

Маня глядитъ въ его зрачки... Такъ глядятъ въ бездну... Тихо кружится голова. Сладко замираетъ сердце...

Жуткое блаженство...

— Вы меня любите, Маркъ?—въ безграничномъ изумленіи, какъ во снѣ, спрашиваетъ она.

— О, Маня...

И ничего больше... Ни одной клятвы... Ни одного признанія.

Къ чему? Его голосъ пронзилъ ея душу. Отъ его взгляда задрожали всѣ ея нервы.

Она вѣритъ... Она счастлива.

Онъ обнимаетъ ее тихонько. Тихонько привлекаетъ къ себѣ. Прекрасно и трагично его одухотворенное лицо.

Она беретъ въ обѣ руки его голову. И цѣлуетъ его лобъ, эти скорбныя брови. Потомъ прижимается къ его головѣ щекой...

Онъ замеръ подъ этой лаской.

Они сидятъ недвижно. Оба съ закрытыми глазами. И слушаютъ полнозвучную тишину своихъ душъ.

## IV.

Дождь идетъ ежедневно. И Маня, въ плащѣ съ капюшономъ, приходитъ въ извѣстный часъ къ рощѣ, гдѣ ждалъ ее когда-то Янъ.

Теперь тамъ ждетъ ее Штейнбахъ. Онъ везетъ ее къ себѣ въ кабріолетѣ. И потомъ довозитъ обратно до рощи.

Маня огорчена. Вѣра Филипповна встревожена ея прогулками въ такую пору. Кто-то видѣлъ ее по дорогѣ въ Липовку...

Она дрожитъ за эту тайну! Какой ужасъ, что ее захватаютъ чужія руки! Будутъ сплетничать, связывая съ улыбкой ихъ имена!

— Да. Жизнь—пошлость!—говоритъ онъ.—Вы даже не понимаете всего, что могутъ сказать о насъ... У людей нѣтъ фантазіи. И нѣтъ потребности въ красотѣ... Они счастливы только, когда могутъ выполоскать въ уличной грязи вашу душу. Это они называютъ «общественнымъ мнѣніемъ»!

Маня говоритъ уныло:

— Теперь пріѣзжайте къ Горленко и знакомьтесь со мной! Больше намъ ничего не остается!.. Барометръ упалъ. Дождь можетъ итти двѣ недѣли... Пріѣзжайте завтра... Но помните, что мы незнакомы! Въ сущности, это правда... Мы будемъ уже не тѣ въ другой обстановкѣ.

Они долго молчатъ, подавленные.

— Маркъ, за обѣдомъ говорили о васъ...

— Конечно, бранили?

— Представьте, не очень... Говорили, будто вы талантливый адвокатъ.

Онъ кривитъ губы.

— Вы, можетъ-быть, думаете, что эта улыбка?—строго спрашиваетъ она его.—Это просто гримаса... Я васъ не выношу, когда вы улыбаетесь!.. Не выношу!

— Простите! Не буду.

Онъ уже смѣется.

— А теперь ненавижу!—Она топаетъ ногой.—Какой у васъ циничный, отталкивающій смѣхъ!

— Нѣтъ, Маня... У меня полное отсутствіе таланта. Если-бъ мнѣ пришлось краснорѣчіемъ добиваться приза въ жизни... любви, напримѣръ... я не сумѣлъ бы бороться даже тогда... Адвокатъ безъ темперамента и творчества—одно недоразумѣніе. Таковъ именно я.

— Жаль... Мнѣ было пріятно слышать... Значитъ, у васъ нѣтъ темперамента? Нѣтъ?

— Абсолютно никакого... Какъ у амфибіи.

— Какая гадость!—Маня смѣется.—А что же у васъ есть?

— Чудовищная чувственность... Это въ крови семита.

Маня задумывается.

— А какая же разница?.. Какая?

— У Яна и у Зямы чувственности не было. Или она спала глубоко... Но въ ихъ душахъ царили глубокія страсти, толкавшія ихъ къ подвигу или къ преступленію, руководившія ихъ жизнью. Идея, женщина... Все это заполняло ихъ душу. Затопляло ее, какъ могучая волна. И они дѣйствовали и любили смѣло, ярко, не разсуждая.

— А вы? А вы, Маркъ?

— А я?.. Я люблю тѣло женщины. И ощущенія, которыя оно мнѣ даетъ... Иногда какой-нибудь поворотъ головы, какая-нибудь одна линія въ лицѣ или въ фигурѣ сводитъ меня съ ума. Иногда манера смѣяться. Манера... ласкать... Здѣсь масса оттѣнковъ. Каждая женщина глубоко индивидуальна въ своей любви... Но я страшно холоденъ и бѣденъ душой... Страсть, Маня,—это молнія, которая ослѣпляетъ. И часто зажигаетъ душу другого... Чувственность—это болотные огоньки. Съ ними все также темно и жутко. И холодно... Вы гонитесь за ними. Они исчезаютъ...

— Постойте!.. (Маня вся насторожилась и сосредоточенно думаетъ.) Вы значитъ... Вы все-таки любите женщинъ?

— Очень,—говоритъ онъ. И его изогнутыя губы кривятся...

Ей вдругъ становится тяжело.

Зачѣмъ она здѣсь?.. Къ чему они сидятъ, обнявшись? Такимъ холодомъ вѣетъ отъ его словъ! И такъ безконечно далекъ онъ отъ ея души!.. Какое мучительное чувство! Откуда оно?.. Хочется плакать...

Она встаетъ. Безстрастная, угасшая... Даже углы рта ея опускаются въ какой-то глубокой апатіи.

— Куда вы, Маня?

— Нѣтъ... Мнѣ скучно... Отвезите меня домой!

Онъ съеживается. Онъ не смѣетъ просить ее остаться. Душа этой дѣвочки для него загадка.

Всю дорогу она молчитъ, отвернувшись.

Когда она выходитъ изъ кабріолета, у опушки рощи, онъ хочетъ поцѣловать ея мокрую ручку.

— Оставьте! Не смѣйте!—вдругъ страстно говоритъ она. Враждебно сверкаютъ ея глаза. Кудри выбились изъ-подъ капюшона и завились еще круче отъ сырости. Рѣсницы мокры...

Почему? Капли дождя... Или слезъ? Пушистыя щеки пылаютъ... «О, милое личико!..»

— Вы сердитесь?—смиренно спрашиваетъ онъ.

— О!.. Сержусь ли?.. Я ненавижу васъ! Никогда не смѣйте цѣловать у меня руки!.. Слышите?.. Если еще разъ поцѣлуете, все будетъ кончено между нами!!

Она идетъ, не оглядываясь... Онъ чувствуетъ, что она плачетъ.

«Почему? Почему?» думаетъ онъ. «Неужели?.. Неужели ревнуетъ? Какое счастье! Ахъ, слишкомъ большое счастье! Боюсь вѣрить... Не надо думать... Боже мой! Какъ дожить до завтра?!»

## V.

Да... Маня ревнуетъ. Маня несчастна.

Душа ея смята. Жизнь потеряла цѣнность. Ушла навѣки та свѣтлая, гармоничная радость, какую подарилъ ей Янъ. Чувство, которое дѣлало ее счастливой, какъ цвѣтокъ.

За чаемъ говорили о Штейнбахѣ. Она узнала, что онъ женатъ...

Почему она никогда не думала объ этомъ? Почему она не думала объ его прошломъ?

Какъ тѣнь идетъ оно за нами. И вотъ почему холодомъ вѣетъ отъ взглядовъ любимаго лица. Отъ улыбки, отъ словъ... А больше всего отъ молчанія.

Это то, чего мы не знали. И не узнаемъ никогда... Это міръ, въ которомъ намъ нѣтъ мѣста. Міръ первыхъ впечатлѣній и полнозвучныхъ, богатѣйшихъ переживаній, который каждый изъ насъ любитъ съ глубокой тоской, съ глубокимъ благоговѣніемъ, какъ могилу матери, какъ домъ, въ которомъ родился... Только тамъ для насъ цвѣли самые пышные цвѣты. Для насъ горѣли зори. Только тамъ строили мы гордыя башни... Только тамъ слагали первыя пѣсни и лили жаркія слезы.

Пусть цвѣты завянутъ и зори погаснутъ! Пусть башни рухнутъ! И забудутся слова пѣсенъ, зажигавшихъ душу!.. Ничто въ дальнѣйшей жизни не замѣнитъ намъ красоты ушедшаго... Самые пышные цвѣты не будутъ такъ радовать глаза. Самые пламенные стихи не исторгнутъ слезъ. И даже обманъ и утрата иллюзій, даже развалины и могилы будутъ намъ дороже дворцовъ, любви и славы... Только потому, что они *ушли*...

---

Маня уѣхала кататься верхомъ, несмотря на грязь по дорогѣ. Она ищетъ забвенія. Въ душѣ такая жгучая боль!

Солнце красиво садится въ дымку. Тучи поднялись. Завтра

будетъ солнце... Но оно уже не прогонитъ упавшую на душу тѣнь. Не залѣчитъ первой раны.

Когда она возвращается, ночь уже плыветъ.

Всѣ окна настежь. Въ залѣ горитъ огонь. На дворѣ фыркаютъ горячія лошади... Чужой экипажъ.

— У насъ гости?—Сердце Мани падаетъ.

— Шенбокъ,—говоритъ Петро таинственно и радостно, снимая ее съ сѣдла.

Маня останавливается въ дверяхъ. Сердце бьется.

Кто-то поетъ. Какой чудный голосъ!.. Это *Вечерняя звѣзда*, пѣснь Вольфрама изъ *Тангейзера*... Неужели?...

Да, это онъ... И самъ себѣ аккомпанируетъ.

На нее оглянулись, шикнули... Она замираетъ у входа... Здѣсь Лизогубы, Катя, Соня, всѣ... Какія у нихъ новыя, красивыя лица!

«Онъ меня увидѣлъ»... почувствовала Маня внезапно.

Голосъ Штейнбаха точно вспыхиваетъ.

„Ты ангелъ свѣтлый, ангелъ милый,
Что свѣтишь въ жизни мнѣ постылой...“

На нее съ мольбой и страстью глядятъ его глаза. Ей звучатъ эти скорбныя, пламенныя признанія...

Губы ея дрожатъ отъ безумнаго желанія заплакать. Точно камень скатился съ груди.

— Позвольте вамъ представить нашу любимицу,—какъ во снѣ, слышитъ она голосъ Вѣры Филипповны.—Маня Ельцова, подруга моей дочери.

Онъ низко склоняется передъ нею...

«Какъ передъ принцессой», чувствуетъ Маня.

Катя Лизогубъ вспыхнула отъ зависти. Дядя удивленъ. Соня насторожилась.

Когда Штейнбахъ поднимаетъ голову, онъ видитъ, что глаза Мани полны слезъ и обѣщаній.

---

На другой день солнце на небѣ и въ душѣ Мани.

Она сердится на себя за радость, которая трепещетъ въ ея груди. Но осилить ее не можетъ.

«Сейчасъ увижу его!.. Навѣрно ждетъ у рощи... А если нѣтъ? О, тогда конецъ! Всему конецъ... Я не прощу никогда... Итти?.. Или остаться?.. Пойду... Взгляну... Холодно взгляну. Но къ нему не пойду ни за что!.. И въ паркъ не пойду...»

Такъ и есть!.. Стоитъ у опушки.

— Что вы тутъ дѣлаете?—надменно спрашиваетъ она.

— Жду.

— Какъ вы самонадѣянны! Почему это вы вообразили, что я должна прійти?

Его ноздри вздрагиваютъ отъ сдержанной улыбки.

— Вы пришли,—говоритъ онъ чуть слышно.

— Но это еще ничего не доказываетъ!—вспыхиваетъ она и топаетъ ногой.—Я гуляю...

— Позвольте мнѣ васъ проводить!

— Не-зачѣмъ!—небрежно говоритъ она. Но тутъ же, безъ безъ всякой логики, беретъ предложенную ей руку и молча идетъ рядомъ, къ парку.

Его смиреніе обезоруживаетъ ее.

Нѣтъ... Даже не то... Зачѣмъ лгать передъ собою? Только вдали отъ него она можетъ презирать его, не считаться съ нимъ. Его близость такъ опьяняетъ ея нервы, что сладкое и страшное безволіе сковываетъ ея душу. Какъ это ново!.. И это мучительное томленіе... И эта странная неудовлетворенность... И тревога... Съ Яномъ все было иначе. Съ Яномъ было такъ тихо и свѣтло!.. Точно два міра каждый отдѣльно дали ей эти оба.

— Какой у васъ голосъ! Какой вы тонкій художникъ! Отчего вы не на сценѣ? Отчего вы мнѣ не говорили, что вы поете?.. Когда я услыхала вашъ голосъ, я простила вамъ все...

— Простили?.. Развѣ я виноватъ передъ вами?

Она молчитъ, враждебная и насторожившаяся.

— Впрочемъ, вы правы,—говоритъ онъ печально.—Прошлое не умираетъ.

Она молчитъ всю дорогу, далекая и враждебная.

— Разскажите мнѣ о вашей женѣ,—говоритъ она, сидя съ ногами на тахтѣ, въ кабинетѣ.

Штейнбахъ рядомъ. Ихъ раздѣляетъ только вышитая подушка. Но для него это стѣна, черезъ которую онъ не видитъ души Мани. У нея новое лицо. Даже голосъ новый... И чужой.

— Она очень хороша собой? Вы ее очень любите? Почему ее здѣсь нѣтъ?.. И почему вы несчастны, если женаты?.. Постойте!.. Какая она изъ себя? Брюнетка или блондинка?.. Ну, что же вы молчите?.. И, пожалуйста, не смотрите на меня! У меня мысли путаются, когда вы смотрите... Опустите рѣсницы! Слышите? И отвѣчайте по порядку!..

Его губы опять кривятся.

— Начните съ начала, пожалуйста!.. Первый вопросъ... какъ всегда... исчезъ среди другихъ.

Она вспыхиваетъ.

— Опустите глаза и перестаньте гримасничать! Вы отвратительны, когда улыбаетесь... Впрочемъ, нѣтъ... Можете смѣяться! Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше!.. Ну-съ? Я слушаю... Какая она изъ себя? Блондинка?

— Да.

— Еврейка?

— Да.

— Ну, конечно (съ презрѣніемъ подхватываетъ Маня)... Дядюшка говоритъ, что еврей можетъ влюбляться въ кого угодно. Но любить можетъ только еврейку. И женится только на еврейкѣ.

— Ѳедоръ Филиппычъ, надо думать, очень освѣдомленъ въ этомъ вопросѣ. Онъ тоже юдофобъ?..

— Что значитъ *тоже*?

— Я хотѣлъ сказать, какъ вы?

— Я сама не знаю, что я такое!—сердито говоритъ Маня.— Да, я терпѣть не могу жид... евреевъ!.. Но васъ я любила...

Онъ дѣлаетъ порывистый жестъ и хватаетъ ея руки.

— Вы?.. Меня?

— Чему вы обрадовались?.. Не люблю, а *любила*. Нѣсколько дней. Можетъ-быть, часовъ... И даже не васъ, а ваше лицо... брови... Пустите руки!.. Пожалуйста, не цѣлуйте! Мнѣ отъ васъ теперь ничего не нужно!.. Все очарованіе исчезло...

— Когда?..

— Третьяго-дня... Маркъ... Маркъ... Вы съ ума сошли?!!

— Я счастливъ!.. Боже... Какъ я счастливъ!

Онъ беретъ ея руки и закрываетъ ими глаза свои. Его рѣсницы вздрагиваютъ.

И вдругъ какой-то мостикъ, на которомъ Маня укрѣпилась, скользитъ подъ ногами. Шатается... И опять бездна чувствуется внизу... Сердце падаетъ. Она близка къ обмороку. Что-то фатальное, жуткое глядитъ на нее изъ этихъ глазъ, изъ этого лица. Хочется бѣжать...

Или этотъ страхъ—радость, которая затопляетъ душу? О!.. Прижаться къ его лицу! Къ его бровямъ и губамъ! Утонуть въ этомъ чувствѣ... Въ этомъ запахѣ его кожи и волосъ... Совершенно не отдавая себѣ отчета въ томъ, что дѣлаетъ, въ опья-

неніи она порывисто беретъ его за плечи. И, закрывъ глаза, прижимается лицомъ къ его губамъ.

— О, цѣлуйте меня!.. Цѣлуйте!—сквозь зубы говоритъ она. И вся дрожитъ.

Когда она приходитъ въ себя, лицо ея залито слезами.

Онъ на колѣняхъ, у ея ногъ. Его лицо спрятано въ складкахъ ея платья.

Что было сейчасъ?.. Гдѣ?.. Въ какомъ новомъ, невѣдомомъ мірѣ блуждала ея душа?

Она беретъ его руку, пальцы которой судорожно впились въ плюшъ тахты. И кладетъ ее на свое вздрагивающее сердце.

Онъ подымаетъ голову. О, какъ прекрасно... И какъ страшно его лицо!

— Маркъ,—говоритъ она тихонько.—Милый Маркъ... Отчего у васъ такіе... дикіе глаза? Какъ у Гнѣдко, когда онъ хочетъ укусить? Отчего вы такой новый?.. Развѣ это не было блаженство? Вы какъ будто страдаете?.. И мнѣ стало страшно чего-то...

— Дитя мое! Не бойтесь меня!—говоритъ онъ разбитымъ звукомъ.—Вы для меня слишкомъ дороги... Пусть разорвется мое сердце скорѣе, чѣмъ я лишу васъ хотя бы одной изъ вашихъ иллюзій!.. Я не сдѣлаю непоправимой ошибки. Я не переживу вашего отвращенія...

Она силится проникнуть въ темный смыслъ его словъ. Въ смыслъ всего происшедшаго...

Что-то рухнуло между ними. Она это чувствуетъ. Какая-то перегородка, черезъ которую она не могла до него коснуться... Теперь такое чувство, какъ будто она его знала давно.

— Обнимите меня!.. Сядьте рядомъ! Вотъ такъ... О, какое блаженство, Маркъ! Вы меня любите!!! Говорите мнѣ это... Каждый день, каждый часъ... О, какъ я хочу быть любимой! Любимой вѣчно... Какой рай ваши поцѣлуи!.. Какъ я могла жить, не зная васъ!

Вдругъ толчокъ въ сердце... Жгучая боль... Какъ отъ удара ножа. И чары далеко.

Она отодвигается... Ея лицо какъ будто постарѣло.

— Разскажите мнѣ о *ней*,—говоритъ она чужимъ голосомъ.—Вы ее очень любите? Очень?

— Я люблю васъ, а не ее,—отвѣчаетъ онъ робко, какъ на судѣ. И Маня неумолима, какъ долженъ быть судья.

— Гдѣ она теперь? Гдѣ?

— За границей.

— Почему же не съ вами?

— Мы давно уже разошлись.

— Почему? Почему?

Онъ молчитъ, опустивъ вѣки... Синеватыя, прозрачныя вѣки... И вражда Мани крѣпнетъ.

— Что же вы не отвѣчаете?

— Это моя тайна.

— Ахъ! Вотъ какъ!.. У васъ отъ меня тайны?

Отчаяніе опять затопляетъ ея душу. Она встаетъ, чтобъ уйти.

— Постойте!—съ болью, глухо говоритъ онъ, удерживая ея руку.—Я буду откровененъ... Сядьте рядомъ! Слушайте... Я женился, когда мнѣ было 25 лѣтъ.

— По любви? Вы ее любили? Страстно?.. Страстно?

— Да... Не такъ, какъ васъ сейчасъ. Это было другое чувство... Я любилъ въ ней не ея индивидуальность. Она безцвѣтна, какъ большинство женщинъ... А мою любовь. Мои мечты... И я былъ счастливъ въ первые два года. Потому что она тоже любила меня... Опять-таки не мое *я*, котораго она не знала и не стремилась узнать. Какъ большинство женщинъ, она любила во мнѣ мужчину. Тотъ новый міръ, который я ей создалъ... Мы жили рядомъ, не зная другъ друга... У насъ родился сынъ. Черезъ годъ онъ умеръ воспаленіемъ мозга... Маня! Если я вамъ скажу, что я страдалъ и плакалъ, вамъ это будетъ чуждо и дико. Что значитъ смерть ребенка для васъ?.. И дай Богъ, чтобъ это самое жгучее горе жизни прошло мимо, не опаливъ вашей души. Послѣ него наша жизнь похожа на садъ, сломанный бурей. Одни цвѣты поднимутся, другіе зацвѣтутъ еще ярче. Многіе остались нетронутыми. И радуютъ глазъ... Но есть деревья, расщепленныя бурей. Есть деревья, обожженныя грозой. Ничто не вернетъ ихъ къ жизни! И забыть о нихъ нельзя...

Маня тихонько придвигается и кладетъ голову на его плечо.

— У меня есть дочь... Когда-нибудь она вырастетъ и будетъ, какъ вы, жадно тянуться къ счастью... Я не хотѣлъ бы дожить до этой минуты. Впрочемъ... Мнѣ нечего сокрушаться! На мою долю судьба отмѣрила скупо и годы и радость. Маня... Милое дитя мое! Вы никогда не должны меня бояться, что бы дурного вамъ ни говорили обо мнѣ... Вы созданы для радости, для материнства. Для полнозвучныхъ переживаній. И счастье ждетъ васъ... Но не со мной.

— Вы отъ меня отрекаетесь?

Широко открытыми глазами глядитъ она въ его лицо.

— Случалось ли вамъ, ѣдучи въ курьерскомъ поѣздѣ, видѣть на какой-нибудь крохотной станціи маленькихъ, незамѣтныхъ людей въ кокардахъ? Телеграфисты... Начальники станцій... Нѣтъ? Вы ихъ не замѣчали? Поѣздъ мчался. Огни его гасли. Станція тонула опять во мракѣ. И всѣ уходили спать... Но они—эти незамѣтные люди—рыдали, быть-можетъ... Они видѣли мелькомъ въ окнѣ ваше личико. И оно разбудило ихъ мечты. И жгучая зависть къ недоступному и далекому отравила надолго ихъ душу... Такъ и я... Когда вы забудете меня съ другимъ...

— Никогда!.. Боже мой, Маркъ!.. Это невозможно!!!

— Ну, хорошо... Я скажу иначе... Когда горе постучится въ вашу дверь... И жизнь покажется вамъ въ тягость... позовите Штейнбаха.

— Не говорите такъ!.. Мнѣ страшно... Не знаю почему... Но мнѣ страшно... И жаль васъ... Милый Маркъ... Почему же вы одинъ? Гдѣ ваша дочь?

— Дитя мое... У меня тяжкая наслѣдственность. Я это узналъ слишкомъ поздно. Меня обманывали съ дѣтства, желая создать мое счастье. Надѣясь обмануть судьбу... Но когда я открылъ эту тайну, я понялъ, что, женившись, совершилъ невольное преступленіе. Такіе, какъ я, не должны имѣть дѣтей... Я разстался съ женой. Я далъ ей княжеское состояніе и свободу. Но она не хочетъ и не умѣетъ ею пользоваться... Отнять ребенка у нея я не имѣлъ права. И не желалъ... Теперь вы знаете все.

Глубокая тишина наступаетъ въ комнатѣ. Прижавшись къ груди Штейнбаха и обнявъ его голову, Маня цѣлуетъ его брови. И горячія слезы обжигаютъ его лицо...

Святыя слезы состраданія.

## VI.

— Какое несчастіе!—говоритъ Маня, стоя въ рощѣ, передъ Штейнбахомъ и отдавая ему во власть свои руки.—Кто-то подглядѣлъ вчера, что мы ѣхали къ вамъ... Дома скандалъ... Пришлось выдумать цѣлую исторію, что вы катались, а я васъ встрѣтила... И что вы предложили мнѣ осмотрѣть домъ... Это ужасно, Маркъ! Я такъ ненавижу ложь!

— Напрасно...

— Что напрасно? Ахъ, не говорите глупостей! Но я въ

отчаяніи... Поѣдемте скорѣй! За семь бѣдъ одинъ отвѣтъ... Неужели это въ послѣдній разъ?.. Я лучше умру... Я не могу жить безъ васъ!.. Не могу!

О, какъ горячи нынче ея поцѣлуи! Какимъ зноемъ вѣетъ отъ ея объятій!.. У Штейнбаха кружится голова.

Вдругъ она упирается кулачками въ его грудь и, задыхаясь, отстраняетъ его лицо.

— Постойте!.. Пустите!.. Я вспомнила... Боже мой!.. Какъ я могла это забыть?.. Когда я рядомъ съ вами, я положительно глупѣю... Вотъ что... Нынче васъ бранили за обѣдомъ ужасно... Говорили... Нѣтъ!.. Я не могу повторить этихъ гадостей!

— Я знаю,—усмѣхается онъ кривой улыбкой.—Меня называли наглымъ жидомъ... Нахаломъ, который привыкъ все покупать за деньги...

— Почему вы знаете?.. Какъ вы узнали?

— Развѣ это неправда?

— Какъ вы могли это узнать?.. Ну, да... Они это говорили... Соня спорила... Она за васъ готова глаза всѣмъ выцарапать... Она васъ такъ высоко ставитъ!

— Да?..—Лицо Штейнбаха слабо краснѣетъ.

— Какое чудо!.. Вы польщены, кажется?

— Этого мало... Я тронутъ.

— Ну, хорошо... Постойте!.. О чемъ я говорила? Да... Вы меня все сбиваете... Удивительная у васъ способность дѣлать людей глупыми!.. Вотъ что... Дядюшка говорилъ: «Онъ отлично знаетъ...» Это про васъ... «что она не пѣвичка и не швейка...» Это про меня... «И что безнаказанно флиртовать съ нею нельзя...» Это онъ отвѣчалъ отцу Сони... А тотъ кричалъ: «Что этому нагл...»

— Наглому жиду?

— Ну, да... «Что ему нужно отъ дѣвчонки?..» Это я-то дѣвчонка?.. Ужасно онъ грубый и глупый, этотъ Горленко!

— Ну... И что же дальше?

— Маркъ... Какое у васъ злое лицо!.. Коршунъ! Настоящій коршунъ... Нѣтъ, я не буду говорить!

— Маня, милая... Для меня это очень важно... Дайте ручку! Слышите, какъ бьется мое сердце?. Говорите все! Не щадите меня!.. Я отъ васъ все выслушаю смиренно.

— Ну, словомъ... Онъ говорилъ гадости... Будто вы хотите меня... Нѣтъ!.. Это такъ некрасиво звучитъ!

— Взять на содержаніе?

— Да!.. Какое глупое и плоское выраженіе!.. Не правда ли?

— И вы этому повѣрили?

— Нѣтъ! Нѣтъ!.. Какъ можете вы это думать, Маркъ? Ни минуты не вѣрила... Иначе развѣ я была бы здѣсь? Дайте, я поцѣлую ваши брови! Вашъ чудный лобъ...

Минута молчанія...

— Маркъ! Я не думаю, чтобъ дѣлала дурно, передавая вамъ чужія слова... Что вамъ любовь или ненависть какихъ-нибудь Горленко или Лизогубовъ? Вы безконечно выше ихъ. И оскорбляться не можете. Такъ?

— А что говорила Соня?

— Ахъ, она ангелъ!.. Она вами очарована... Она спорила съ мужчинами и съ матерью. Она говорила, что если ваше чувство серьезно, то вы разведетесь съ женой и женитесь на мнѣ... Ой, Маркъ! Отчего вы вздрогнули?.. Даже испугали меня... Что вы такъ смотрите?

— А что... вы... Маня... Вы что думаете объ этомъ?

— Вздоръ какой! Я ни о чемъ... такомъ не думаю... Зачѣмъ мнѣ думать? Мнѣ только больно до слезъ, что о насъ говорятъ чужіе люди!

Штейнбахъ блѣднѣетъ. Блѣднѣетъ такъ сильно, что Манѣ дѣлается жутко.

— Дитя мое... Не надо недоразумѣній!.. Я никогда не разлюблю васъ! Но и никогда не женюсь на васъ... Если бы вы даже этого желали... или требовали сами... Хотите вы меня выслушать и понять?

— Да...

— Прежде всего въ этомъ нѣтъ для васъ оскорбленія! Я отрицаю бракъ. Я отрицалъ его всегда. Но моя жена... несчастная безъ вины... она очень религіозна... Если я потребую у нея разводъ, я нанесу ей незаслуженную и глубочайшую обиду, которая отравитъ ей жизнь... Она мнѣ чужая теперь. Но она любитъ имя, которое я ей далъ. Она цѣпляется за ту жалкую связь, что осталась между нами. За этотъ призракъ семьи... Наконецъ, я этого не сдѣлаю для дочери... Такъ что... съ точки зрѣнія ходячей морали, Горленко и Ѳедоръ Филиппычъ правы. И я передъ вами негодяй!.. И если вы этому вѣрите...

— Нѣтъ!.. Нѣтъ! Молчите!.. Я люблю васъ, Маркъ... Я вѣрю въ вашу любовь... Забудьте все, что я вамъ сказала!.. Я не должна была вамъ это говорить! Знаете? Я никогда не мечтала выйти замужъ... Какъ-то не думала объ этомъ... Я

мечтаю о сценѣ, объ искусствѣ... А потомъ Янъ такъ много говорилъ мнѣ объ этомъ, что знаете?.. Теперь у меня къ браку прямо отвращеніе... Подумать только, что я должна цѣловать, когда мнѣ не хочется... Родить дѣтей, когда они мнѣ ни на что не нужны... Не смѣть двинуться за границу безъ разрѣшенія мужа... Вообще, отъ кого-то другого зависѣть... О, Боже мой! Что можетъ быть лучше свободы? Я рождена цыганкой, Маркъ... Такъ говорила всегда милая фрау Кеслеръ... И если бы я вышла замужъ, мой мужъ повѣсился бы отъ негодованія. Или выгналъ бы меня изъ дому... Я ужасная эгоистка, Маркъ! Я была такою съ дѣтства. Обязанности мнѣ ненавистны. Насилія я не выношу...

Она задумывается.

— Я все стараюсь вспомнить, Маркъ, на кого вы похожи? И не могу вспомнить... Ахъ, да!.. Вотъ еще что... (Она отодвигается.) Нынче дядюшка сказалъ о васъ такъ... «Если бы даже онъ могъ, то начто ему жениться?.. Мало развѣ красавицъ онъ имѣлъ на своемъ вѣку?..» Что это значитъ, Маркъ? Знаете? У меня душа разомъ мутнѣетъ какъ-то... И жизнь становится противна, когда я думаю, что вы цѣлуете другую. Постойте!.. Оставьте мои руки!.. И отвѣчайте по порядку...

— Опять?

— Ну, да... опять... Я все хочу знать!.. Гдѣ *она*?

— Въ Вѣнѣ.

— Какая она изъ себя?

— Я вамъ уже отвѣчалъ...

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Я не о женѣ говорю, а о *ней*... У всякаго мужчины есть *она*...

— Это опять по катехизису дядюшки?

— Отвѣчайте, пожалуйста, безъ уловокъ!.. Правду!!

— У меня нѣтъ никого сейчасъ... Въ томъ смыслѣ, какъ это принято понимать.

Она съ мгновеніе глядитъ въ его глаза. Потомъ прижимается къ его груди.

— Какъ это хорошо! Теперь я счастлива. Можете меня обнять!.. Ой, какъ больно!.. Можно подумать, что меня хотятъ отнять у васъ? Вы даже... Ха! Ха!.. Когти выпустили...

— А развѣ нѣтъ?.. Развѣ всѣ кругомъ не стараются возстановить васъ противъ меня?—съ болью говоритъ онъ.

— Это невозможно, Маркъ!.. Когда я была маленькая, я всегда дружила съ самыми отъявленными негодяйками, отъ ко-

торыхъ всѣ отвертывались. Мнѣ нравилось покорять ихъ, дѣлать ручными... Вы, кажется, опять улыбаетесь? Я чувствую, какъ движутся ваши губы...

— Нѣтъ, ничего... Продолжайте!

— Чѣмъ больше бранятъ человѣка, тѣмъ онъ мнѣ интереснѣе... Ну-съ, а теперь... Потрудитесь припомнить, что думали вы годъ назадъ, когда ждали поѣзда въ Плискахъ и глядѣли на луну?

Ея голосъ звучитъ торжественно.

Онъ громко смѣется. Какъ странно слышать!.. Это его первый задушевный смѣхъ.

— Ничего смѣшного нѣтъ,—говоритъ она серьезно.—Я такъ долго жила этими воспоминаніями!.. Я такъ много вложила въ эти мечты...

— Сента,—перебиваетъ онъ, тихонько улыбаясь.—Вы—настоящая Сента...

— Что такое?—Маня встрепенулась.

— Вы видѣли оперу Вагнера *Летучій Голландецъ*?

Маня вдругъ вскакиваетъ, хлопаетъ въ ладоши и кружится по комнатѣ.

— Нашла... нашла... Вспомнила, на кого вы похожи... Вы—*Летучій Голландецъ*...

— Ползучій,—уныло шепчетъ Штейнбахъ.

— Какъ?—Она внезапно останавливается передъ тахтой, открывъ глаза, полуоткрывъ губы, подавшись впередъ... Вся—ожиданіе...

— У моей души нѣтъ крыльевъ... Я—ползучій Голландецъ.

Маня разражается звонкимъ смѣхомъ... Она смѣется до слезъ. И всѣ ямки ея тоже смѣются. Легко, какъ кошка, она прыгаетъ на тахту и обвиваетъ руками шею Штейнбаха.

— Ну, будьте милый! Вспомните!.. Вы стояли на краю платформы и глядѣли на луну... А мы крались за вами, какъ тѣни... О комъ вы думали тогда?

— Не помню.

— Вы не любили тогда маленькую, бѣлокурую, замужнюю женщину? Не любили ее безнадежно?

— Не помню!..

— Боже, какая глупая память!—сердито говоритъ Маня и ударяетъ кулакомъ по подушкѣ.—Ну, солгите что-нибудь!.. Выдумайте! Неужели вы не видите, какъ я жажду всего... необычайнаго?

— У меня нѣтъ фантазіи... Я скученъ, Маня,—говоритъ онъ печально.

— И вы не чувствовали, что мы крадемся за вами?.. Что вы... наполнили всю нашу душу?—Глаза ея вдругъ становятся большими и глубокими.—Какъ странно, Маркъ!.. Какая странная вещь—эта жизнь!.. Всего только годъ назадъ мы стояли въ пяти шагахъ другъ отъ друга... Такіе далекіе!.. Безконечно далекіе... И могла ли я думать, что вы... такой гордый и необыкновенный... полюбите меня?..

Онъ порывисто притягиваетъ ее къ себѣ.

— Я былъ безумецъ, Маня!—говоритъ онъ глухо, съ больной страстью.—Не помню, чѣмъ была полна моя слѣпая душа въ тѣ мгновенія... Навѣрно ничтожнымъ... Навѣрно повседневнымъ... Она не наполнилась священнымъ трепетомъ... Она не задрожала отъ предчувствія, что тутъ, рядомъ... стоитъ моя Судьба!

Онъ откидываетъ ея головку. И смотритъ ей близко въ глаза своими бездонными зрачками.

Потомъ приникаетъ къ ея губамъ...

И опять бездна безшумно разверзается у ихъ ногъ. Опять бездна глядитъ на нихъ нѣмыми очами... Она зоветъ.

И время останавливается...

## VII.

— Маня... Что это значитъ? Объясни ради Бога!.. Ты опять была у него?

Вѣра Филипповна затворила дверь спальни. Но Соня все-таки входитъ и останавливается у окна. Она бросаетъ мелькомъ взглядъ на зацѣпенѣвшее лицо Мани, на жалкое лицо матери. И отвертывается.

— Вѣдь это скандалъ, Маня!.. Сплетни растутъ... Чѣмъ ихъ остановишь?.. Если узнаютъ Лизогубы и Галаганы, вѣдь ты никогда не подымешься въ ихъ мнѣніи... И на насъ это бросаетъ тѣнь... Точно мы тебя... сводимъ... Фу, Боже мой!—Она берется за голову, вся красная.—Какими глазами я взгляну на твоего брата, если... что-нибудь выйдетъ?.. Еще счастье, что мужъ этого не знаетъ! Только Ѳедя... Но даже Ѳедя... А ты знаешь легкость его взглядовъ? И тотъ тебя осуждаетъ...

— Дядюшка?—быстро спрашиваетъ Соня.

— Да, дядюшка... Это онъ васъ видѣлъ. И онъ настаи-

ваетъ, чтобъ этому положить конецъ... Брось кокетство, Маня! Оно тебя погубитъ.

— Ко-кет-ство?..

Что-то въ голосѣ Мани заставляетъ Соню оглянуться.

— А какъ же назвать твое поведеніе?.. Что онъ тебѣ, этотъ самонадѣянный, развратный жидъ?

— Мама!..

Вѣра Филипповна вдругъ теряетъ самообладаніе. Вспыхиваетъ и топаетъ ногой.

— Молчи, молчи!.. Тебѣ какое дѣло? Я не съ тобой, кажется... Я съ Маней говорю...

— Мнѣ за тебя стыдно, мама!

— Сдѣлайте одолженіе!.. Вотъ еще новости! Въ своемъ домѣ не смѣешь слова сказать!.. Проповѣдница явилась.... Набаловали мы тебя на свою голову! Вижу, что я только напрасно за тебя заступаюсь передъ отцомъ... Господи! Что это за поколѣніе такое пошло!

— Мнѣ можно итти? — глухо и медленно спрашиваетъ Маня, выждавъ паузу.

— Ахъ, Боже мой! Я голову съ тобой теряю... Стоитъ, точно каменная... Точно не о ней говорятъ... Не объ ея судьбѣ заботятся...

— Что тебѣ, собственно говоря, отъ нея нужно, мама?

— Чтобъ она не вѣшалась на шею этому жиду! Вотъ что мнѣ нужно!

Маня вздрагиваетъ всѣмъ тѣломъ. Ея глаза расширяются.

— А если она... его любитъ?

Маня, блѣдная до самыхъ губъ, вскидываетъ удивленный взглядъ на странно-спокойное лицо Сони. Потомъ опускаетъ рѣсницы. Но Вѣра Филипповна багровѣетъ.

— Влюблена? Въ кого? Въ Штейнбаха?

— А, по-твоему, его нельзя любить?

— Этого еще недоставало!.. Какой смыслъ любить... Штейнбаха?.. Все равно, что любить... вотъ это...

Вѣра Филипповна съ сердцемъ хватаетъ со стола толстый журналъ и бросаетъ его на полъ.

— Ради Бога, довольно! — вдругъ говоритъ Маня, поднимая руку. И Соня видитъ въ ея лицѣ то выраженіе, какое было у нея въ день смерти Яна. — Если... вы не хотите, чтобъ я видѣлась съ нимъ... тамъ... я больше не пойду...

Соня быстро подходитъ къ Манѣ и порывисто обнимаетъ ее.

— Ступай, Маничка, наверхъ! Я поговорю съ мамой.

Когда дверь затворяется, Соня садится въ кресло передъ растревоженной матерью и говоритъ спокойно и вѣско:

— Что она его любитъ, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. И я только удивляюсь, какъ можешь ты такъ... грубо касаться чужой души?

— Извини, пожалуйста! Тебя не спросила.... Шагу ступить нельзя съ тѣхъ поръ, какъ ты насъ осчастливила, кончивъ курсъ... Ничѣмъ съ отцомъ на тебя не угодимъ... Одно слово— черносотенцы! Такъ, кажется, изволишь ты Нелидова величать?

— Я Нелидова не видала. А то, что слышала о немъ отъ доктора, мнѣ такъ антипатично...

— Еще бы захотѣла справедливости отъ эсъ-дека!

— Мы не о Нелидовѣ, мама, заговорили, кажется... а о Штейнбахѣ.

— Ну, да!.. Твой докторъ и его ругаетъ...

— Василій Петровичъ—желчный и завистливый человѣкъ. Я не считаюсь съ его мнѣніемъ. Для меня Штейнбахъ стоитъ въ сравненіи съ нами всѣми на недосягаемой высотѣ... Да!.. И что Маня любитъ его, это вполнѣ понятно...

Вѣра Филипповна, обезсиленная, падаетъ на кушетку.

— Любитъ!.. Любитъ!.. Легко это говорить! А что изъ этого выйдетъ? Развѣ онъ женится на ней?

— Не знаю... Но развѣ это не все равно?

— Это что еще такое?.. Свободная любовь? Заразились?.. Начитались?.. Часъ отъ часу не легче!.. Ну, барышни!.. Нечего сказать! Да мы просто дѣти передъ вами! Грудные младенцы!

— Оставь, мама, ради Бога, иронію! Все это слишкомъ серьезно... Конечно, ни Маню ни меня не остановитъ тотъ фактъ, что любимый человѣкъ женатъ. И если ты думаешь, что, препятствуя ихъ свиданіямъ, ты разорвешь возникающую связь,—ты прямо слѣпа!

— Уйди!.. Уйди! — кричитъ мать, вскакивая и затыкая себѣ уши.—Я ничего не хочу слышать!.. Вы меня измучили, противныя дѣвчонки!.. Я откажу Штейнбаху отъ дома!.. Я не позволю ему безчестить Маню... Онъ ее купитъ, броситъ... Потомъ она пойдетъ по рукамъ... Вотъ чѣмъ всегда кончается ваша свободная любовь!

Соня встаетъ, блѣдная. И быстро выходитъ изъ комнаты, не обращая вниманія на слезы матери.

Она бѣжитъ наверхъ.

Такъ и есть!.. Маня рыдаетъ, упавъ на постель.

Чужіе люди ворвались въ таинственный садъ ея души. Они грубо сорвали алыя розы. Они растоптали бѣлыя лиліи... Кто вернетъ ей погибшую Красоту?

— Маня, милая, дорогая... Прости имъ! Прости!.. Развѣ они вѣдаютъ, что творятъ?..

---

Маня пишетъ:

«Я люблю васъ, Маркъ! Люблю васъ безумно... Теперь, когда я не могу итти къ вамъ, когда я дала слово,—я поняла, что вся моя жизнь въ этой любви, въ нашихъ встрѣчахъ. Я уступаю, потому что иначе придется уѣхать въ Москву. А что я буду тамъ дѣлать безъ васъ?.. Ахъ, если-бъ мы могли не разставаться!

«Они говорятъ, что вы меня погубите... Что значитъ погубить? Если гибель—ваша любовь, то пусть я погибну!.. Лучше прожить одинъ годъ безумно счастливой, чѣмъ влачить долгую жизнь безъ Красоты.

«Смерть?.. О, я боюсь долгой болѣзни въ постели, запаха лѣкарствъ. Боюсь постепеннаго разрушенія, усталости окружающихъ и того отчужденія, которое, какъ стѣна, незамѣтно и страшно растетъ между умирающимъ и его близкими. Помните *Смерть Ивана Ильича?*.. И какъ это люди всѣ стремятся умереть въ своей квартирѣ, въ собственной постели, среди семьи... «отъ долгой и тяжкой болѣзни», какъ пишутъ въ газетахъ? Но смерть добровольная и внезапная... Какая отрада! Янъ говорилъ: «Надо умѣть жить красиво. Но еще важнѣе умереть прекрасно...» Если вы меня разлюбите, я пойду на баррикады. И погибну радостно и красиво. Какъ часто я мечтала о такомъ концѣ всѣ эти два года! Чего же мнѣ бояться, если даже смерть въ моей власти? Если я никогда не узнаю усталости и отвращенія?

«Маркъ, я пишу вамъ, потому что моя душа полна... Всѣ спятъ. Сейчасъ ночь... Пріѣзжайте завтра непремѣнно! Я налюбуюсь на ваши брови. Вы будете пѣть. И я забуду, какъ было мнѣ больно, когда чужіе люди топтали цвѣты моей души... Они ваши, Маркъ!.. Сорвите ихъ! Упейтесь ихъ ароматомъ! И бросьте ихъ, если это неизбѣжно... если любовь

уходитъ, какъ говорилъ мнѣ Янъ... Тогда я умру. Безъ слезъ, безъ проклятій... Какъ умираютъ бабочки, живущія одинъ день...»

---

Бѣлоголовый семилѣтній Остапъ, съ упрямымъ лбомъ и синими, какъ цвѣтъ цикорія, глазами, зажавъ бумажку въ грязный кулачокъ, идетъ мѣрнымъ шагомъ въ Липовку, въ палацъ.

Маня слѣдитъ изъ бесѣдки за крохотной фигуркой. Остапъ исполнитъ порученіе. Это — аккуратный маленькій человѣчекъ. Онъ отдастъ письмо, какъ сказано, прямо въ руки «пану Шенбоку».

---

О, милыя, наивныя признанія дѣвичьей души!.. О, невозвратные, не повторяющіеся порывы!

Строки идутъ вкривь и вкось, загибаясь на концахъ. Двѣ кляксы. А вотъ и пятна слезъ... Самыхъ свѣтлыхъ слезъ жизни.

Штейнбахъ страстно цѣлуетъ бумажку. Тоскливо озираясь, падаетъ на тахту, гдѣ *она* сидѣла вчера.

Ахъ, если-бъ онъ умѣлъ плакать! Если-бъ онъ нашелъ въ своей душѣ смѣлость взять свое счастье безъ колебаній! Не думая о *завтра*. О неизбѣжномъ разсвѣтѣ! О неотвратимой расплатѣ... Какъ это сдѣлалъ бы Янъ...

## VIII.

Они сидятъ втроемъ въ бесѣдкѣ: Маня, Соня и Штейнбахъ.

У Сони нынче такое застѣнчивое лицо. Такая ласковая улыбка... «Милая дѣвушка!» думаетъ Штейнбахъ. «Какъ съ тобою тепло!»

Вдругъ она встаетъ, что-то вспомнивъ.

— Простите! Тамъ сейчасъ чай подаютъ. Мама не знаетъ, гдѣ ключи... Я вернусь...

Наконецъ! Наконецъ одни!!

Маня кидается на грудь Штейнбаха. Прижимается къ нему всѣми линіями тѣла, въ могучемъ, беззавѣтномъ порывѣ.

Они долго молчатъ. Глаза Мани блещутъ слезами восторга.

— Прочли письмо, Маркъ? Прочли?

— Да. Оно со мною, на груди... Я никогда съ нимъ не разстанусь!

— Вы счастливы, Маркъ?.. Вы счастливы моей любовью?

— Я благословляю васъ, Маня!—грустно говоритъ онъ. Вдругъ онъ вспоминаетъ и отодвигается.

— Завтра я уѣзжаю за границу.

— Что?.. Что?..

— Я вернусь, дитя мое... Я скоро вернусь. Черезъ двѣ недѣли... А можетъ и раньше. Я получилъ телеграмму утромъ. Моя дочь больна.

— Вы ѣдете къ *ней?*

— Я ѣду къ больной дочери.

— Нѣтъ! Нѣтъ! Я не пущу васъ!.. Маркъ, не уѣзжайте!.. Не разбивайте моего сердца! Если вы уѣдете... значитъ вы ни минуты меня не любили! Ни минуты!..

— Вы жестоки... Выслушайте меня!

— Вы опять вернетесь къ *ней?*.. Ахъ, зачѣмъ я вамъ писала это письмо!.. Зачѣмъ мы встрѣтились? Отдайте его! Отдайте сейчасъ! Я васъ разлюбила!.. Я васъ ненавижу!..

Онъ блѣднѣетъ, какъ будто у него хотятъ отнять жизнь.

Отвернувшись, она рыдаетъ, упавъ головой на скамью, забывъ обо всемъ на свѣтѣ. Онъ тихонько опускается на колѣни. Смиренно проситъ прощенія. Онъ обѣщаетъ думать о ней всѣ минуты...

Она порывисто оборачивается и обнимаетъ его шею.

— Маркъ! Маркъ!.. Какой вы безумецъ!.. Зачѣмъ вы уѣзжаете? Какъ вамъ не страшно уѣзжать!.. Ахъ, вы вздрогнули!.. Вы поняли меня?.. Какъ можно искушать судьбу!.. У меня такое предчувствіе, какъ будто мы никогда не встрѣтимся...

— Маня, не говорите такъ!—шепчетъ онъ въ суевѣрномъ ужасѣ, пряча лицо въ ея ладони.

Черезъ минуту она какъ будто успокаивается... Она уже не плачетъ. Она что-то думаетъ.

— Маркъ, когда всѣ заснутъ нынче ночью, вы должны вернуться въ эту бесѣдку...

— Когда?

— Въ полночь. Вы придете?

— Приду.

— Клянитесь мнѣ!.. Клянитесь, Маркъ!

— Клянусь.

— Маня! Чай пить!—кричитъ Соня издали.

— Теперь пойдемте!.. У меня очень заплаканы глаза?.. Очень распухъ носъ?.. Нѣтъ! Нѣтъ!.. Лучше не смотрите!..

Мой носъ—это мой крестъ... Чего бы я ни дала за античный профиль!

За чаемъ чувствуется натянутость... Словно электричество скопилось въ воздухѣ. Соня сѣла рядомъ съ Штейнбахомъ. И за всѣхъ старается быть съ нимъ любезной. Ея щеки горятъ, глаза пламенѣютъ отъ гнѣва и стыда за мать... и за дядюшку.

Маня думаетъ... «Плакать буду потомъ. Страдать буду потомъ. А теперь хочу быть красивой! Хочу быть счастливой!.. Впереди ночь. Эта ночь моя!.. Онъ любитъ мой смѣхъ... И я буду смѣяться!»

— Что-то Нелидовъ запропалъ, — говоритъ дядюшка.— Больше мѣсяца не былъ!

— Съ Пасхи,—поправляетъ Вѣра Филипповна.—Не больна ли опять Анна Львовна? Знаете, это такая трогательная любовь между ними! — говоритъ она гостю. — Сынъ ее прямо обожаетъ...

— Заработался, матушка... Что тутъ удивительнаго?—перебиваетъ Горленко, шумно потягивая горячую влагу.—Они, вѣдь, не крезы... Не могутъ себѣ позволить отдыха. Онъ, какъ и я, встаетъ на зарѣ, цѣлый день въ полѣ, ложится съ курами. Намъ, помѣщикамъ, не до гостей... Впрочемъ, онъ у Лизогубовъ былъ раза два,—какъ бы вскользь бросаетъ онъ, жуя тартинку съ масломъ.

— Вотъ какъ!—Вѣра Филипповна вспыхиваетъ.

— Женихъ хорошій!.. Какъ Лизогубамъ его не ловить!— смѣется дядюшка. Онъ знаетъ, чѣмъ подразнить сестру.

— А вы надолго за границу? Въ Парижъ махнете?—обращается онъ къ гостю.

Маня роняетъ ложечку и опрокидываетъ себѣ на колѣни полчашки горячаго чаю.

— Что ты? Богъ съ тобой!—пугается Соня.

— Н-нѣтъ... Я ѣду по семейнымъ дѣламъ.

Его вѣки вздрагиваютъ, и зрачки косятся на вспыхнувшее личико.

— Удивляюсь на васъ!.. Имѣй я ваше состояніе и свободу, я не выѣзжалъ бы изъ Парижа!—мечтательно говоритъ дядюшка.—Единственный городъ въ мірѣ, гдѣ можно жить!

— А Нелидовъ больше хвалитъ Лондонъ...

— Эге!.. Изъ-за прекрасныхъ глазъ лэди Гамильтонъ,— смѣется дядюшка.—Вы слышали объ этомъ романѣ, Маркъ

Александрычъ?.. Красавица лэди, жена пэра, хотѣла развестись съ мужемъ и уѣхать въ Россію... Помните, послѣ пожара въ Дубкахъ, когда Нелидовъ сюда пріѣзжалъ?

— Это трогательно,—криво усмѣхается Штейнбахъ.—То, что называютъ «Grande passion»?

— Вотъ именно...

— Славны бубны за горами!—бурчитъ Горленко.

— Нѣтъ, это доподлинно извѣстно... Мнѣ изъ Петербурга писали объ этомъ скандалѣ. Я слышалъ, что когда Нелидовъ покончилъ съ дипломатической карьерой и покинулъ Лондонъ, она хотѣла лишить себя жизни... Цѣлый романъ... Кстати, вы знакомы съ Нелидовымъ?

— Д-да... Мы встрѣчались зимой у губернатора... и были представлены другъ другу... Если это называется быть знакомыми... (Губы Штейнбаха кривятся.) Мы никогда не сказали двухъ словъ... А что касается лэди Гамильтонъ, я зимою видѣлъ ее въ Римѣ. Теперь... она не собирается умирать.

Синіе и черные глаза, большіе и горячіе, трепетно слѣдятъ за его лицомъ. Ловятъ каждое слово разговора. Чего-то ждутъ...

«Чортъ бы тебя съѣлъ!» съ жгучей завистью думаетъ дядюшка. Для него лэди Гамильтонъ—вѣнецъ мечтаній.

Вдругъ Горленко, шумно передохнувъ, откидывается на спинку стула и протягиваетъ женѣ стаканъ. Его лицо красно. Его маленькіе глаза ехидно сверкаютъ.

— А слыхали вы, Маркъ Александрычъ, что Нелидовъ мечтаетъ выкупить у васъ палацъ и Липовку? За этимъ бросилъ карьеру и въ батраки запрягся...

— Да, это его idée-fixe,—подхватываетъ хозяйка.

Дядюшка свищетъ.

— Какая убогая мечта!—роняетъ Соня однимъ уголкомъ губъ. Но Штейнбахъ бросаетъ ей взглядъ.

— У всякаго свои, милая моя!—ядовито подхватываетъ Горленко, находящійся теперь въ какомъ-то хроническомъ раздраженіи.—Не всѣмъ пропагандами да чепухой разной заниматься!.. Онъ слишкомъ небогатъ, чтобъ позволять себѣ эти... политическія игрушки!—И его толстая, красная рука дѣлаетъ въ воздухѣ какой-то странный жестъ.

«Каждымъ словомъ его ищутъ уколоть», думаетъ Соня.

— И онъ упорный, этотъ хлопецъ,—продолжаетъ Горленко, шумно всасывая чай съ блюдца.—Капитала не скопитъ.

конечно... Но можетъ богатую жинку взять. За него всякая пойдетъ... Продадите вы ему Липовку?

Матовыя щеки Штейнбаха вспыхиваютъ.

— Ни за что!.. Ни за какія деньги!

— Да ну?—Дядюшка бросаетъ курить.—Или руду золотую нашли?

— Годъ назадъ я охотно подарилъ бы его... господину Нелидову,—говоритъ Штейнбахъ съ сдержаннымъ презрѣніемъ, не подымая рѣсницъ и упорно разглядывая узоры стакана.—Теперь я не возьму за него и милліона!

«О, милый!..» думаетъ Маня съ бьющимся сердцемъ. Она боится поднять рѣсницы. Сейчасъ всѣ догадаются...

По отъѣздѣ Штейнбаха, Вѣра Филипповна говоритъ мужу и брату:

— Слава Богу!.. Уѣзжаетъ... Все устраивается само собой... Я боялась за Маню... Такая чувственная дѣвчонка!

Мани нѣтъ. Она осталась наверху, ссылаясь на головную боль. У нея часто мигрени, и никто не удивляется.

О Штейнбахѣ говорятъ, говорятъ, говорятъ... Злословятъ, злословятъ, злословятъ... Соня съ удивленіемъ замѣчаетъ, что его всѣ терпѣть не могутъ. Даже деликатный и мягкій дядюшка, который, вообще, ни о комъ не говоритъ дурно... Это лэди Гамильтонъ, какъ заноза, сидитъ въ его сердцѣ.

---

О, какъ ползетъ время!.. Скорѣй бы ночь!

Въ спальнѣ, ложась полуодѣтая подъ одѣяло, когда Соня гаситъ свѣчу, Маня вдругъ спрашиваетъ:

— А что такое Нелидовъ?

— Такъ... ничтожество... Черная сотня.

— Я не объ этомъ... Ты его видѣла когда-нибудь? Онъ красивъ? Интересенъ?

— Какъ можетъ такой обскурантъ быть интересенъ?.. Впрочемъ, я его не видала... Эти «узы дружбы» завязались зимою, безъ насъ... Одна компанія съ Галаганами и Лизогубами... Осчастливлены... Какъ же! Первое лицо въ уѣздѣ! Аристократъ и гордецъ! Въ родствѣ съ губернаторомъ...

— Какъ это первое лицо? А Штейнбахъ?

— Штейнбахъ—*жидъ*... Это мѣшокъ съ деньгами. Его ненавидятъ и боятся. И если-бъ не векселя,—теперь, послѣ скандала съ тобой, ему указали бы на дверь...

Маня вспыхиваетъ и долго молчитъ. Какая-то тяжесть ложится ей на грудь.

«Неужели Соня тоже его любитъ?»

---

О, какая ночь!.. Душная, сухая... Сквозь вѣтки тополей и липъ блестятъ и мигаютъ золотыя очи. Огромныя и страстныя...

Какое наслажденіе было ждать этой минуты! Красться въ одномъ капотикѣ сверху... замирать на скрипучихъ ступенькахъ!.. Глупый Барбоска залаялъ, не узнавъ ее! Какъ было страшно, что наткнешься на «дида», и онъ тебя подстрѣлитъ изъ ружья, принявъ за *злодія*... Нѣтъ, какой же *злодій* идетъ безшумно въ капотикѣ, съ распущенной косой?.. Онъ ее принялъ бы за русалку или за вѣдьму... Убѣжалъ бы, не оглядываясь... И, трясясь отъ страху, разсказывалъ бы завтра на селѣ о встрѣчѣ съ нечистью...

Опираясь грудью на плетень, она ждетъ. Очи пронзаютъ мглу. Какъ темно подъ деревьями! Но дорога видна далеко... Отчего его нѣтъ?

Она тихонько прыгаетъ черезъ обвалившійся плетень, у того пня, гдѣ когда-то Роза сидѣла съ Зямой. Потомъ идетъ медленно по знакомой дорогѣ. Сердце стучитъ въ груди и мѣшаетъ слушать...

Кто-то ѣдетъ... Да, да!.. Кто-то ѣдетъ. Не видно, а слышно... А вдругъ чужой?

Она прячется за тополемъ, у дороги.

«Высокій кто-то?.. Онъ!.. Его плечи...»

Какъ кошка, однимъ прыжкомъ она кидается на дорогу изъ-за дерева, съ счастливымъ смѣхомъ... Горячая лошадь встаетъ на дыбы.

— Маня! Вы!.. Осторожнѣй!.. Вы могли убиться...

— Ахъ! Наконецъ!.. Маркъ... Я задыхаюсь отъ счастья... Сюда!.. Не оступитесь,—шепчетъ она, ведя его къ плетню.

— Вотъ такъ!.. Еще одинъ шагъ... Вотъ мы и пришли!

Лошадь фыркаетъ за плетнемъ, привязанная къ дереву.

— О, Маркъ! Какъ я ждала васъ! Цѣлуйте меня...

— Маня, поѣдемте со мной!.. Я посажу васъ на сѣдло... Черезъ десять минутъ мы будемъ у меня...

— Вы хотите меня похитить?

Восторгъ звенитъ въ ея голосѣ.

— Да, да... На часъ, на два... Я привезу васъ обратно. Я захватилъ плащъ. Васъ никто не увидитъ...

Какой горячій у него голосъ! Или это отъ шопота? Она не видитъ его лица подъ деревьями. Отъ его поцѣлуевъ кружится голова.

— Я ничего не боюсь... Поѣдемте!.. Это послѣдняя ночь... А тамъ будь, что будетъ!

Какъ странно! Точно въ сказкѣ...

Накинувъ плащъ, она сидитъ на сѣдлѣ впереди, въ его объятіяхъ. Лошадь медленно взбирается по кручѣ, мимо креста. Мимо рощи, гдѣ ждалъ ее Янъ... Онъ цѣлуетъ ея волосы, виски, ея уши... И морозъ и огонь бѣгутъ по спинѣ, по всему тѣлу.

Должно-быть, это сонъ... И сейчасъ она проснется.

Вотъ и Липовка. Не доѣзжая до рѣшетки, онъ соскакиваетъ. Снимаетъ Маню.

— Подождите меня здѣсь одну минуту... въ тѣни... Я отдамъ лошадь конюху.

Какъ странно сидѣть тутъ одной, на дорогѣ, въ темнотѣ! И ждать... Черный плащъ сливаетъ съ ночной мглою силуэтъ ея... Какъ высоко небо! Какъ ярки звѣзды!

«А что будетъ со мною черезъ годъ?..»

Идетъ... Какъ знаетъ она его шаги! Его вкрадчивую походку...

Беретъ ее за руку... Они идутъ, обнявшись.

У воротъ вырастаетъ темная фигура.

— Вы, Остапъ?

— Я, Маркъ Лександрычъ.

— Ложитесь, Остапъ!.. Мнѣ ничего не нужно.

Старый хохолъ флегматично надѣваетъ шапку и медленно бредетъ въ сторожку.

Какое ему дѣло, кто тамъ стоитъ въ черномъ?.. Хлопецъ или дивчина? Пусть стоитъ!.. Пятнадцать лѣтъ онъ вѣрой и правдой служилъ покойному Шенбоку, а теперь его сыну. Много къ пану ходятъ по ночамъ людей. Много ночуетъ у него пришлаго народу. Ночью придутъ, а на зарѣ выйдутъ... Еще не такъ давно жила тутъ съ недѣлю бабуся... Онъ одинъ видѣлъ, какъ панъ велъ ее ночью въ палацъ... Можетъ это ее искали по всему уѣзду?.. А ему что за дѣло? Паны ему платятъ хорошо, дай имъ Богъ здоровья! Какъ князья платятъ. А старый Остапъ умѣетъ молчать. И глаза его не видятъ, когда видѣть не надо...

## IX.

Въ кабинетѣ горитъ каминъ, закрытый высокимъ японскимъ экраномъ.

Огня нѣтъ. Спущены тяжелыя сторы. И даже ставни закрыты. Какъ таинственно! Какъ будто они оба отрѣзаны отъ міра...

Домъ спитъ. Впрочемъ, кто живетъ въ этомъ домѣ, кромѣ Марка и страшнаго дяди?.. Слугъ здѣсь никогда не видно. И все дѣлается беззвучно и безшумно. Точно по волшебству.

Каждая минута полна значенія...

Онъ обнялъ ее. Его рука лежитъ такъ высоко нынче! Почти у груди ея. Ей страшно чего-то...

Она тихонько беретъ его пальцы и отстраняетъ ихъ.

— Маня, говорите мнѣ о себѣ!.. О дѣтствѣ, о гимназіи, о вашихъ первыхъ грезахъ... Дайте мнѣ заглянуть въ эту маленькую загадочную душу! Въ этотъ запретный міръ дѣвичьей мечты... Думайте вслухъ! Какъ будто меня тутъ нѣтъ...

И Маня говоритъ, какъ въ забытьи, какъ въ бреду, полушопотомъ... О томъ, какъ любила она картину... ангела съ неумолимымъ взглядомъ и гордымъ профилемъ. Какъ она мечтала о немъ годы! Какъ мучительно ждала его. И вѣрила, что встрѣча будетъ когда-нибудь. Послѣ смерти. Въ другомъ мірѣ...

— И я хотѣла умереть... Я отворяла на морозѣ фортку и... голая высовывалась и дрогла... И кончалось все только насморкомъ... Помню, я дала себѣ срокъ—жить только три мѣсяца, до Пасхи. И умереть въ первый день. И я стала худѣть и таять. И стала такая апатичная... Силы мои уходили съ каждымъ днемъ...

— Это ужасно! Дитя мое... Вы, дѣйствительно, могли погибнуть... Что же спасло васъ?

— Ха!.. Ха! Вы не повѣрите? Концертъ. Да... Концертъ, въ которомъ я танцовала подъ музыку...

— Характерные танцы?

— Нѣтъ!.. Нѣтъ... Свое... Ахъ, Маркъ, это у меня единственный талантъ! Я родилась балериной... «Съ поразительнымъ чувствомъ ритма»... какъ говорилъ нашъ учитель. Когда я слышу музыку, мнѣ хочется двигаться!.. Это неудержимая потребность... Страсть... Сначала надо мной смѣялись... Потомъ стали восторгаться...

— Понимаю... Вы танцуете свое, какъ знаменитая Айседора Дунканъ?

— Ахъ, не говорите мнѣ о ней! Я не могу вспомнить ея грязныя пятки!.. Фрау Кеслеръ взяла тогда на свои деньги билеты себѣ, Сонѣ и мнѣ... Сначала это было очарованіе... Это была моя осуществившаяся греза... Но она такъ неэстетично изгибала руки! Она такъ лицемѣрно и дѣланно улыбалась! Она такъ плохо сложена!

— А вы?

— О, мое тѣло прекрасно, Маркъ! Я это знаю... Какъ часто я изучала его линіи передъ зеркаломъ!.. Я чувствую, что если бы я училась, изъ меня вышло бы что-нибудь. Я гораздо граціознѣе, чѣмъ эта знаменитая Дунканъ. И не выше ея ростомъ... Cléo de Mérode... Вотъ мой идеалъ красоты. Какое у нея трагическое, одухотворенное лицо!

— Вы хотѣли бы ее видѣть?

— Безумно!.. Но, вѣдь, она въ Парижѣ...

Они долго молчатъ... Онъ кусаетъ губы, не рѣшаясь сказать того, чѣмъ полна его душа.

— Какъ странно!—задумчиво шепчетъ Маня.—Я думала когда-то, что буду вѣчно любить мою мечту... это лицо ангела... что буду жить только для встрѣчи съ нимъ... Я вѣрила, что это моя судьба... Но я увидала глаза Яна. И забыла то лицо... Когда Янъ умеръ, я тоже вѣрила, что моя жизнь кончена, что моя душа не зацвѣтетъ снова... И вотъ я встрѣтила васъ... И Янъ забытъ... Маркъ, что это значитъ?

— Жизнь...

Она прижимается лицомъ къ его груди.

— Значитъ нѣтъ вѣчной любви?

— Нѣтъ.

— О, Маркъ! Какъ это больно!.. И вамъ тоже больно? Какая грусть звучитъ въ вашемъ голосѣ!

— Вы счастливѣе меня. Начинать жизнь безъ иллюзій легче, чѣмъ терять ихъ, какъ терялъ я.

— Нѣтъ, Маркъ, нѣтъ!.. Пусть это жизнь! Я буду сильнѣе жизни!.. Я буду любить васъ вѣчно!

О дивныя, незабвенныя слова!

Его сердце бьется, когда онъ гладитъ ея волосы.

— А тотъ... Другой?—глухо спрашиваетъ онъ.

— Тотъ?.. Онъ тоже забытъ,—спокойно говоритъ Маня.

— Сента!.. Дорогая моя Сента... А если вы когда-нибудь встрѣтите его? Свою мечту?..

— Я уже встрѣтила,—тихонько отвѣчаетъ она.

Штейнбахъ вздрагиваетъ.

— Да... Это было два года назадъ. Мы съ Соней сидѣли на левадѣ. Онъ проѣхалъ верхомъ на сѣрой лошади...

— Это бредъ, Маня?

— Нѣтъ... Нѣтъ... Я какъ сейчасъ вижу его лицо... Шапку золотистыхъ волосъ... высокій лобъ, гордый профиль... Сѣрые, жесткіе глаза... маленькую бородку... Вижу его костюмъ, краги. Его шлемъ... Онъ снялъ его и поклонился намъ... Вотъ такъ... Маркъ... Что съ вами?.. Почему вы такъ блѣдны? Почему такъ горестно изогнулись эти чудныя брови?.. Вамъ больно?

— Нѣтъ... ничего... Сейчасъ пройдетъ... Маленькій уколъ въ сердце... Маня... Я знаю его...

— Кого?..

— Вашего всадника... Я его знаю... Я догадываюсь...

— Милый Маркъ! Забудьте о немъ!.. Какое мнѣ до него дѣло? Зачѣмъ я вамъ говорила это, глупая? Я не хочу, чтобы вы страдали!.. Неужели вы не вѣрите, что вы—моя единственная любовь?.. Пусть десять всадниковъ явятся теперь передо мною! Я ихъ всѣхъ отвергну для васъ... Вы не вѣрите?.. Нѣтъ?

— Есть хорошая поговорка, Маня: *Вешній путь не дорога*... Мы всѣ въ лабиринтѣ жизни ощупью ищемъ этотъ настоящій путь свой. И часто, когда мы думаемъ, что нашли выходъ изъ лабиринта, мы упираемся въ темный тупикъ... Душа женщины блуждаетъ еще безпомощнѣе въ этой мглѣ... Вы не меня любите, Маня... И не Яна любили вы... Любовь еще придетъ...

— Не говорите такъ!.. Не говорите...

— О, неужели вы думаете, что мнѣ легко дается это сознаніе? Къ сожалѣнію, у меня нѣтъ темперамента, который могъ бы ослѣпить и обмануть меня... И... къ сожалѣнію... я слишкомъ люблю васъ...

Она сосредоточенно думаетъ надъ его странными словами.

— Маня, можете вы исполнить одну мою просьбу?

— Все, Маркъ! Все, что вы хотите!.. Лишь бы вы были счастливы!

— Протанцуйте передо мною сейчасъ что-нибудь свое!

Она порывисто встаетъ, съ потемнѣвшими глазами.

— Да, да!.. Какъ это хорошо! Вы будете играть?

— На цитрѣ... Помните, у Тургенева сказано, что въ цитрѣ живетъ и плачетъ старая душа еврея... За это, должно-быть, я люблю этотъ инструментъ... Я буду играть печальное. То, что гармонируетъ съ моимъ настроеніемъ.

— Ахъ, Маркъ!.. Это невозможно!.. Я запутаюсь въ этомъ безобразномъ платьѣ..

— Раздѣньтесь!.. Вонъ тамъ, у огня... за экраномъ... Я отвернусь... Я дамъ вамъ чудную старинную ткань... Хотите? Вы можете завернуться въ нее, какъ пожелаете...

Не отвѣчая, зажмурившись, она слушаетъ музыку его голоса. Сколько въ немъ оттѣнковъ!

Онъ идетъ къ старинному средневѣковому, рѣзному шкафчику изъ дуба... Тому самому шкафчику. И вынимаетъ оттуда блеклую, тонкую шелковую ткань... Она вышита золотомъ. Отъ нея пахнетъ тлѣніемъ. Вѣетъ безвозвратнымъ...

— Боже! Какая роскошь!—говоритъ Маня, погружая лицо въ шелкъ.—Это царскія одежды, Маркъ?

— Это съ католической статуи, ограбленной войсками Кромвелля. Тысячи устъ касались этого края... Вы видите слѣды умершихъ поцѣлуевъ?

— Ахъ, Маркъ!.. Этой ткани довольно, чтобы создать настроеніе!.. Я уже слышу музыку въ душѣ... Вижу образы... Маркъ, отвернитесь!.. Я должна раздѣться... О, какое упоеніе, когда эта холодная ткань коснется моихъ плечъ!.. Дайте булавки!.. У васъ есть англійскія булавки?.. Довольно!.. Отчего вы такъ дрожите, Маркъ?.. Отчего я не узнаю вашего лица?.. Отвернитесь теперь!

— Что вы дѣлаете, Маня?—глухо спрашиваетъ онъ, не оглядываясь.

— Я снимаю башмаки... Нельзя же плясать въ чулкахъ!.. Отчего вы говорите сквозь зубы?.. Вы опять страдаете?.. О, какое наслажденіе!.. Какъ эта ткань ласкаетъ плечи!.. Маркъ... Садитесь и молчите... Молчите!.. Я готова... Гдѣ ваша цитра?.. Я выхожу... Начинайте же!.. Начинайте!.. Я чувствую себя богиней...

. . . . . .

. . . . . .

## X.

Когда Штейнбахъ далеко, Маня часто вспоминаетъ эту ночь.

Она чувствуетъ на своихъ ногахъ его поцѣлуи. Она видитъ его новое и страшное лицо...

Знойное кольцо охватило ихъ тогда обоихъ. И все сжималось тѣснѣе и тѣснѣе, лишая ихъ дыханія...

И вотъ она упала въ бездну, которая глядѣла на нее изъ очей Марка...

Тайна жизни раскрылась передъ нею внезапно.

Эти завѣсы сорвалъ Маркъ!

Забудетъ ли она его когда-нибудь? Возможно ли разлюбить того, кто поднесъ къ твоимъ устамъ ядъ перваго наслажденія?

Но и онъ не забудетъ ее... Нѣтъ!.. Теперь она знаетъ свою силу.

Слезы бѣгутъ ночью на горячую подушку.

«Это ничего, ничего...» говоритъ себѣ Маня. «Надо взять себя въ руки! Двѣ недѣли пройдутъ какъ-нибудь... Онъ вернется. Онъ не можетъ не вернуться теперь! И мы будемъ вмѣстѣ... Мы уѣдемъ въ Парижъ... Мы никогда не разстанемся. И разлучитъ насъ только смерть... Но смерть прекрасная и дерзкая... Какъ наша любовь!..»

Москва. Октябрь 1908 г.

Конецъ первой книги.

# Того же автора.

I. **СНЫ ЖИЗНИ.** Сборникъ разсказовъ. *Пятое изд. 12—22-я тыс.* Ц. 1 р. 10 к.
II. **ПЕРВЫЯ ЛАСТОЧКИ.** Повѣсть. *Четвертое изд. 12-я тысяча.* Ц. 80 к.
III. **ВАВОЧКА.** Романъ. *Третье изд. 17-я тысяча.* Ц. 1 р.
IV. **ОСВОБОДИЛАСЬ.** Романъ. *Третье изд. 16-я тысяча.* Ц. 1 р.
V. **ПРЕСТУПЛЕНІЕ МАРЬИ ИВАНОВНЫ.** Повѣсти и разсказы изъ жизни учащейся молодежи. *Третье изд. 13-я тысяча.* Ц. 1 р. (Изданіе Д. П. Ефимова.)
VI. **ИСТОРІЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ.** Романъ. *Второе изд. 15-я тысяча.* Ц. 1 руб.
VII. **ПО-НОВОМУ. ВЕЧЕРИНКА.** Повѣсти. *Второе изд.* Обложка художника П. Гославскаго. *15-я тысяча.* Ц. 1 р.
VIII. **ЧЬЯ ВИНА?** Повѣсть. *Второе изд. 11-я тысяча.* Ц. 1 р.
IX. **ЗЛАЯ РОСА.** Повѣсть конца XIX вѣка. *Второе изданіе. 7—15-я тысяча.* Ц. 1 р. 10 к.
X. **СЧАСТІЕ.** Сборникъ новыхъ разсказовъ. *Десятая тыс.* Ц. 1 р.
XI. **МОТЫЛЬКИ.** Разсказы и повѣсти. *Десятая тысяча.* Ц. 1 р.
XII. **СВѢТАЕТЪ!..** Повѣсть въ память 9-го янв. 1905 г. *10-я тысяча.* Ц. 60 к.
XIII. **БЕЗПЛОДНЫЯ ЖЕРТВЫ.** Пьеса съ предисловіемъ автора. *6-я тысяча.* Ц. 80 коп.
XIV. **ГОРЕ УШЕДШИМЪ!..** Повѣсть. *Третье изд.* автора. *10—20-я тысяча.* Ц. 1 р. 10 к.
XV. **ДУХЪ ВРЕМЕНИ.** Современный романъ въ 2-хъ книгахъ. *Второе изд. Тридцать-пятая тысяча.* Ц. 2 р.
XVI. **НАШИ ОШИБКИ.** 3-е изд. *За подвигомъ.* Повѣсть. *6-я тысяча.* Ц. 1 р.
XVII. **МИРАЖЪ.** Пьеса, съ портретомъ автора. *Четвертая тысяча.* Ц. 1 р.
XVIII. **РАЗСВѢТЪ.** Пьеса. Обложка художника П. Гославскаго. *5-я тыс.* Ц. 1 р.
XIX. **МОЕМУ ЧИТАТЕЛЮ!** Автобіографическіе очерки съ 3-мя портретами автора. Ц. 1 р. 50 коп. *Седьмая тысяча.* (Дѣтство. Годы ученья.)
XX. **КЛЮЧИ СЧАСТІЯ.** Новый современный романъ въ 2-хъ книгахъ. Книга первая напечатана въ 1909 г. 15,000 экз. Ц. 1 р. 25 к. *Вторая книга* **КЛЮЧИ СЧАСТІЯ.** Издана 23 сент. 1909 г. *15—30 тысяча. 2-е изданіе* **КЛЮЧИ СЧАСТІЯ.** 1-я книга издана 25,000 экз., въ февр. 1910 г. *30—55 тысяча.* 2-я книга издана въ февр. 1910 г. 25,000 экз. *55—80 тысяча.* Ц. 1 р. 30 к.
II-й томъ **МОЕМУ ЧИТАТЕЛЮ!** (Юность.) Готовится къ печати.
**НА ВЫСОТѢ!** Романъ. (Продолженіе книги *Ключи счастія.* Гот. къ печати.)

# Изданія А. Вербицкой.

Вып. I. **ПОЛУЖИВОТНОЕ.** Романъ **Елены Белау,** пер. съ нѣм. Н. П. Дадоновой. *Третье изд. 7-я тысяча.* Ц. 80 коп.
Вып. II. **ИЗЪ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ.** Романъ **Габріэли Рейтеръ.** *3-я тысяча.* Пер. съ нѣм. **Ея же.** Ц. 1 р. *Все разошлось.*
Вып. III. **ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ОСМѢЛИЛАСЬ.** Романъ соціалиста **Грантъ-Аллена,** съ его же предисловіемъ. Пер. съ англ. **Ея же.** *Третье изд. 6-я тысяча.* Ц. 60 коп.
Вып. IV. **КУРСИСТКИ.** (Les Sévriennes.) Романъ **Габріэли Реваль,** изъ жизни парижскихъ студентокъ. Пер. съ франц. **Ея же.** *Второе изданіе. 7-я тысяча.* Ц. 80 коп.
Вып. V. **ПОТУСТОРОННІЯ ИСКАНІЯ.** Романъ **Дж. Мура.** Пер. съ англ. **Ея же.** *3-я тысяча.* Ц. 1 р.
Вып. VI. **ВРАГИ МѢЩАНСТВА.** (Въ поискахъ.) Романъ **Шляфа.** Пер. съ нѣм. **Ея же.** *3-я тысяча.* Ц. 80 коп.
Вып. VII. **СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ.** Романъ **Вассермана.** Пер. съ нѣм. **Ея же.** *4-я тысяча.* Ц. 1 р.
Вып. VIII. **КОНТОРЩИЦА.** Романъ **Рувра.** Пер. съ франц. Д. И. Соловьева. *4-я тысяча.* Ц. 60 коп.
Вып. IX. **ГИМНАЗИСТКИ.** Романъ **Габріэли Реваль.** Пер. съ франц. Н. П. Дадоновой. *4-я тысяча.* Ц. 80 коп.
Вып. X. **ТРЕТІЙ ПОЛЪ.** Романъ **Коллеты Иверъ.** Пер. съ франц. Н. П. Дадоновой. Ц. 85 коп. *5-я тыс.*

1647 4

PG
3470
V4K4
1910
kn.1

Verbitskaia, Anastasiia
Alekseevna (Ziablova)
Kliuchi schast'ia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY